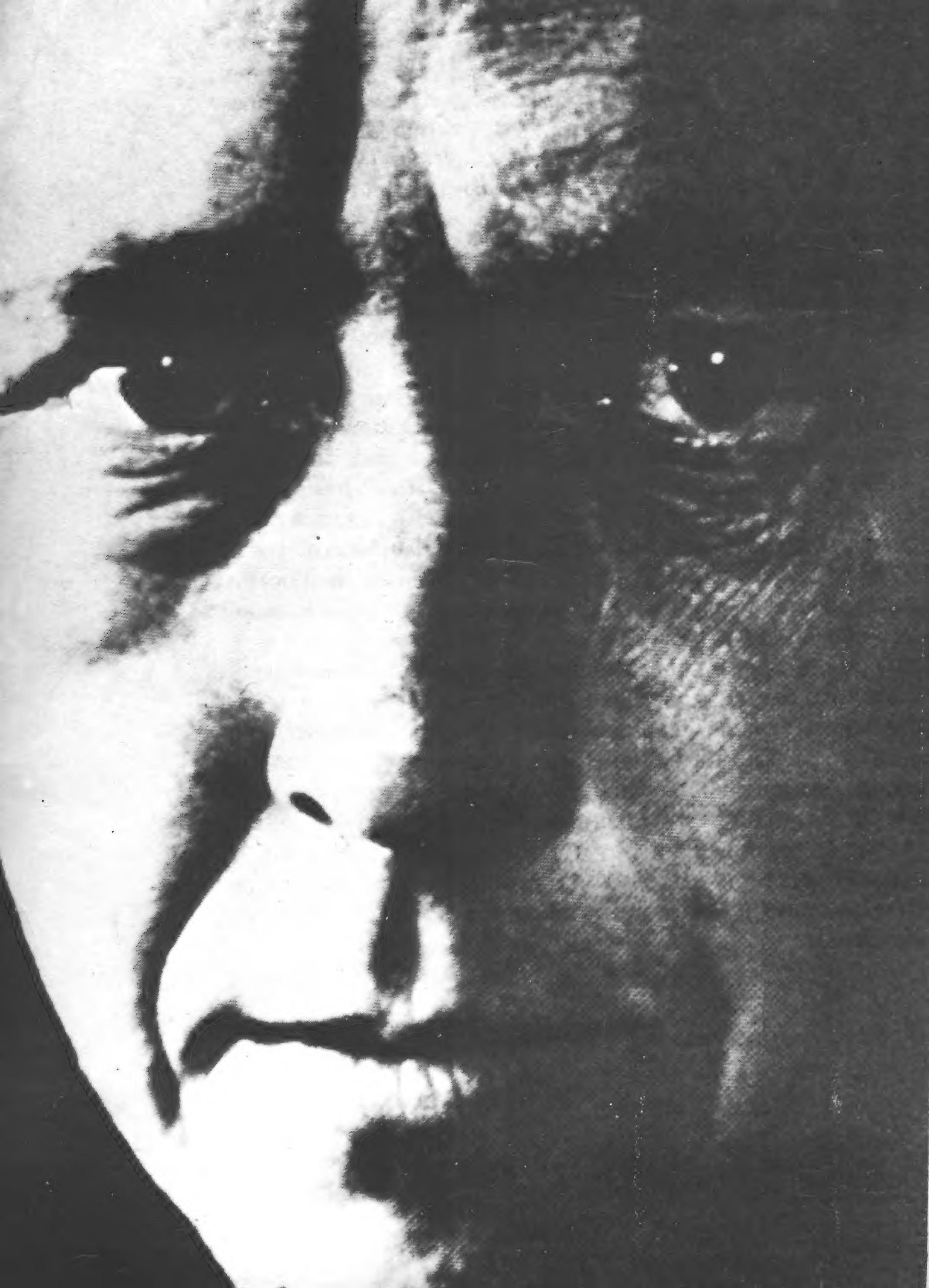
СЛОВО



ISSN 0321-0561

Счастливого вам года!



ГОД СОЛЖЕНИЦЫНА

Вот и наступила долгожданная весна Александра Исаевича Солженицына на его родной земле — на русской равнине. Почти четверть века томили нас, наш дух и нашу душу, обругивая великого писателя-гражданина недобрыми словами. Но мы дождались! Свершилось жданое и совсем неожиданное, даже по нынешним временам «всеобщей» гласности. Уж и в новые времена Солженицына числили во врагах русского народа — лукавая гримаса русофобии.

Под мощным напором национального самосознания «запретителям» пришлось отступить.

Да, почти четверть века мы боролись и лелеяли мысль о возвращении книг и самого писателя на родину. В трудную пору носителю русского национального самосознания — место на родной земле, среди своих. Все эти годы тьмы и невежества, утробно-разнузданного бахвальства, нравственно и экономически разрушительного застоя, разгула насильственной русофобии и вожделенно, предательски возбуждаемого чиновными людьми разных мастей оголтелого национализма и антисемитизма нас не оставляла мысль о могучем ратоборце, о могучем зиждителе духа, страдальце и мученике XX века, гражданине России Александре Солженицыне.

Все вернулось на круги своя. На то Господня воля и наша — миллионов и миллионов русских, российских людей, поклонников и читателей писателя, его честных соотечественников, не забывших его неловкое сомнение в авторстве «Тихого Дона», но и помнящих его неистребимое родство с родной землей и родным народом, его вклад в укрепление мирового духа.

Впереди год 1990-й — в прямом смысле Год Солженицына, как когда-то (почти тридцать лет назад!) был год 1963-й. Он, кстати, тоже начинался с января, поскольку скромный новомировский тираж того времени — 96.900 — оповестил о громовержце «Иване Денисовиче» только в конце декабря 1962 года.

А теперь открывает весну писателя, даже скорее не весну, а зрелую, багряную, полную плодов осень — уже не один «Новый мир» с его полуторамиллионной подпиской на Солженицына, а десятки журналов и издательств, и даже семитомное собрание сочинений, которые представят читателю написанное писателем за годы противостояния идеологической партократии.

Все произведения, еще совсем недавно запрещенные, выйдут из темниц «Самиздата» на белый свет, откроют глухие ставни страха, окна и двери надсадно-мучительного молчания для вихревого сквозняка, они вернут в Отечество душу, мысль и дух великого сына Земли Русской.

Это небывалое, ни с чем не сравнимое волеизъявление читателей, это ни с чем не сравнимое по масштабам — в десятках и десятках миллионов экземпляров — возвращение писателя-современника.

Но наша радость не без печали, мы не можем, не должны забывать имена тех, кто смел за нас — за русскую интеллигенцию, за русский народ — решать судьбы отечественной литературы и истории, кто смел унижать, оскорблять, замалчивать нашу отечественную мысль, свободную и независимую, нашу горькую Правду о страданиях и бедах народных... И как напоминание, и как заклинание всем поколениям пусть прозвучит смелый голос писателя и гражданина Солженицына из сентября 1967 года (см. стр. 19).

С Вами наша признательность, Александр Исаевич, сердечный поклон Вам за Ваши книги, за все сделанное Вами для родного Отечества и мирового духа.

Доброго Вам здоровья в Новом году, счастья, новых творческих свершений и скорейшего возвращения в Россию!

На снимке: А. И. Солженицын в 50-х годах.

ВРЕМЯ

Идеи.
Диалоги.
Поиски.

Размышляет ученый Игорь Шафаревич



стр. 6

Рыночные отношения в книгоиздании и книгораспространении нам кажутся ныне еще одной панацеей от всех бед. Хотя, столкнувшись с реальными проблемами того же самого свободного «рынка», мы, быть может, еще не раз вспомним не о недостатках, а о достоинствах государственного планирования и финансирования. Освободившись от власти одной монополии — государственной, не окажемся ли мы все во власти другой монополии — коммерческой?..
Обо всем этом шла речь на трехдневной встрече-дискуссии, прошедшей в сентябре 1989 года в Софии и посвященной перестройке в книгоиздании социалистических стран. В центре внимания оказались доклады главного редактора венгерского журнала «Книга» Кочиша Михая и главного редактора польского журнала «Новые книги» Богдана Клюковски, которые мы и публикуем с некоторыми сокращениями. Вот уже год, как венгерские и польские книгоиздатели вступили на путь рыночных отношений. И вот первые итоги...

БОГДАН КЛЮКОВСКИ

Вольная «американка»



Начиная с 1982 года в нашей стране стал действовать так называемый первый этап экономической реформы, характеризующийся лозунгом «самостоятельность, самоуправление, самофинансирование». Сегодня можно уже сказать, что книгоиздательские предприятия не были подготовлены к работе в условиях самостоятельности. Одно из проявлений этой самостоятельности усматривалось в ликвидации обязательных объединений предприятий и создании добровольных объединений. В области так называемого общественного климата ликвидация Главного управления по делам книгоиздания бесспорно облегчила жизнь издателей, освободила их от программного корсета, благодаря чему они могли смелее осуществлять свои, отложенные на лучшие времена инициативы, издавать книги, запрещенные до недавнего времени, когда они воспринимались чуть ли не как инструменты подрыва основ социализма в нашей стране. Но большие книгоиздательские предприятия не могли добиться финансовой самостоятельности, поскольку их финансовое хозяйство подрывалось порочно сконструированными ценами на отдельные этапы книгоиздательского дела. Не хватало бумаги, росли цены на полиграфические услуги, энергию, транспорт и т. п.

Несмотря на все эти трудности, издатели заметно, шаг за шагом, наверстывали количественные упущения, проявившиеся особенно отчетливо в 1981 году. Ведомству культуры и искусства удалось сохранить относительно низкие цены на книги: эти цены росли намного медленнее, чем на другие товары.

Среди государственных предприятий наиболее динамичными оказались небольшие, с 30—50 работниками, издававшие до сих пор по 20—30 наименований в год общим тиражом, не превышающим 1 млн. экземпляров. Им удалось прежде всего удвоить и даже утроить число изданных экземпляров. Вообще до 1985 года не росла численность наименований при значительном росте тиражей.

В 1987 и 1988 годах проблемы книжного дела, и особенно функционирования книгоиздательских и книготорговых предприятий, стали широко обсуждаться с общественностью. Эти предприятия не могли обеспечить себе рентабельности, пользовались банковскими ссудами с высокими процентными отчислениями, за сроками платежей которых банки тщательно следили. Несвязный характер финансовых предписаний и вообще предписаний, относящихся к деятельности государственных предприятий, приводил к тому, что к книге относились, как к любому другому товару. Особенно губительным был здесь налог с оборота в размере 65%. Налог платили по очереди производители бумаги, типографы, издатели, книготорговцы-оптовики и книготорговцы розничные. Это создавало огромную пирамиду, вершину которой составляла окончательная цена

на книгу. Начиная с 1986 года, цены на книги невозможно было защищать, поскольку неконтролируемым образом стали расти цены на бумагу и типографские услуги, а книготорговые предприятия требовали повышения наценки за свои услуги.

Наиболее слабыми партнерами, если вообще можно говорить о партнерстве, оказались авторы. Их гонорары росли непропорционально медленно, даже по сравнению со средней заработной платой, издатели отдавали предпочтение высокотиражным изданиям, переиздавали те, на которые истекли уже авторские права.

К положительным сторонам этого этапа книжного дела в Польше (его окончание относим к 1988 году) можно причислить прежде всего открытую издательскую политику. Это проявлялось в большей самостоятельности издателей при разработке собственных издательских планов, поисках авторов и наименований в стране и за границей, появлении художественной и исторической литературы, где авторы или тематика давно существовали в общественном сознании благодаря низкотиражным изданиям в рамках так называемого «вторичного книгоиздания», целые десятилетия считающегося подпольным и нелегальным. Разумеется, в смягчение ограничений внесла свой вклад культурная политика, более открытая, либеральная, не поддерживающая прежних предубеждений, усматривающих агентурный и враждебный характер авторов и произведений, созданных за границей писателями, которые еще во время войны или до введения в Польше военного положения уехали и поселились на Западе. Тезис о том, что польская литература едина, независимо от того, где создается, формулируют представители верхних эшелонов партийного руководства.

1989 год стал началом нового этапа. Проведенные в этом году системные изменения во всем народном хозяйстве: подлинная экономическая самостоятельность, свобода развития хозяйственной деятельности акционерными обществами и частными лицами — относятся также ко всей сфере издания, производства и распространения книги. Перестала существовать монополия государства, книгоиздательская деятельность не нуждается уже в получении концессии, достаточно просто желания начать такую деятельность, заявить в местном органе государственной власти. В результате этого общего решения распущены также добровольные объединения книгоиздательских и книготорговых предприятий, теперь каждое из них работает на свой страх и риск. Начиная с 1990 года не будет также распределяться в централизованном порядке бумага — она станет товаром, свободно покупаемым на рынке.

Дальнейшей либерализации подвергнется осуществляемая государством цензура, вмешательства которой будут ограничиваться вопросами обороноспособности страны и морали (порнография, оскорбление религиозных чувств). Читатель в Польше получит доступ к известным пока лишь специалистам произведениям художественной и исторической литературы, станет явным упомянутое уже подпольное книгоиздание, одинаковыми правами будут пользоваться все — как это говорится у нас — хозяйственные субъекты, то есть государственные, кооперативные, частные издательства, общества с ограниченной ответственностью, пользующиеся капиталом, состоящим из польских и иностранных платежных средств.

Так представляются наши надежды. Но более важное значение имеют опасности, которые могут появиться. Хочу указать на некоторые из них.

Высказываются опасения, что предоставление столь широкой самостоятельности приведет к затоплению книжного рынка литературой посредственной, третьеразрядной. Но сейчас, спустя восемь месяцев после предоставления такой полной и реальной самостоятельности, подобной экспансии книг, близких к халтуре или порнографии, не наблюдается. Причина этой сдержанности ясна: не хватает бумаги, и еще больше растянулась очередь книг, ожидающих печати. По показателям потребления бумаги в пересчете на душу населения Польша принадлежит к бедным странам, и не следует ожидать здесь улучшения положения. То же самое с полиграфией: печатные машины мы вынуждены покупать за конвертируемую валюту, этих средств не хватает. До конца 1988 года осуществлялись две правительственные программы, ставившие целью чувствительное улучшение положения в производстве бумаги и модернизацию полиграфической базы. С момента перехода предприятий на полную самостоятельность эти программы просто рухнули.

Кроме того, неопределенное экономическое положение решительно отбивает охоту частным лицам идти на финансовый риск в тот момент, когда цены на материалы и услуги в области книгопроизводства и книготорговли могут повыситься непредсказуемым образом. Поэтому в течение ближайших лет ожидаемая с опасениями коммерциализация книжного рынка со всей вероятностью нам не угрожает.

Государственные и кооперативные издательские фирмы с большими и бесспорными достижениями принадлежат к слабым в экономическом отношении организмам. Они вынуждены брать на свою деятельность банковские кредиты с высокой процентной ставкой и — как все предприятия в Польше — платить налог от оборота в объеме 40% (по сравнению с предыдущим годом на 20% ниже). Типографии и бумажные фабрики требуют за свои услуги отчислений авансом, деньги же, вложенные в книги, уже изданные, перечисляются издателям книготорговыми предприятиями после того, как эти книги поступят на склады и в строгом соответствии с предварительными заказами.

Со слабым финансовым положением издательств связан чрезвычайно важный вопрос меценатства над культурой, составную часть которой составляет книга. Введение в эту сферу чисто рыночных отношений являются чем-то совершенно новым, к чему никто не был подготовлен. Давным-давно князья и короли, до войны — финансовые магнаты, а в социалистической действительности государство — таковы существовавшие до сих пор институты меценатства. Теперь, когда издатели брошены на произвол судьбы, этот вопрос о меценатстве находится в неопределенном состоянии. До сих пор обнаружился лишь один меценат — Литфонд дотирует первые издания художественной литературы современных польских писателей. Из-за нехватки средств исчезают традиционные книжные ярмарки, которые организовывали книготорговые предприятия, заметно сокращается численность литературных встреч с авторами и другие формы ознакомления с книгой...

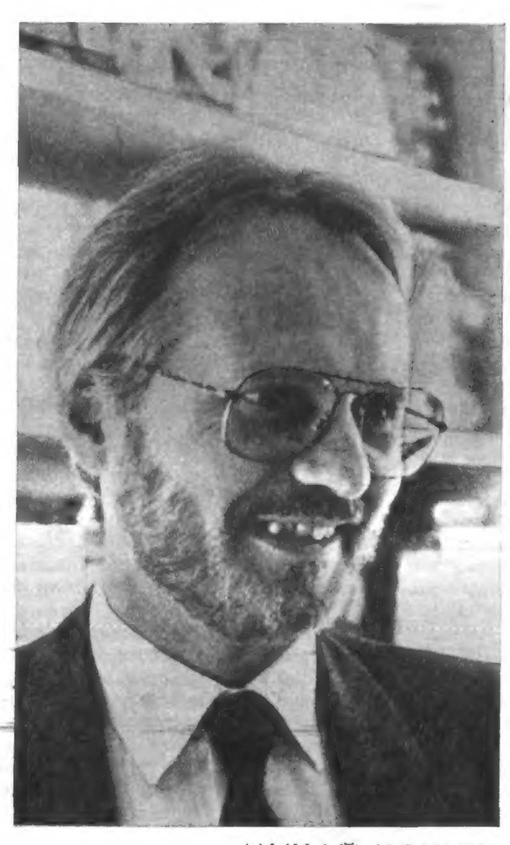
До 1982 года книгоиздательские предприятия в принудительном порядке являлись членами объединения, затем до половины 1989 года функционировало добровольное объединение под названием Соглашения издателей. Подобным образом дело обстояло в книжной торговле. В настоящее время книгоиздательские и книготорговые предприятия не имеют какого-либо представительства. Таким представительством располагают работники, являющиеся членами Польского общества книгоиздателей и Общества польских книготорговцев. На наш взгляд, создание своего рода организации, объединяющей книгоиздательские фирмы, представляется необходимостью, проверенной на практике и подтвержденной традицией. В настоящее время идет подготовительная работа по созданию своего рода синдиката, в который входили бы все фирмы. Необходимость такой формы объединения осознается рядом издателей, поскольку так называемая вольная «американка» на этом рынке может привести к полной потере профессиональных связей и впоследствии к подрыву функции книги в качестве основного средства передачи художественных впечатлений и интеллектуальных ценностей. Синдикат должен взять на себя профессиональное обучение, а также предоставлять права на организацию книгоиздательских фирм с разными формами собственности, должен следить за соблюдением норм приличия в области издания и продажи книг. В нем также следует регистрировать все книгоиздательские предприятия.

Освобождение польского издательского движения от корсета тридцатилетней централизации произошло в неблагоприятных экономических условиях. Одновременно следует сказать, что даже в эпоху командования издательским движением издатели проявляли большую ответственность и смелость в своей работе. Несмотря на политические пертурбации и цензуру, они упорно стремились к тому, чтобы издавать книги спорные, не желанные центрам политических распоряжений или же группам лиц, заинтересованных в том, чтобы некоторые конкретные наименования и авторы не издавались. Во второй половине 70-х годов возникло так называемое вторичное, подпольное книгоиздание, нелегальное и вне цензуры. Там издавались книги, которые не понравились официальному руководству. За последние годы «независимые» издатели издали несколько тысяч наименований.

Открытая культурная политика явно не способствует деятельности независимых издательств, поскольку теперь имеет место своего рода соперничество, кто быстрее данную книгу издаст, государственные или «подпольные» издатели.

Новая политическая и экономическая обстановка привела к тому, что «независимые» издатели практически не хотят выйти из подполья. Самые важные причины здесь: вписавшаяся в польское сознание склонность к конспирации и связанный с этим климат таинственности, окружающий деятельность подпольных издателей, в том числе вкус запретного плода. И еще одна причина нежелания покинуть подполье (довольно ведь иллюзорное, поскольку фамилии и лица независимых издателей известны по печати и телевидению) — это просто экономические соображения. Узаконивая свою деятельность, эти издатели были бы вынуждены платить налоги в таком же объеме, как официальные издатели. Поэтому пока, не считаясь с принципами, содержащимися в священном писании, чтобы отдавать должное и кесарю, и богу, «независимые» издатели предпочитают оставаться в двусмысленной конспирации.

Начиная с 1989 года, польское издательское движение попало в чрезвычайно сложную обстановку. Ибо мы имеем дело с переходным периодом, похожим на тот, который развитые капиталистические страны проходили в XIX веке, когда осуществлялся переход на машинное производство и рождалась нездоровая конкуренция. Сходство здесь, конечно, условное: у нас в стране работают свыше 40 профессиональных, государственных и кооперативных издательств, достижения которых, интеллектуальный потенциал редакторов и авторов не подлежат сомнению. Следовательно, можно этот период, перефразируя В. И. Ленина, назвать «детской болезнью самостоятельности», которую должны преодолеть и опытные издатели, и те, которые только начинают. Спустя пару лет, когда предприятия экономически окрепнут, ряд трудностей, о которых я здесь говорил, исчезнет. Разумеется, может произойти заметная коммерциализация книжного рынка, но все указывает на то, что книги, считавшиеся в нашей стране пошлятиной и безвкусицей, будут составлять незначительный процент. Экономическое и программное господство государственных издательств будет бесспорным, а популярная книга будет издаваться наряду с научной и художественной литературой.



МИХАЙ КОЧИШ

Ломая преграды

В Венгрии начинают — после десятилетий мучений — признавать провал централизованного, государственно-монополистического хозяйствования и провозглашается переход на экономику, ориентированную на спрос и предложение, на рынок. Все это привело к созданию чрезвычайно противоречивой ситуации почти во всех областях экономической и культурной жизни. Система государственного перераспределения была разрушена тем беспощадным фактом, что ресурсы распределения постепенно полностью истощились; различные подцентры, до сих пор регулировавшиеся и дотировавшиеся централизованно, вынуждены были стать самоокупаемыми, в то время как структура венгерской жизни осталась неизменной или претерпела лишь минимальные изменения. В результате этого в сфере культуры и, в частности, в книгоиздании создалась следующая почти не разрешимая ситуация.

На складах государственных книготорговых предприятий накопились нереализуемые запасы книг общей стоимостью почти 800 миллионов форинтов. И это — в то время, когда издательства, подгоняемые стимулом прибыльности «производства», поистине атакуют потребительский рынок. Цель — продать как можно больше книг, причем как можно дороже, как можно быстрее, остальное не в счет. Происходит же все это в изменившейся политической и духовной атмосфере, когда ломаются преграды, а также официально никогда не существовавшие, однако действовавшие очень определенно и точно — вплоть до самоограничения — крепости цензуры.

Каковы были предпосылки всего этого?

Возможности управляемой сверху культурной политики просветительского типа, которая определяла, предписывала, да и на практике почти исключительно представляла лишь то, что, согласно ее представлениям, *нужно* читателям, исчерпала себя. Гигантские издательства, созданные на рубеже сороковых — пятидесятых годов, выпускавшие ежегодно сотни наименований, работали медленно, удобно лишь для себя, не приспосабливаясь ни к запросам читателя, ни к требованиям эпохи. Работали так, что, в сущности, не были заинтересованы в экономической пользе своего труда. Издательства жили в замкнутом круге кратких и долгосрочных планов и их цифр, опираясь на раздутые штаты плохооплачиваемых и не стимулируемых к большей отдаче сотрудников. В то же время они оторвались от типографий, которые зажили самостоятельной жизнью, со всеми вытекающими из этого неблагоприятными последствиями, а также от книжного рынка, от торговли. Их работа считалась хорошо выполненной не тогда, когда они умело хозяйствовали, а когда соответствующим образом и в заданных временных рамках тратили полученные от государства финансовые средства.

Государственная политика, в руках которой находилась замаскированная под процедуру выдачи разрешения цензура, и после так называемых «темных пятидесятых годов» не дошла — опираясь на принцип поддержки от и до — до демократизации культуры и, в частности, книгоиздания и удовлетворилась мед-

ленной либерализацией. Вследствие этого на фильтре государственного книгоиздания застревали, как и прежде, десятки и сотни отечественных и зарубежных (литературных и научных) произведений, обедняя нашу духовную жизнь. (Что имеет, между прочим, непредсказуемые последствия и в плане подготовки последующих поколений.)

Изменения начали созревать в начале восьмидесятых годов, однако вначале лишь как потребность в ликвидации старых догм. Одной из таких догм было предупреждение, связанное с «духом предпринимательства». В соответствии с ней, предприниматель не есть «человек социалистического типа», а субъект, ставящий собственные интересы выше интересов коллектива. Несостоятельность этого предубеждения очевидна, ибо нетрудно убедиться в том, что коллективные результаты могут строиться лишь из индивидуальных усилий и индивидуальных достижений. Именно поэтому современное общество должно достигнуть своих общественных (коллективных) целей посредством стимулирования индивидуальных интересов. Отправной точкой этого в книгоиздании является обеспечение встречи читателя и книги. Покупатель — своими деньгами, наклонностями и, не в последнюю очередь, интересом — создает рынок, и издательская деятельность должна отвечать этому. Несмотря на то, что данная ситуация носит классический характер, в Венгрии мы лишь сейчас возвращаемся к ней. И надо сказать, что происходит это со всеми противоречиями, сопутствующими изменениям.

Сначала в рамках крупных издательств сформировали более мелкие экономические единицы (рабочие коллективы), осуществляющие более быструю и гибкую деятельность, затем создавались малые кооперативы по организации изданий, а впоследствии — с ликвидацией предварительной государственной процедуры разрешения на книгоиздание — отпали всякие преграды на пути свободной издательской деятельности. В наши дни в Венгрии издать книгу может каждый.

В результате всего этого сегодня в венгерском книгоиздании наряду с крупными государственными издательствами присутствует почти 200 организаций, обладающих самостоятельным правом на издательскую деятельность, что сопряжено со взрывоподобными изменениями.

Вследствие упомянутой выше ситуации в отношении как читательского интереса, так и книг имеются огромные белые пятна. Этим объясняется начало беспощадного состязания в выбрасывании на рынок запрещенных ранее произведений (Оруэлла, Кэстлера, Солженицына); это в неменьшей степени относится и к удовлетворению развлекательных читательских запросов (детективы, приключенческая литература), не говоря о заклейменных как «низменные» сексе и порно.

Создалась специфическая ситуация. С одной стороны, начали стремительно расти расходы по созданию книги (стоимость бумаги, типографских операций; ведь девизом является чувствительность к изменениям рынка!), и до определенного момента рос и оборот. Больше, чем раньше, книг покупали как более взыскательные читатели, так и читатели так называемой «коммерческой ориентации». (Торговля в подземных переходах, то есть неофициальная книжная торговля, нашла и тех покупателей, которые раньше даже случайно не заходили в книжные магазины). К сожалению, несколько аристократичная ориентация имеет свои причины, ибо в прошедшие десятилетия деятельность справедливо упрекаемых государственных книжных издательств характеризовалась высоким редакторским, языковым качеством. Книги, выпускаемые этими мастерскими, большей частью соответствовали даже самым изысканным потребностям, в особенности в духовном аспекте. Эти книги не кишели опечатками, переводы были точными и достоверными. И несмотря на то, что в отношении внешнего вида дела обстояли не так благополучно, типографское исполнение большинства выпускаемых книг все же не вызывало особых претензий.

Так вот, в этом отношении ситуация внезапно изменилась. Погоня за деньгами и рынком, с одной стороны, и незнание дела и нетребовательность — с другой, в значительной мере изменили общее представление о венгерской книге. И то обстоятельство, что это в первый лихорадочный период все же не отпугнуло читателей, объясняется именно упомянутым выше «заполняющим белые пятна» характером этих изданий. История культуры как бы повторяется: создалась ситуация XVII—XVIII вв., когда книга превратилась в массовую продукцию, со всеми вытекающими из этого положительными и отрицательными последствиями. Как одно из таких последствий можно упомянуть полное игнорирование авторских и издательских прав. Пример этого в венгерском книгоиздании имелся как раз недавно и получил международный отклик. Одно из новейших мелких издательских предпринимательств выпустило «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, не испросив при этом согласия автора и удовлетворившись фотокопией неполного и недоброкачественного более раннего зарубежного венгерского издания. К тому времени, когда на это издание, правомерно названное «пиратским», решением суда был наложен запрет, половина стотысячного тиража была уже распространена, а вторая половина — именно благодаря наложенному судом запрету — моментально разошлась с уличных лотков частных книготорговцев.

Итак, наряду с провозглашенной ранее «шкалой ценностей» в венгерском обществе в области культуры также появилась определенная «шкала интересов». Однако борьба различных интересов по-прежнему не происходит, не может происходить в открытую. Отчасти этим — несформированностью демократических механизмов — объясняется странное поведение элиты интеллигенции, проявляющееся в том, что, подвергая строгой критике движения общества и различные шаги политического центра, она в то же время очень даже охотно приняла бы, более того, считала бы естественной исходящую сверху и находящую материальное проявление «заботу». Она борется за возможную духовную самостоятельность, но содрогается от одной мысли о трудностях экономической самостоятельности.

Все это происходит отчасти потому, что в то время как начала действовать частная издательская инициатива, эти предпринимательства — ввиду различных регуляторов (налогов), то есть страха «государственного резона» потерять власть над вещами — не могут вовсе (или могут лишь в очень ограниченной мере) превратиться в истинные и самостоятельные духовные мастерские, где заработанные деньги могли бы в соответствии с их собственными представлениями вновь инвестироваться в процесс создания ценностей.

Если сравнить все это со снижением спроса на более взыскательные книги (то есть на истинную, высокую культуру), на что жалуются и в развитых капиталистических странах, и учесть к тому же факт, что в десятимиллионной Венгрии ту или иную книгу нужно продать в количестве 20 тысяч экземпляров, чтобы она не была дефицитной, — то кажется, что для особого оптимизма нет достаточных причин. К лету 1989 года, в период бурлящей издательской жизни и истощения покупательского спроса централизованная государственная торговля — внезапно, но отнюдь не неожиданно — рассыпалась в прах. Утверждают, что рынок насытился, хотя наверняка речь идет лишь о том, что торговая сеть оказалась неспособной справиться с накопленными ранее и грозящими сегодня обвалом горами книг. «Куда, в каком направлении ведет дорога?» — сегодня на этот вопрос в Венгрии ответ знают немногие.

Понятия «бизнес» и «прибыль» наполнены разным смыслом в экономике и в культуре. И впадать в крайности, путая их, — отнюдь *не рентабельно.*

Мы все оказались на пепелище...

беседа с Игорем Шафаревичем книга о которой спорят

Как мы уже сообщали, в издательстве «Советский писатель» подготовлен сборник публицистических и историко-философских работ оригинального мыслителя и выдающегося математика нашего времени, члена-корреспондента АН СССР, лауреата Ленинской премии Игоря Ростиславовича Шафаревича. В № 11 нашего журнала была опубликована глава из книги И. Р. Шафаревича «Социализм как явление мировой истории», которая в годы застоя не могла появиться в нашей печати по идеологическим соображениям. В этом номере журнал публикует беседу с И. Р. Шафаревичем, подготовленную литератором Дмитрием Меркуловым.

— Игорь Ростиславович, после публикации в альманахе «Кубань» (1989, № 5—7) и «Нашем современнике» (1989, № 6, 11) «Русофобии», по-видимому, многих удивило, как случилось, что вы, видный математик, специалист в наиболее абстрактной области знания, стали заниматься вещами столь далекими от своего научного предмета и создали историческое и социально-философское исследование, отвечающее на ряд наиболее жгучих вопросов современности. Что побудило вас к этому?

— Это уже не первый раз, когда я рискнул выйти за пределы своей профессии — математики. Основной стимул во всех случаях был один. До смерти Сталина, то есть всю мою молодость, мне представлялось, что Россия, с ее более чем тысячелетней историей, с прекрасным искусством, — умерла, а сейчас течет какая-то совершенно другая жизнь. (Собственно, если отвлечься от оценок, то это и было то, чему нас тогда все время учили). Но так как я эту прежнюю Россию очень любил — начиная со сказок и былин, которые были моим первым детским чтением — то такой взгляд придавал жизни мрачноватый оттенок, горький привкус. И вдруг, после 1953 года, стало казаться, что, может быть, перемены были не столь окончательными, ниточка пульса еще бьется. Тогда все вспоминались стихи Тютчева:

Но подо льдистою корой
Еще есть жизнь, еще есть ропот
И ясно слышится порой
Ключа таинственного шопот.

Было ощущение неправдоподобного, чудесного изменения, и после такого чуда уже невозможно было отмахнуться от мысли, что же с нами будет и как объяснить происшедшее.

Сыграло, вероятно, роль и то, что гуманитарные интересы никогда не были мне совершенно чужды. История была моим первым увлечением, я одно время считал, что она и станет моей профессией. И был еще один стимул, о котором, между прочим, писал и Солженицын (ведь по образованию он математик). Казалось, что гуманитарные, общественные науки, литература подверглись у нас такой деформации, что там не осталось живых сил. И значит, если там можно что-то сделать, то сделать должны попытаться люди, пришедшие со стороны. Это придавало храбрости, чтобы вторгнуться в чужую область (хотя, познакомившись с ней поближе, можно было увидеть, что опустошение здесь было не столь абсолютным, как со стороны казалось).

Непосредственным же стимулом для работы над «Русофобией» был один эпизод середины 70-х годов. Тогда у разных людей собралось некоторое количество написанных или полунаписанных статей. Удалось договориться с Солженицыным, который в это время был уже на Западе, что издающийся в Париже журнал — «Вестник русского христианского движения» — целый номер отдаст работам, написанным в Союзе. Это был номер сто двадцать пять за 1978 год. Я поместил в нем одну статью о творчестве Шостаковича, а вторую — с критическим разбором исторических работ Роя Медведева. Еще там было опубликовано мое интервью для станции Би-би-си по вопросам о законодательстве и положении религии. И в этом же номере было помещено несколько статей, отвечавших на антирусские идеи, к которым я позднее обратился в «Русофобии». Речь шла о концепции России, в которой якобы издревле заложены элементы рабства, стремление к подчинению сильной власти, ненависть ко всему чужому, неприязнь к культуре, тоталитаризм и т. д. Эти оскорбительные для каждого русского идеи гораздо раньше стали появляться в «Самиздате», а потом, с отъездом авторов за рубеж, — в западных публикациях. Первый, кто, как мне кажется, здесь на них ответил, был Леонид Бородин, но в официальной прессе он не мог напечатать свою статью. Она появилась в журнале «Вече», который самиздатским способом издавал тогда Владимир Осипов. Это был единственный русский «толстый» журнал, существовавший тогда довольно долго без благословения цензуры. Всего вышло десять или одиннадцать номеров, весьма неровных. Но только сильных авторов подобрать было невозможно. Этот важный фактор в нашем духовном развитии совершенно позорно забыт сейчас. «Вече» вспоминают и хорошо знают наши оппоненты на Западе, какой-нибудь там Янов, и совершенно не знает наше молодое поколение.

В сборнике «Из-под глыб» Солженицын также высказался на эту тему, а в номере сто двадцать пять «Вестник» опубликовал две статьи. Одну из них написал историк Вадим Борисов, который очень квалифицированно, профессионально разбирал всю эту антирусскую аргументацию и показывал не только ее несостоятельность, а какую-то ее поверхностность, почти хлестаковский характер ее аргументов. В то время у меня и сложилось убеждение, что нельзя раз за разом только опровергать все

эти нелепые выпады против русской истории, русского склада ума. Раз они появляются столь настойчиво и систематично, значит должна быть какая-то подоплека, и потому нужно исследовать исток этого явления, а не доказывать каждый раз, что тот или иной аргумент несостоятелен. Надо понять источник заболевания, а не заниматься лишь его симптомами.

В конце 1977 года я начал этой работой заниматься.

— Известно, что вы вместе с академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым участвовали в правозащитном движении. Не могли бы вы рассказать о вашем участии в этом движении?

— У нас с ним совершенно разные ситуации, наши роли попросту несопоставимы. В моей общественной жизни связь с правозащитным движением была поверхностной и временной, а Сахаров был там центральной фигурой. Мне всегда казалось, что право — чрезвычайно важная сторона жизни, но не фундамент ее. Право фиксирует некоторые нормы, которые среди людей сложились, и право сильно тогда, когда есть уверенность в этих нормах. Я помню, как покойный ректор МГУ Иван Георгиевич Петровский мне не раз говорил: «Законы — хорошая вещь, но самые лучшие законы не будут действовать, если не будет людей, которые готовы их выполнять». Право должно быть основано на некоторых глубинных связях с чувствами, человеческими принципами, которые вызывают высокий жертвенный порыв бороться за них. И в этом смысле мне кажется, что и правозащитное движение отчасти не было только правозащитным. Оно исходило из чувства человеческого достоинства, справедливости — весьма неправовых категорий, не юридических. А с другой стороны, перенося центр тяжести на правовую сторону, это движение становилось на слабую позицию.

Например, с формальной, догматической точки зрения в никонианских реформах, вызвавших раскол, никаких нарушений не было. Собор 1666 года был законным. Решение его юридически тоже было законным. Греческие иерархи, приехавшие на Русь, были законными иерархами. А в то же время нравственно собор этот не укладывался в мировоззрение большей части народа, породил невероятной силы борьбу.

Моя связь с правозащитным движением осуществлялась через Комитет прав человека, который организовал Сахаров, и через двух активистов, эмигрировавших сейчас, мало известных, Твердохлебова и Челидзе. Честно говоря, я вступил в Комитет в надежде, что каким-то образом можно его использовать для реальной борьбы за внутренние ценности, подвергшиеся искажению и насилию. Комитет этот дал немного, и вся деятельность Сахарова была не с этим Комитетом связана, а с его личной защитой тех или иных конкретных людей, что было очень естественной и исконно русской чертой — борьба за «униженных и оскорбленных».

Моя деятельность в этом Комитете реально выразилась в двух вещах. В том, что я активно участвовал в подготовке нашего обращения по поводу использования психиатрии в политических целях. Это казалось мне чрезвычайно страшным признаком, потому что выглядело как очень соблазнительный для властей путь, при котором даже никакого правового насилия якобы не происходит. Все гуманно. «Мы осуществляем гуманность», — так тогда и говорили. Одновременно исчезает необходимость каких-либо доказательств, суда. Подсудимые вместо жертв представляются просто сумасшедшими, которых надо лечить. Происходит даже возвеличивание власти: дескать, только сумасшедший может выступать против нее. Такие идеи высказывались еще в очень старинных концепциях тоталитарного общества, начиная от Платона или Вейтлинга. Этот, в некоторых отношениях предшественник Маркса, говорил, что в будущем мире гармонии не будет преступников. Мы будем лечить их и отправлять на острова. И вот такое сопоставление показалось мне страшным...

— Время громких политических кампаний, типа борьбы с космополитизмом, деформировало многие понятия, превратив их в политические ярлыки, исказив вместе с тем и наше общественное сознание. Во всем мире давно существовало и сейчас существует понятие «космополит». Люди с гордостью говорят: «я — космополит», существуют космополитические газеты, журналы, космополитическая поэзия, космополитическая проза, не вызывая никаких отрицательных эмоций. У нас же в стране это слово до сих пор произносится с опаской. Нельзя ли ради, так сказать, экологии мышления вернуть ему первоначальное значение, называя космополитов космополитами, а не, допустим, интернационалистами, что ведет к двойному искажению?

— Да, действительно, сейчас для нас существует чисто черно-белое разделение. Для космополитов космополитизм — это высокое понятие, а для других оно подобно ругательству. На самом деле, как мне кажется, представление о космополите как гражданине мира содержит в себе элемент чрезвычайно высокий и значительный. Я ощутил это вполне конкретно на себе в математике. Здесь, конечно, тоже существуют свои переплетения, и в советской математике есть свои советские или русские проблемы, но сама математика носит космополитический характер. В то время, когда я начинал, математика, как и вся наша наука и культура, была в изоляции. Я помню, что первый раз в жизни поговорил с иностранным математиком, когда мне было за тридцать лет. Потом мне вдруг разрешили выехать на международный математический конгресс. Это было в 58-м году. Я встретился там с людьми, которых никогда не видел, но я попал как в родную семью. Они знали некоторые мои работы вплоть до подробностей. Я знал также их работы. Это было необычайно дружное общение. Оно продолжалось и дальше. В последний мрачный период брежневского правления некоторые западные академии бойкотировали научные контакты с Советским Союзом, но западные математики приезжали сюда за свои деньги в качестве туристов, выступали у нас на семинарах и ломали стену изоляции. Более того, мы принимали участие в каком-то международном научном братстве. Это было теплое и высокое чувство.

Космополитизм можно понимать как единство человечества, которое основывается на национальной индивидуальности и идет выше этой индивидуальности. Оно заложено и в христианстве. Как часто цитируют: «несть ни эллина, ни иудея», но это означает не стирание национальных различий, а высшее единство перед Богом. Национальность играет, по-видимому, роль индивидуальности. Как нация состоит из человеческих индивидуальностей, так и человечество состоит из национальностей, и возможно его единство поверх этих национальностей. Но возможно, конечно, и другое единство — как бы ниже этого уровня, через отрицание индивидуальностей, превращение всего человечества в некую аморфную массу.

То есть, возможны два типа космополитизма. Как государство можно попытаться организовать на принципе свободного, максимального развития индивидуальности каждого человека, а можно и на принципе максимального подавления, упрощения людей, лишения их индивидуальности, превращения в винтиков.

Я когда-то на эту тему уже высказывался, когда давал интервью много лет назад для одного иностранного журнала. Тогда я использовал такое сопоставление. Мне непонятно, каким образом можно быть на уровне общечеловеческих проблем, не исходя прежде всего из более обостренного восприятия проблем своего народа. В одном из романов Диккенса есть глава, которая называется «Телескопическая филантропия». Там рассказывается о даме, которая день и ночь занималась судьбой негров в колонии Бариабула Кха, в то время как у нее масса собственных детей, которых она нарожала — голодных, грязных, неодетых, и на самом деле видно, что ни негров ей не жалко в Бариабула Кха, ни своих детей. Нивелировка национальной индивидуальности того же типа, что нивелировка личности. Это приводит к такому явлению, которое известно у физиков под названием тепловая смерть. Когда молекулы движутся с разными скоростями, но постепенно в результате соударений скорости их выравниваются и приводятся к нулю, и всякое движение, не только жизнь, останавливается.

— Николай Бердяев в известной работе 1916 года «Национальность и человечество» подчеркивал, что «страсти,

которые обычно вызывают национальные проблемы, мешают прояснению сознания». Он считал также, что нельзя сталкивать всечеловеческое и национальное: «Всякая национальность есть богатство единого и братски объединенного человечества, а не препятствие на его пути». И далее, развивая эту мысль, он продолжал: «Всечеловечество раскрывает себя лишь под видами национальностей. Денационализация, проникнутая идеей интернациональной Европы, интернациональной цивилизации, интернационального человечества, есть чистейшая пустота, небытие». К сожалению, у нас многие десятилетия под интернационализацией подразумевалась именно денационализация. Как вы относитесь к этой проблеме?

— Отчасти я уже сказал об этом. Потеря чувства национальной индивидуальности приводит к отчуждению от своего народа и в крайних проявлениях к восприятию его как материала для социальных экспериментов. Такой взгляд лежит в основе многих самых кровопролитных катастроф, включая наше раскулачивание и раскрестьянивание.

— Во времена застоя вы числились среди диссидентов, то есть инакомыслящих. По отношению к царившему тогда догматизму всякий самостоятельно мыслящий неминуемо становился и н а к о м ы с л я щ и м. Но дело не в терминах. Ныне времена изменились, мы говорим о плюрализме мнений, и бывшие инакомыслящие активно выступают в печати и даже заседают в Верховном Совете СССР. Однако, если быть откровенным, какой-то осадок от этого слова «диссидент» все-таки остался. Не могли бы вы более подробно охарактеризовать само диссидентское движение, противостоявшее официальной идеологии?

— Сначала, в конце 50-х и в 60-х годах, самые различные течения этого движения еще не разделялись. Было общее чувство первого свободного вздоха, когда люди могут распрямиться и наконец-то по-человечески начать относиться к жизни. Тогда это был просто первый крик: «Я — человек!»

А после этого начались разделения, разные течения, разные направления. Сам термин «диссидент» уже стал применяться, как правило, в политических целях, и что он означает — это в высшей степени было непонятно. Я думаю, что нужно было бы это явление гораздо глубже обдумать, найти более точные характеристики.

Колоссальную роль в размежевании разных направлений, как мне кажется, сыграла эмиграция. Прежде всего потому, что главным среди лозунгов оказалось право на эмиграцию. Оно было объявлено как первое среди равных прав человека. Крестьяне в то время еще не имели паспортов, они не могли переехать не то что в другую страну, а внутри своей области, им же говорили, что главное право — право на эмиграцию. Ситуация усугублялась еще обращением некоторых из диссидентов к иностранным правительствам с требованием строить отношения с СССР в зависимости от положения с правом на эмиграцию, что воспринималось, как отсутствие такта, как забвение того, что происходит с народом. А это, в свою очередь, привело к отсутствию какой-либо поддержки, вызывало ко всему движению скептическое отношение. Как результат, среди диссидентов возникло чувство, что «нас не понимают» что «мы мечем бисер перед свиньями». Выражалось это иногда именно в таких оскорбительных формах.

Кстати, эмиграция играла чисто практическую роль. Очень много было людей, которые на ней просто спекулировали, делали на этом карьеру, создавали шум, временную какую-то комиссию, Агентство Новостей, например, которое существовало неделю, о нем писали все зарубежные газеты: «появилось независимое Агентство Новостей», им из-за этого давали визу на выезд, и они, как известные диссиденты, отбывали на Запад. В то же время среди людей, которых в какой-то мере можно условно назвать диссидентами, были люди совершенно другого типа. Таким был, например, Владимир Осипов, издававший журнал «Вече», о котором я уже упоминал. В конце концов он получил за это восемь лет, отсидел. А в журнале нет ни строчки, которую сейчас нельзя было бы напечатать. Но это был редкий журнал русского направления. Таким был Леонид Бородин, который получил десять лет за свои чисто литературные произведения и попал в самый суровый лагерь «особого режима», где таких «злодеев» было на всю страну менее двадцати человек. Если бы не перестройка, ему бы этого не пережить.

Было много диссидентов, которые остались неизвестными, остались бедными, как церковные мыши, и абсолютно ничего не получили, кроме нескольких лет лагерей и испорченной жизни. И, наконец, слово «диссидент» вызывает большое раздражение у людей, которые хотели бы сами слыть «борцами за свободу», но у них смелости не хватало. Все-таки это были сотни людей, которые — каковы бы ни были их убеждения — готовы были за них идти в лагеря. Если человеку давали семь лет лагерей, то уж по крайней мере он выходил с язвой, а были такие, как например Юрий Галансков, которые и не вернулись.

В общем, к явлению «диссидентов» очень подходит одно суждение Достоевского о тех «диссидентах», которые были на сто лет раньше: он говорил, что среди них «много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых, но неизвестно было, кто у кого в руках».

— Правда ли, что сборник «Из-под глыб», составленный вами вместе с Солженицыным, вызвал непонимание именно в среде диссидентов? Чем вы это объясняете?

— Правозащитное движение базировалось на абстрактных принципах правозащитности. Сторонников этого движения коробил излишний, как им казалось, уклон сборника «Из-под глыб» в сторону национальных проблем. То, что в сборнике говорилось о России, о православной церкви даже, выходило за рамки защиты прав. Сейчас о церкви говорят все, кому не лень, и это уже ни на кого не производит впечатления новизны. В то время наше обращение к проблемам России и церкви вызвало шок: как, дескать, так, культурные люди, о них не скажешь, что это бабушки неграмотные, а рассуждают о таких вещах...

— В «Русофобии» на основе анализа исторических и современных зарубежных источников, а также публикаций «Самиздата» вы показали, что в самом явлении так называемого «малого народа», характерном для разных стран и разных исторических эпох, заложены причины многих национальных катастроф. Но история повторяется не всегда в виде фарса...

— Это, действительно, поразительное явление и образование «малый народ». Образование некоторых плотных меньшинств, у которых есть стандартный взгляд почти на все явления жизни. Поговорив с человеком, вы это сразу определите. Можете спросить, какие поэты ему нравятся, какие композиторы, какие писатели, какие политические деятели, какой шахматист лучше. Он может и в шахматы не играть, но скажет вам, кто лучше, а кто хуже. Вся жизнь его строго определена. Это чувство отдачи себя во власть некоей мощной силы, благодаря чему он становится частичкой этой силы, теряет свою особенность, но зато приобретает колоссальную мощь. Конечно, прообраз таких движений — где-нибудь в религиозных сектах, особенно в средневековых, западноевропейских. Во многих течениях люди приобретают такую психологию. Она дает ощущение силы — в жизни все ясно, для свершения есть колоссальные возможности, только нужно пожертвовать собой, слиться с силой, которая тобой руководит.

Возникает вопрос, что же это такое? Кому это нужно? Такое впечатление, что это не просто собрания людей, а какие-то структуры, в некотором смысле даже одушевленные, некий новый тип индивидуальности. А что такое индивидуальность? Это не стандартный вопрос. Например, пчелиный улей — это собрание большого количества отдельных пчел. Но у улья есть обмен веществ. Пчелы машут крылышками, в улье циркулирует воздух: у улья есть дыхание. Пчелы поддерживают в улье температуру 34°С, очень точно. У улья есть половые клетки: трутни и матки и так далее. То есть более точное понимание природы улья создает представление, что это единый орга-

низм, который устроен так, что отдельные частички его могут далеко летать и возвращаться. Но выделенная из улья пчела гибнет и существовать не может.

По-видимому, существуют какие-то индивидуальности большего масштаба, которые создают такие силы, что включение в них для отдельных людей и дает это особое ощущение «малого народа». Но те силы, о которых я говорю в «Русофобии», — это силы, лишенные созидательных возможностей, потому что они существуют за счет изоляции от почвы, а созидательные возможности все же исходят от почвы. Подобные силы опасны. Они чрезвычайно опасны особенно сейчас, в период перестройки, поскольку перестройка в каждом организме — это критический момент. Старые механизмы, какими бы они ни были консервативными, отжившими свой век, все равно еще как-то функционировали. А они ломаются, в то время когда новых еще не создано. В этот момент организм находится в неустойчивом состоянии и влияние организованных дестабилизирующих сил особенно опасно, может быть особенно эффективно.

Когда я писал «Русофобию», то указывал как на будущую возможность на то, что группы, ушедшие в основном в эмиграцию, могут в какой-то момент вернуться. Что в некоторой степени, может быть, сейчас и осуществляется. Особенно тревожат, конечно, имеющиеся у нас исторические аналогии, когда то же самое явление «малого народа», скажем, в 20-е годы, создавало ненависть к деревне, к православной церкви, ненависть, направленную против крестьянской цивилизации. Тогда это были и Троцкий, и Безыменский, и многие другие. Сейчас мы видим, что такое же раздражение вызывают деревенские писатели. Вот один из множества примеров. В журнале «Юность» (1988, № 6) напечатано стихотворение «Вандея». Там даются такие характеристики: «Литературная Вандея в речах о Родине радея...», «За экологию природы встает, витийствуя, она, но экология свободы ей непонятна и страшна», «Когда талант в такой трясине, обидно чуть ли не до слез». Кто эти писатели, в которых автор со слезами признает талант, которые «витийствуют» об экологии, догадаться, конечно, нетрудно — это современные «деревенщики». О них же читаем далее: «провинции французской имя к родимым рылам приросло», «Она рычит в квасном угаре» и т. д. Что это, как не та же самая злоба, что в известных отзывах Троцкого и Бухарина о тогдашних «деревенщиках» Есенине и его круге? Та же злоба, что и в стихах Безыменского:

Расеюшка-Русь, повторяю я снова,
Чтоб слова такого не вымолвить ввек.
Расеюшка-Русь, распроклятое слово
Трехполья, болот и мертвеющих рек...

Тревожной является сама горячая симпатия к деятелям 20—30-х годов типа Троцкого и Бухарина, сейчас часто проявляющаяся. Коллективизация, как известно, происходила в два приема: сначала мобилизовались духовные силы, формировались люди, которые могли эту коллективизацию проводить, а потом уже перешли к реальному делу.

Не являются ли эти тенденции, воскрешаемые в современной литературе, тоже подготовкой чего-то аналогичного, может быть, каких-то новых форм «раскрестьянивания»? В 20-е годы одной из основ тогдашней идеологии был взгляд на Россию, как на нечто второстепенное, не имеющее самостоятельной ценности, а важное лишь как элемент некоторой общемировой программы, как поле для проведения экспериментов. И вот сейчас, оказывается, провозглашаются те же принципы. Когда только появился «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, одним из первых с критической статьей выступил Рой Медведев. И он привел там такой аргумент: марксизм, как и всякая наука, имеет право на эксперимент. Это не вскользь брошенная фраза, а заголовок целого раздела. И он с тех пор никогда не брал этих слов назад. То есть то, что нормальный человек считает омерзительным в применении к кролику или собаке, провозглашается приемлемым по отношению к целой стране, многомиллионному народу!

Такое право на социальные эксперименты, по сути, признается и в статье Г. Померанца в журнале «Век XX и мир». Он говорит, что экспериментаторы-энтузиасты 20-х годов действовали всего-навсего «от нетерпения сердца», что это были романтики, что по крайней мере мы должны поставить им в заслугу, что они действовали не ради спецснабжения.

Это принципиальный вопрос, требующий внимательного рассмотрения: что представляет собой большую опасность? Люди, которые готовы производить массовые расстрелы ради корысти, или же те, для кого само участие в убийствах является достаточной наградой?

Появление таких людей было связано с наступающей катастрофой, а теперь их реабилитация (не юридическая, а именно моральная) является очень тревожным признаком. Я думаю, что в полпотовской революции, когда за три года было уничтожено три четверти мужского населения страны, руководители были именно романтиками, они совершали невиданный в истории геноцид «от нетерпения сердца». И я не знаю: стремился ли сам Пол-Пот к спецснабжению? Вдруг окажется, что он жил аскетом. Неужели тогда он будет вызывать симпатии?

Там же автор требует, чтобы стихи Багрицкого: «Если скажет солгать — солги, и если прикажет убить — убей» — трактовались не как аморализм, а как особый вид морали. Согласен, но тогда надо признать, что это та же самая особая мораль, которая породила Треблинку. В данном случае была Треблинка для мужиков, но ведь это не должно влиять на нашу оценку?

— От романтики великих идей к романтике великих убийств?

— Я думаю, что тут одно и то же. Одно течение.

— На Западе широко известна ваша книга о социализме. Я прочитал ее, и на меня она произвела глубокое впечатление прежде всего нетрадиционностью вашего подхода к истории человечества. В частности, вы затрагиваете духовные причины некоторых «до боли знакомых» социальных явлений. В связи с этим хотелось бы узнать, как вы относитесь к тому, что во всем мире сегодня происходит угрожающий процесс порабощения духа. Претензии «денежного мешка» на мировое господство осуществляются в полном соответствии с пророчеством Достоевского: некая грубая материя, пусть в самых привлекательных, комфортных, благополучных формах машинной цивилизации приобретает невиданную власть над духом. Согласны ли вы с мыслью, что Россия остается оплотом духовности в мире?

— Нет, не согласен. Мы все, и Россия, и Запад, как мне кажется, находимся на пепелище. Мы в страшном положении, если посмотреть со стороны, оно вообще может показаться безнадежным. И здесь ситуация в высшей степени интернациональна. У каждого из нас сохранились какие-то следы, какая-то память о предшествующих тысячелетиях, опираясь на которые мы можем найти выход. Она, эта память, разная, и выходы разные. Люди ищут, протестуют, борются, иногда трагически ошибаясь. Это и так называемые «зеленые» на Западе, и движение фундаментализма в Иране. Все это взрыв протеста против подчинения человека технической цивилизацией, против того, что называется модернизацией. Или возьмем происходящее в Латинской Америке, — так называемую теологию освобождения, или то, что у нас происходит, чувство, которое мы испытываем. У нас, мне кажется, оплотом духовности, на котором можно что-то построить, до сих пор является деревня. Почти четверть населения у нас проживает в деревне, а в Америке — три процента. Деревня еще крепко связывает нас с почвой, природой, космосом. Это источник сил, исходя из которых мы можем сохранить здоровые начала жизни. Если, конечно, остановим уничтожение «неперспективных» деревень, если не станем заводить у себя американского фермерского хозяйства, которое сведет самостоятельное население к трем процентам.

С этим связан и предшествующий вопрос, который вы ставите. В мире действительно происходит господство материи над духом. Это в некотором отношении верно, но в каком-то отношении я с этим не согласен. На самом

деле все происходит не от материи, а от духа. Дело лишь в том, какой этот дух. Еще в сборнике «Из-под глыб» я писал, что люди стремятся к отличиям, не имеющим чисто биологического значения. Например, кольцо, вставленное в нос, или расшитый золотом мундир, или дорогая машина ценятся не ради их физических качеств. В наших условиях роскошная машина — это то же кольцо в нос, только в современной форме. И так происходит почти со всеми другими знаками статуса, престижа. Общество создает какие-то символы, в борьбе за которые человек подталкивается в том или ином желательном для общества направлении. Еще Юм сказал, что в жизни решают «не интересы, а мнения». Если говорить с вашей точки зрения: не материя, а дух. Только духи эти, повторяю, бывают разные.

Дух, который сейчас захватывает мир, — это дух покорения силы атома, покорения Космоса, создания искусственных существ, создания даже искусственных людей. Сейчас уже тысячи людей созданы в пробирках. Создается природа искусственная, заменяющая живую.

Недавно я прочитал в «Самиздате» очень интересную рукопись, в ней говорится, что среди тридцати тысяч пословиц Даля из всех качеств на первом месте ставится спасение, а на втором — терпение. Часто они соединяются: за терпение Бог дает спасение. Терпение или дух терпения — это борьба не с внешними силами, а с самим собой, то есть перенесение центра тяжести не на природу, а на себя. Это некий принцип, который обеспечивает равновесие между человеком и природой.

В каких свойствах реализуется насилие над природой? В словах могущественный, господствующий, победитель, сильный, гордый. Если же мы посмотрим на противоположные качества, то получим очень старые, известные нам категории: нищие духом, миротворцы, милостивые. Звучит, как экологический призыв: блаженны кроткие, ибо они наследуют Землю. Действительно, Земля в самом буквальном смысле требует не повелительного отношения, не концепции покорителей, а концепции кротости; требует психологии человека, который готов принять или услышать руководство природных или сверхприродных сил. Еще отцы церкви так говорили: телесный труд — это есть листья, хранение же сердца — это есть плод. То есть телесный труд — есть некоторое средство, но не сама цель. А наши «народники», специалисты по земледелию, уничтоженные по процессу «крестьянской партии», Чаянов, например. Он говорил, что в основе крестьянской культуры лежит другой принцип выгодности, чем в технологической цивилизации, другая оценка выгодности хозяйства. Под «выгодностью» подразумевалось сохранение того уклада жизни, который был не средством для достижения большего благополучия, а сам являлся целью. «Выгодность» крестьянского хозяйства определялась его связью с природой, с крестьянской религией, с крестьянским искусством, с крестьянской этикой, а не только полученным урожаем.

Мы не знаем точного запаса сил природы, заложенной в нас природой мудрости. Только природа способна дать нам возможность построить жизнь на других принципах, но для этого надо подчиниться духу природы.

— В последние годы в нашем обществе заметно снизился авторитет науки, в том числе академической. Произошло это не столько из-за недостаточной отдачи, выражаясь языком наших экономистов, сколько из-за неспособности к самокритике, к самоограничениям в тех сферах, которые грозят опасностью для человека. У людей возникло ощущение безнравственности самой науки, а не только отдельных ученых. Это относится и к гуманитарным, и к естественным дисциплинам, равно потерявшим свой былой нравственный авторитет. Что вы можете сказать об этом?

— Произошла страшная и трагическая деформация науки. Помню разговор на заседании Отделения физико-математических наук, секретарем которого был тогда физик, академик Лев Андреевич Арцимович. После его отчетного доклада я ему сказал: «Вы заметили, что двумя нашими наибольшими успехами назвали запуск спутника и создание большого ускорителя? Никакой же закон природы не был этим открыт. Это не было познанием природы, как раньше формулировалась цель науки. Вам не кажется, что что-то изменилось?» Он ответил: «Ну что вы, я это давно заметил. Наука обрела совершенно другой смысл. Законы природы уже почти все открыты, а появилась новая, очень увлекательная наука, смысл которой заключается в изменении самой природы при помощи этих известных законов».

И действительно, если раньше наука имела характер деятельности, близкий к искусству, даже, может быть, к религиозной деятельности познания Вселенной, то теперь наука подпадает под все закономерности нашего производства. В частности, Академия наук стала таким же инструментом, как Агропром или Минводхоз, и, к несчастью, в каждое разрушительное действие этих ведомств она тоже внесла свой весомый вклад. Когда строили комбинат на Байкале, то именно Академия наук с ее тогдашним президентом поддержала строительство этого комбината. Когда решался вопрос о переброске рек, то на решающем заседании Совета Министров Академия наук в лице ее тогдашнего президента тоже поддержала эту переброску. Теперешний же президент был в то время председателем Комитета по науке и технике. Интересно, как он тогда высказывался? И реакторы чернобыльского типа тоже были разработаны в Академии наук. Иногда в Академии наук удается лишь с величайшим трудом предотвратить новые экологически разрушительные проекты. Все это, конечно, катастрофа, происходящая с самой наукой в современном мире.

— Не кажется ли вам, что такие чудовищные преступления против нашего народа, как расказачивание, насильственная коллективизация, организованный голод тридцать третьего года, уничтожение памятников русской культуры, ГУЛАГ, а в наше время — уничтожение «неперспективных» деревень — все это звенья одной цепи? Быть может, не случайно «Память» ставит вопрос о заговоре против России?

— Вопрос о заговоре — страшный, тонкий, трудный вопрос. В этом вопросе опасны уклоны и перехлесты в любую сторону. Вспомним, какие процессы протекали в нашей истории за последнее столетие. В интеллигенции выделился слой, враждебно относившийся к своему народу и его истории. В народе (отчасти — под влиянием этого слоя) разрушалась вера в Бога, доверие к монархии. На Западе создавалась концепция России — препятствия мировому прогрессу, потом она нашла последователей и у нас. Дальше происходило уничтожение образованных слоев народа, уничтожение церкви. Потом — уничтожение деревни: сначала крестьян, потом самих деревень. И, наконец, — уничтожение природы. Во всем этом чувствуется грандиозная, глобальная логика. Нельзя представить, например, сначала разрушение природы, а потом деревни. Тут действительно есть какая-то последовательность. Не странно ли, что в самом простом человеческом деле мы признаем необходимость разумного плана, а про грандиозные события истории предполагаем, что они происходят сами по себе? В результате в качестве альтернативы возникает концепция заговора. Но чей же это заговор? Мне кажется, что если бы это был в стандартном смысле заговор, как заговоры для свержения Петра III или убийства Павла I, то мы бы о них знали, такие заговоры становятся известными, а в мировые глобальные тайны истории я не верю. Одно время утверждалось, например, что Гитлер обманул немцев, что до захвата власти никто не подозревал о его планах. Но потом вспомнили, что все его идеи открыто высказывались и раньше. Он никого не обманывал, самообманом было лишь то, что люди ему не верили, не принимали всерьез. А он говорил, мобилизовывал единомышленников. Точно так же ничего не скрывали и идеологи «военного коммунизма», о будущих ГУЛАГах говорилось задолго до того, как они стали реальностью, Сталин лишь воплотил эти идеи в жизнь.

Мы находимся между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, нам предлагают концепцию творчества как бы без творца. С другой стороны — концепцию заговора, который просто по фактическим данным неправдоподобен, да и слишком тривиальна такая точка зрения. Беда как раз и заключается в том, что у нас очень мало выбора из концепций, которыми мы можем пользоваться. Раньше

были религиозная точка зрения, мифологическая. Мы могли бы объяснить происшедшее с помощью мифа. Это было бы глубокое объяснение, в том смысле, что для людей оно стало бы логично, все бы уложилось в некую единую картину. А мы можем оперировать только концепциями научно-технического мышления, которые для таких проблем примитивны. Переделка этих концепций — мучительный и страшно сложный процесс. Гораздо более сложный, чем освобождение от цензуры или обретение права читать сочинения Троцкого. Освобождение у нас только началось. Мы только начинаем выпутываться из мрака, и хочется надеяться, что выпутаемся. Мы должны понять то, что понимали люди издревле. История — не примитивная схема. Здесь имеются захватывающие глубинные тайны, которые гораздо глубже, чем представления о группе заговорщиков-злодеев. Думаю, что, освободившись от шор на глазах, мы сможем начать разбираться в сложнейшем историческом процессе, который нужно воспринимать с трепетом, как какую-то грандиозную мировую загадку, стоящую перед человечеством.

— В «Русофобии» вы поднимаете вопрос о еврейском националистическом влиянии на формирование взглядов «малого народа». Для вас, наверное, не было неожиданностью, что это непременно вызовет обвинения в антисемитизме, шовинизме, а то и в фашизме. Чем вы объясняете столь болезненную реакцию на «еврейский вопрос»? Может быть, и здесь вся беда в том, что этот вопрос в нашей стране долгое время принадлежал к числу закрытых, не подлежащих гласному обсуждению?

— Да, конечно, мы отчасти и расплачиваемся за то, что этот вопрос был запрещенным. И запрещенным весьма основательно. Например, в 1935 году в докладе о новой конституции Молотов сообщил, что у нас пропаганда антисемитизма карается расстрелом. Какой бы смысл он ни вкладывал в термин «антисемитизм», никаких аналогичных мер, ограждающих чувства украинцев или русских, никогда не принималось. Но этот вопрос, как и многие другие ранее запретные темы, необходимо предать гласности, спокойно сформулировать и обсудить. Только так, может, что-то разъяснится. Хотя, конечно, далеко не мгновенно, такие вещи делаются очень медленно. Что же касается обвинений в мой адрес, то в них как раз и сказывается стандартный взгляд, который навязывается меньшинством большинству, превращаясь в шоры. Здесь я тоже хочу надеяться на разум и время.

— В откровениях эмигрантов третьей волны можно прочитать: «быть русским интеллигентом — значит быть евреем». Насколько соответствует это действительности, возможно ли такое замещение?

— Прежде всего мне кажется, что такое замещение в принципе невозможно. Если речь идет о русской интеллигенции, о русской культуре, то она может быть только русской, а не еврейской или узбекской.

Здесь возможны не замещения, а подтасовки. Примером такой подтасовки может служить отношение к Василию Гроссману. С одной оговоркой, что сам писатель к этой подтасовке не имеет никакого отношения, поскольку его нет в живых. Именно Василий Гроссман мне кажется ярким примером не русского, а русскоязычного писателя. У нас же каким-то странным образом избегают этого термина, я его почти не слышал.

— Наоборот, сейчас широко используются формулировки русскоязычная литература, русскоязычные писатели. По примеру англоязычных и франкоязычных, которые, кстати, никак не замещают английскую и французскую литературу как явления национальных культур. Об этом впервые заговорил критик Юрий Селезнев, писавший, что необходимо различать русскую литературу и литературу на русском языке. Ведь не называем же мы Чингиза Айтматова русским писателем, хотя он пишет на русском языке...

— Я говорю конкретно о понятии еврейская русскоязычная литература, которое существует точно так же, как еврейская англоязычная литература. В Америке это очень фешенебельная отрасль, здесь уже присуждены две Нобелевские премии. Если бы Василия Гроссмана мы называли еврейским русскоязычным писателем, то все встало бы на свои места. У него ведь есть рассказы из жизни еврейских местечек, где он продолжает традицию Бабеля. В романе «Люди и судьбы» видно вполне национальное отношение к отдельным героям, к истории, что совершенно естественно. Этот роман написан с некоторым холодком к русским, что тоже вполне понятно, народ мы не из легких. Но повесть его произвела на меня страшное впечатление. Я имею в виду «Все течет». Если согласиться, что эта повесть, как нас уверяют, написана русским писателем, то создается впечатление, что русские наконец поняли, что они из себя представляют. Что же, по мысли автора, представляет из себя русская нация? Высказываются три положения. Первое: русские на всем протяжении своей истории и на всех просторах своей страны были рабами, а Россия — рассадником рабства. Русская душа — это душа раба. Второе: элементы свободы проникли в Россию лишь вместе с появившимися с Запада иностранцами. На их свободу, независимость и чувство собственного достоинства русские взирали с завистью и недоумением. Третье: русская рабская душа, как самый сильный спиртовой раствор, который растворяет все элементы свободы, уничтожила, перемолола революцию. И снова вернулась в свое рабское состояние.

Заметим, речь идет не о каком-то отдельном течении в русской мысли, не о какой-то эпохе, а о глобальном суждении о всем народе и всей его истории. Такими концепциями и оперирует автор: русская душа, русская история и т. д.

Я встречал подобную концепцию русской истории только в идеологии национал-социализма: в известном произведении ведущего гитлеровского идеолога Розенберга «Миф двадцатого века». Абсолютно та же концепция: русские, славяне — рабы. Государство и элементы цивилизации были заимствованы, завезены в Россию германцами. Сначала варягами, которые создали русское государство. Постепенно они растворились в русской массе, чистота арийской крови утратилась. И тогда страна стала жертвой азиатских захватчиков. Она пребывала в таком рабском состоянии до тех пор, пока в послепетровские времена германцы вновь не создали здесь государство европейского типа, но потом в результате революции оно было вновь разрушено.

Это совершенно та же самая концепция, возвращенная нам в романе Гроссмана в самой крайней, радикальной форме.

Чем объяснить подобное? Если знать, как оно и есть на самом деле, что перед нами произведение еврейского русскоязычного писателя, то это еще как-то можно понять. Ну, вековые трения, обиды... А если считать, как нам внушают, что это произведение русской литературы, то получается полный абсурд. Получается, что взгляд русских на свою историю совпадает с точкой зрения Розенберга. Вот такие подмены недопустимы, они совершенно искажают истинную картину.

— Сейчас можно услышать призывы к покаянию русского народа, не отдельных участников и соучастников чудовищных преступлений, среди которых были и русские, и евреи, и грузины, и латыши, и татары, а всего русского народа. Что вы об этом думаете?

— Покаяние — категория религиозная. Более скромно, осторожно следовало бы говорить о раскаянии. Но призывать к раскаянию других — это очень сомнительный путь, чреватый новыми обидами. У каждого народа есть свои ошибки и свои преступления, только он сам может их осознать и в них — раскаяться. В качестве более доступной цели, чем всенародное раскаяние, в качестве первой ступени я бы поставил стремление к честному сосуществованию, к честным «правилам игры», исключающим подтасовки и клевету. Все имеют в жизни свои интересы, и отстаивание этих интересов — вполне законное право. Надо только научиться учитывать правомерность интересов не только собственных, но и другой стороны. Достижима ли даже эта очень скромная цель? Утверждать не берусь. Тем не менее, это кажется мне наиболее реалистичным выходом, на который сейчас можно было бы надеяться.

ЛАРИСА ПОТОЦКАЯ

что читают дети

Фото ВЛАДИМИРА ОРЛОВА

Человек не рождается наделенным исторической памятью. Все это воплощено не в нем, не в его природных задатках, а в окружающем мире, в творениях человеческой культуры. Процесс овладения этими ценностями формирует его способности и функции. Но отношения субъекта к миру, особенно в раннем возрасте, не зависят от него самого, а определяются историческими, социальными условиями, в которых он живет.

Очень важную роль в усвоении опыта, накопленного человечеством, играет книга — древнейшая и наиболее эффективная форма сохранения коллективной памяти. Процесс усвоения достижений с помощью книги включает в себя наличие посредника, то есть между ребенком и человеческой культурой, в том числе книгой, должен стоять взрослый, и первыми посредниками в этом являются родители, то есть семья. А потому очень важно разобраться в том, что такое в представлении взрослой части населения страны «детская книга» и какое место отводится ей в деле воспитания.

Семья имеет решающее значение в формировании эмоционального мира, самосознания и нравственных устоев личности ребенка, особенно в первые годы жизни. И книга в доме — это точка отсчета, от которой начинается воспитание с помощью печатного слова.

Принято считать, что здесь важную роль играет образование родителей, их профессия. Однако, если понимать под образованием определенный уровень знаний, то его совсем бывает недостаточно для эффективного воспитания подрастающего поколения с помощью книги. Глубокое осознание роли книги зависит от того, насколько уровень образования соответствует культуре, способности к творчеству, социальной ответственности родителей. Поэтому высокий уровень образования еще не залог успешного воспитания в семье, формирования потребности в чтении. Ведь не книга сама по себе воспитывает, а общение, связанное с книгой.

Такое общение предъявляет к родителям требование: хорошо знать детскую литературу. Но знания родителей в этой области невелики. Они ограничиваются довольно узким кругом авторов, тем, жанров и видов литературы.

При анкетировании, которое проводилось Государственной библиотекой СССР имени В. И. Ленина и Всесоюзным обществом книголюбов в рамках исследования «Домашние библиотеки 80-х годов», родителями было названо всего 107 авторов, что само по себе составляет весьма малое количество. В этом перечне писателей наибольшее число раз были названы:

Н. Носов — 54 раза; К. Чуковский — 45; С. Маршак — 43; А. Гайдар — 39; Г. Х. Андерсен — 38; А. Волков — 36; А. Барто — 35; С. Михалков, братья Гримм — 33; Ж. Верн — 29; А. Дюма — 25.

Как видно из этого списка, преимущественно повторяются фамилии наиболее известных писателей, создававших произведения для детей младшего возраста. Произведения их часто переиздаются и имеют большие тиражи. Поэтому можно сделать вывод, что благодаря частым переизданиям на протяжении многих лет именно эти писатели стали известны широкому кругу читателей.

Так выглядит круг авторов, которых знают взрослые и хотели бы иметь дома.

Невольно возникает вопрос, почему же в эти списки не попали наши отечественные классики, на произведениях которых воспитывалось столько поколений русских людей. И Толстой, и Чехов, и Пушкин, и Достоевский, и Лесков, и Аксаков оставили жемчужины литературы для детей. Как могло случиться, что эта литература стала лишь привычно учебной, надоедливо насаждаемой по школьной программе. Но крайне недостаточно ее среди той, что попадает к ребенку, сначала из родительских рук, а потом и по самостоятельному выбору ребенка, как книга любимая... Это «выпадение» нашей классической литературы и подмена (вытеснение) так называемой детской литературой современников — явление весьма настораживающее. У него есть свои корни, о которых стоило бы поговорить особо...

Самым же предпочтительным из жанров является сказка, независимо от того, авторская она или народная. Это неудивительно, так как из всей литературы первыми приходят к человеку сказки. Желание приобретать сказки было высказано 169 раз — самое большое количество. Конечно же, преимущество получили сказки народные и авторские, ставшие классикой мировой литературы. Г. Х. Андерсен, братья Гримм, Ш. Перро, В. Гауф — вот наиболее часто повторяющиеся имена сказочников. Сказка — это та разновидность детской литературы, которую родители покупают с охотой и потребность в которой все растет.

Второй разновидностью литературы, спрос на которую всегда велик, является приключенческая книга. Но и здесь знания об авторах ограничиваются именами А. Дюма, Ж. Верна, М. Рида, Ф. Купера. К ним недавно прибавились произведения, вышедшие в «макулатурной» серии и поэтому получившие широкую известность — Стивенсона, Сабатини.

Третья разновидность литературы, которую чаще других упоминают родители, — это фантастика. Здесь следует отметить закономерность: взрослые почти не называют конкретных произведений. Кроме А. Беляева и Ж. Верна, ни одной фамилии авторов не было названо дважды. Видимо, выделяя эту литературу, взрослые не имеют в виду что-то конкретное, они просто убеждены, что такая литература «захватывает», то есть вызывает сильный эмоциональный подъем. Пожалуй, это качество более всего ценится в книге, которую родители хотят иметь для своего ребенка.

Существует у них также большая потребность в приобретении для детей книги научно-познавательной. Но именно в области такой литературы родители особенно беспомощны, так как почти не имеют о ней представления. Желание иметь такие книги в доме высказывается на уровне обозначения темы, области знания. Исключение составляет «Детская энциклопедия». А потому родители целиком зависят от того, что предлагает рынок. Осознавая, что научно-художественная, научно-познавательная книга играет важную роль в приобщении ребенка к знаниям, труду, родители высказывают желание видеть такую литературу у себя дома: «Хотелось бы, чтобы выпускали книги для детей, воспитывающие у них творчество и приучающие их к труду радостному и полезному. Это и «Учись вязать», «Учись делать игрушки», «Рисуй», «Выжигание» и т. д».

Это только одно направление научно-познавательной книги. Но как раз такие книги могли бы играть очень важную роль в проведении досуга, в организации духовного общения в семье, так как до двенадцати-тринадцати лет ребенку при общении с такой книгой необходим взрослый. Ведь ребенок само действие усваивает гораздо быстрее, чем постигает его через слово.

Особо следует выделить книги, которые необходимы детям с самого раннего возраста. Это литература, дающая представление о Вселенной, о развитии жизни на Земле, помогающая формировать основы мировоззрения. Многое отдаленное от ребенка большим пространством и временем гораздо ближе ему, чем события не столь отдаленные. А потому научно-познавательные книги такого рода просто необходимы в домашних библиотеках, именно в домашних, так как требуют неоднократного возвращения к себе, совместного рассматривания, разговора, что дает возможность глубже проникать в содержание, упражняться в устном изложении прочитанного. Это, в свою очередь, необходимо для развития мыслительной деятельности ребенка. Примером такой литературы могут служить книги Й. Аугусты с прекрасными иллюстрациями З. Буридана — «Летающие ящеры и древние птицы»,

«Книга о мамонтах», «Жизнь древнего человека», «Ящеры древних морей», а также книга Й. Садила с иллюстрациями Л. Пешека «Планета Земля». Все они были изданы в 60-е годы издательством «Артия» в Праге. У них нет четкого возрастного адреса, но для данных изданий он и не нужен. Эти книги должны сопутствовать ребенку на протяжении всего детства. Как показала работа, проведенная Домом детской книги в начале 80-х годов, эти издания оказывают огромное воспитательное воздействие на детей младшего школьного возраста, не сравнимое по силе с другими книгами, рассказывающими о той же области человеческого знания. Но найти эти книги сейчас практически невозможно, а именно из такой литературы должна составляться домашняя библиотека.

К изданиям, необходимым в семейной библиотеке, можно отнести и такие, как «Физика для малышей», «Математика для малышей», «Быль-сказка о карандашах и красках» и другие. Эти издания адресованы родителям для совместного чтения с детьми. Хорошие, наглядные иллюстрации, интересные тексты дают большой материал для работы. Здесь же — материалы для взрослых, объясняющие, как использовать эту книгу для работы с детьми. Такая книга предполагает долгое использование, читать ее надо несколько месяцев, возвращаясь к отдельным главам по нескольку раз. В процессе чтения ребенок должен приобрести первые понятия и навыки в той области, о которой идет речь в книге. По существу, это учебники и для детей, и для взрослых. Главная и важная их задача — научить человека познавать мир в процессе практической деятельности. Однако небольшие тиражи книг (100—150 тыс. экз.) делают их малодоступными для тех, кому они адресованы, они практически неизвестны взрослым. Попадая в общественные библиотеки в нескольких экземплярах, они не могут стать достоянием всех, кто испытывает в них потребность. Тем более, что такого рода книги рассчитаны чаще всего на дошкольников, которые большей частью еще не являются читателями детских библиотек. Но даже если книга взята из библиотеки, то срок пользования ею ограничен, и ее воспитательная роль невелика. Поэтому она безусловно должна быть в домашних библиотеках.

Когда речь идет о научно-познавательной, научно-художественной литературе для детской части домашней библиотеки, то здесь особенно велико желание приобретать справочную литературу. О такой литературе родители более всего осведомлены. О существовании иной литературы родители имеют смутное представление. Они желают приобретать книги определенной тематики: «о природе», «о животных», «о космосе», «о войне», «природа. Мир животных и растений», «по живописи». Желание часто имеет обобщенный характер: «Хорошие, интересные, научно-популярные», «детские красочные книги, желательно, познавательного характера», «литературу познавательного характера типа «Техника вокруг нас», «Отчего это бывает» и т. д.».

Здесь же можно отметить, что многие научно-популярные, научно-художественные книги, предназначенные для детей (например, из серии «Время. Люди. Идеи») желают приобрести взрослые. Эти книги часто никак не ассоциируются в их сознании с литературой для детей, хотя выходят в издательстве «Детская литература». Однако у детей, старших подростков они как раз не вызывают интереса. И не потому, что не соответствуют уровню их психического развития, а скорее потому, что дети не подготовлены к чтению такой литературы. Ведь интерес к научно-популярным книгам тесно связан с наличием у детей развитого интереса к каким-то проблемам или к какой-то области знаний, то есть обусловлен определенным уровнем их развития. Но такого устойчивого интереса не наблюдается, исключение здесь представляют лишь «деловые» книги, то есть литература, содержащая какой-либо инструктивный материал, типа: «Начинающему фотолюбителю», «Радиолюбителю», из серии «Знай и умей» и др.

Спрос на научно-популярную литературу в детской библиотеке очень часто связан с заданием учителя-предметника, когда дети приходят за определенной книгой в библиотеку для того, чтобы выполнить его задание. Например, подготовка сочинения по русскому языку на тему, связанную с описанием памятника, памятного места, вызывает спрос на литературу об архитектуре, о памятных местах, достопримечательностях края, страны и т. д., задания по географии — спрос на литературу о странах и континентах, по физике, биологии, химии — о жизни ученых, особенностях отдельных элементов периодической системы и т. д.

Такой спрос «по заданию» дает возможность представлять библиотекам довольно внушительные цифры о чтении научно-популярной литературы, на самом же деле устойчивого интереса к этому виду литературы (в таком масштабе) у подростков нет. Нам кажется, что существует прямая зависимость между отношением подростков к научно-популярной литературе, уровнем осведомленности родителей и тех, кто «руководит» чтением литературы, и системой преподавания в школе.

Ни родители, ни педагоги не знают такого рода литературу или знают очень плохо, а существующая система школьного образования не развивает у человека стремления к добыванию знаний самостоятельно, не учит самостоятельной работе с книгой. Задания, о которых говорилось выше, чаще всего бывают формальны. Выполнение их сводится к переписыванию отдельных сведений, чаще всего из справочных изданий. Дети, как правило, этим и ограничиваются. Поэтому процент читающих в старшем подростковом возрасте научно-популярную литературу очень мал, особенно, когда речь идет о книгах по философии, истории, общенаучным проблемам, то есть именно о той литературе, которая играет важнейшую роль в формировании мировоззрения человека, его личности. Наблюдается такая закономерность: чем старше ребенок, тем меньше родители и школа влияют на формирование его интересов с помощью научной книги, чтение подростков все более выходит из-под их контроля, формирование интересов подростков становится стихийным.

Результатом этого, как показало исследование, стало отношение к научно-популярной книге как к источнику информации для обеспечения какой-то деятельности, например: «для учебы», «для расширения кругозора»... Подобное отношение к чтению не воспитывает главного — потребности в чтении. На формирование же потребности должны быть направлены усилия и родителей, и школы, и общества в целом.

И овладение техникой чтения — это еще не конец, а только начало развития процесса познания и потребности в нем. Но именно на этом этапе руководство чтением зачастую сводится лишь к приобретению книги для ребенка. Таким образом, духовное общение на основе книги подменяется коммуникацией. Но если коммуникация — это просто передача информации, то общение — это взаимодействие личностей, которые в этом процессе выступают как равноправные участники, вырабатывая общие взгляды, позиции, убеждения. Это и есть воспитание, то есть формирование у ребенка системы ценностей, отношения к жизни.

Подмена общения коммуникацией характерна для всей нашей педагогической системы в целом, что отрицательно сказывается на способности человека к самовоспитанию.

Непосредственное отношение к детской книге, кроме родителей, имеют работники детских библиотек. Именно к ним была обращена анкета «Десять лучших книг для детей», опубликованная в журнале «Библиотекарь». Около пятисот библиотекарей откликнулись на нее. Отметим, что большинство писем

пришло из небольших городов и сел. В анкете предлагалось назвать десять лучших детских книг, которые необходимо переиздать. При анализе ответов список получился следующим:

А. Волков, В. Осеева, К. Булычев, Е. Ильина, Н. Носов, Д. Родари, А. Рыбаков, А. Дюма, А. Линдгрен, Ж. Верн, М. Рид.

Прежде всего отметим, что этот список из десяти фамилий имеет четкую *«возрастную ориентацию»*: все эти авторы читаются детьми девяти — двенадцати лет. Конечно же, у книг А. Волкова, Н. Носова, Д. Родари существует и более юный читатель, а у А. Дюма, Ж. Верна, М. Рида и постарше, но все-таки главными читателями этой литературы являются младшие подростки.

Следующая характерная черта этого списка — преобладание советской детской литературы. Это особенно заметно, если список продолжить:

Э. Рауд, А. Беляев, С. Смирнов, В. Крапивин, Л. Т. Космодемьянская, В. Губарев, Ю. Дружков, Л. Лагин, М. Гершензон, Р. Стивенсон.

Как видим, в основном это литература советского периода. Изредка назывались произведения зарубежной приключенческой классики — М. Рида, Стивенсона, Купера. И совершенно нет классики — ни русской, ни народов СССР, ни зарубежной. При нашем дефиците книг трудно предположить, что эту литературу библиотеки имеют в достатке.

Конечно, нас несколько удивило, что ни у родителей, ни у библиотекарей нет на устах наших крупнейших современных писателей, которые не пишут для детей специально, но у них есть книги, рассчитанные на подростков. Это Ч. Айтматов, В. Распутин, В. Астафьев, В. Белов, Ф. Абрамов... В чем тут дело?! То ли их книги крайне мало издаются для подростков, то ли мало пропагандируются... А книги эти в традициях русской литературы, но почему-то мало участвуют в духовном воспитании детей...

И еще одна особенность списка. В нем абсолютно отсутствует поэзия. Д. Родари попал в список не как поэт, а как автор сказочных повестей.

Следует отметить, что список, составленный по ответам библиотекарей — это литература, известная не одно десятилетие. Исключение — К. Булычев и А. Линдгрен. Причем, литература не только известная, но и постоянно переиздаваемая. Именно эти книги известны библиотекарю, именно в них он испытывает постоянный дефицит, именно с ними он готов работать. Но он совершенно не готов работать с вновь выходящей литературой, не может прогнозировать современный (и на ближайшее будущее) «репертуар» детского чтения. Библиотекарь постоянно обращен в прошлое.

Этот вывод подтверждает и анализ тематических предложений по изданию литературы, прозвучавших в анкетах.

1. О пионерах-героях.
2. Фантастика, приключения.
3. История родины (о зарубежной истории речи нет совсем).
4. О войне (только о гражданской и Великой Отечественной).
5. *Деловая литература* (воспитание животных, аквариумное содержание рыб и т. д.).
6. Естественнонаучная тематика.
7. Внеклассное чтение и чтение по программе школы.
8. Книги по искусству.

И список из десяти авторов, и список тем отразил то, в чем у библиотекаря есть постоянная потребность при работе.

Обобщая, можно сказать, что библиотекарю необходимо воплощение: 1) героического, 2) фантастического, приключенческого, 3) патриотического. В сущности, это очень верно отражает основанные на психологических особенностях потребности детей девяти — двенадцати лет (за исключением юмористического, которое тоже необходимо детям, но не нашло отражения в списках библиотекарей). По наполнению же материалом перечисленные темы просто ущербны. В списках почти нет классики мировой литературы, совершенно отсутствует мировая история. Это — зеркальное отражение всех недостатков нашей системы воспитания: оторванность от национальной и общемировой культуры, догматизм, идеологизация.

Библиотекарь ощущает себя лицом официальным, обязанным проводить линию, указанную ему сверху, вышестоящими организациями. А так как все указания делаются централизованно, то все библиотеки вынуждены пропагандировать одно и то же. А потому акцент в работе с пропаганды книги переносится на пропаганду темы, направления. В подобной ситуации теряется самоценность книги, не может быть учтена индивидуальность ребенка. Внимание, силы библиотекаря отрываются от изучения детской литературы, поступающей в библиотеку. Такой подход не стимулирует у библиотекаря потребности к повышению квалификации, самообразованию, развитию в себе самом творческих, индивидуальных читательских и критических качеств.

Подобный настрой делает затруднительной работу с детьми старше двенадцати лет. Ведь возраст тринадцать-четырнадцать лет — возраст отрицания, кризисный возраст. Он требует индивидуального подхода. Дети сопротивляются любому давлению, ущемлению самостоятельности, а библиотекарь, выполняя возложенные на него обществом функции, вынужден вступать в противоречие с желаниями подростков. Это приводит к тому, что количество читателей тринадцати-четырнадцати лет в библиотеках значительно сокращается. Именно поэтому список десяти книг, выявленный путем анкетирования библиотекарей, рассчитан на детей десяти — двенадцати лет.

Конечно же, сделанные выводы нельзя целиком отнести ко всем работающим с детской книгой. В ответах библиотекарей названо немало прекрасных детских книг для разных возрастных групп, но они как ручейки в общем потоке.

Итак, если объединить данные двух исследований, проведенных среди родителей и библиотекарей, можно сказать, что семья ориентирована прежде всего на книгу для ребенка от первых лет жизни до начальных классов школы. Библиотекарь в своей деятельности ориентирован на младшего школьника и младшего подростка. Старший подросток, а затем и школьник старших классов выпадают и в том, и в другом звене. Дети этого возраста либо вообще не читают, кроме того, что необходимо в процессе обучения в школе (а ведь этот процесс тесно связан с чтением), либо чтение их не поддается влиянию взрослых. Здесь они предоставлены сами себе.

И второй момент: взрослые (как родители, так и библиотекари) различают в детской литературе, условно говоря, два направления — развлекательная и справочная, деловая литература. То есть преобладающие мотивы обращения к чтению у взрослых (получение информации и развлечение) перенесены на детскую книгу. Это уводит ребенка от овладения культурным опытом народа и человечества. И современные дети растут в этой среде, усваивая лишь ее «культурные» стереотипы.

ПОТОЦКАЯ Лариса Петровна родилась в Курске. Окончила Московский государственный институт культуры. Работала в детских и школьных библиотеках. Автор ряда методических материалов и пособий для детских библиотек. В настоящее время — старший библиотекарь Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

Статья написана на основе широкого анкетирования родителей и библиотекарей, проведенного Государственной библиотекой имени В. И. Ленина и Всесоюзным добровольным обществом любителей книги.

ЭТИ КОЛЮЧИЕ СТИШОЧКИ...

Вряд ли, наверное, найдется такой смельчак, который стал бы всерьез оспаривать факт исключительной живучести эпиграммы. Данный жанр литературы при всей его специфичности, пожалуй, один из самых, если так можно выразиться, жизнестойких! И лет ему немало, и в народе он любим. А вот подвергнуть сомнению его значимость — это, как говорится, пожалуйста. Это сколько угодно. Подтверждение тому — отсутствие, к примеру, в текущих и перспективных планах издательств — а у нас их свыше двухсот и многие выпускают художественную литературу — антологий или сборников советской эпиграммы. Зачем, дескать, нам сегодня какие-то там «колкие стишочки», к тому же, как правило, анонимные, когда страницы нынешних газет и журналов буквально наводнены авторскими материалами, содержащими основной элемент, издревле характеризующий эпиграмму, — злободневный отклик на какое-либо событие, поступок, книгу, фильм и т. д. (Разве что не в стихах!) Ну, что нового, мол, добавит нам эпиграмма в эпоху феерического откровения и небывалой гласности!

А что если дело совсем в другом? Может, просто перевелись среди писателей мастера стихотворных миниатюр «на конкретный случай» — едких, дерзких и непременно с острой, неожиданной развязкой микросюжета? Может, эпиграмма ассоциируется у нас с мрачным периодом сталинщины, когда горькую правду поведывали только шепотом, на ухо друг другу; или с годами застоя, когда в стране во всю бушевала цензура? Оттого наиболее лютые эпиграммы безымянны, оттого и путают порой этот жанр с фольклором, народным творчеством? Но нет, не перевелись! Живуч жанр, живуч! И продолжают ходить в рукописях и передаваться изустно короткие рифмованные шутки, моментальные стихотворные отклики на все, что происходит вокруг. Всякие, надо сказать, бывают отклики — смешные и злобные, справедливые и пристрастные, доброжелательные и неприязненные, радушные и гневные... Словом, всякие. И какими бы они ни были — они представляют собой факт литературы, своеобразную летопись событий и, являясь таковыми, безусловно имеют право на существование. Но, разумеется, часто им необходимы пояснения, поскольку, случается, оценка автором эпиграммы того или иного персонажа, того или иного объекта, подвергаемого сатирической атаке, заведомо искажается, на героев своих этот автор, ничтоже сумняшеся, навешивает разнообразные ярлыки, особенностью жанра заставляя читателей (слушателей) принимать написанное (сказанное) на веру.

Все наверняка уже поняли, что речь идет не просто об эпиграмме, а эпиграмме сатирической. Думается, нет смысла напоминать, когда она возникла и где, кто был ее родоначальником и чем она отличается, скажем, от эпиграммы лирической или бытовой. На то есть литературный энциклопедический словарь. (Отметим лишь, что в России традиция «поэтических острот» идет от лубочной эпиграммы — на царя и высоких сановников. Огромен вклад Александра Сергеевича Пушкина в разработку этого жанра; широко известны его эпиграммы на А. А. Аракчеева, Н. М. Карамзина, Ф. В. Булгарина и многих придворных бар, вельмож и министров. И сколько бы ее ни вытравляли, какие бы гонения на нее ни устраивали, эпиграмма у нас в стране сохранилась, традиции ее живы и по сей день.) Цель же нашей публикации — познакомить читателей с эпиграммами, большинство которых долгое время считались как бы «подцензурными», т. е. не для печати. Никто не знал имен их создателей, распространялись они из уст в уста. А случись вдруг, «обнаружится» автор подобной эпиграммы — могло возникнуть даже персональное дело с самыми «предсказуемыми последствиями».

Вместе с тем редакция пользуется случаем, говоря дипломатическим языком, выразить крайнюю озабоченность наметившейся тенденцией использовать эпиграмму в качестве компромата, своеобразного орудия расправы с инакомыслящими, морального прилюдного «четвертования» противника. Это относится как к самой эпиграмме, так и... Впрочем, все по порядку.

Эпиграмма отнюдь не нуждается в типографском закреплении. Такое «откровение» содержится в предисловии *Е. Г. Эткинда к книге, озаглавленной «323 эпиграммы»*, книге, которую он же и составил.

Мысль о том, что эпиграмма «не нуждается в типографском закреплении», согласитесь, — довольно спорная. По этому поводу ломать копья, наверное, не стоит, поскольку сам Эткинд ее опровергает публикацией сборника. Зачем же, спрашивается, тогда Ефим Григорьевич взялся за книгу, в которую, по его словам, вошли эпиграммы, собранные им или выуженные из «Самиздата» более чем за четверть века? А может, они не нуждаются в «типографском закреплении» из-за того, что слишком злые? Но в «Самиздате» выходили и позлее. Или они грешат непристойностями, эти эпиграммы? Однако кого сейчас непристойностями удивишь? Так что же?!

Побудительный мотив Эткинда становится очевидным, когда читатель его сборника доходит до последнего раздела, где помещены комментарии. Вот тут-то Ефим Григорьевич и позволяет себе порезвиться, здесь-то и начинается «раздача слонов»! Характеристики, которые дают авторы эпиграмм своим героям, — лепет грудного младенца по сравнению с определениями и формулировками самого Эткинда по их адресу. Ярлыки лепятся направо и налево: «антисемит», «вождь черной сотни», «играл зловещую роль», «тяжелый алкоголик», «сталинист», «участник оргий», «бездарь», «душитель», «тупой догматик», «мрачная фигура», «автор мракобесных исторических романов», «тупоголовый» и т. д. и т. п.

Хотя, пожалуй, ярлыки лепятся Ефимом Григорьевичем далеко «не направо и налево». Они лепятся в строго заданном направлении. Объектом его, с позволения сказать, «комментариев» выбраны люди далеко не случайные — Александр Прокофьев, Сергей Михалков, Всеволод Кочетов, Валентин Пикуль, Николай Грибачев, Анатолий Софронов, Лев Никулин, Александр Фадеев, Сергей Смирнов и многие другие, в то время как про остальных говорится «скромно»: «режиссер», «поэт», «прозаик», «автор» (название романа), «главный редактор» (название газеты, журнала), «актер», «живописец»... Ни тебе ярлыков, ни тебе несмываемых тавро. Да, огонь Ефим Григорьевич ведет сугубо прицельный.

Помилуйте, а куда же смотрел редактор? — спросит читатель. Ведь не мог же он оставить комментарии Эткинда в том виде, в котором их сочинил Ефим Григорьевич; он бы, конечно, сразу обратил внимание на то, что первая часть сборника (там, где помещены сами эпиграммы) — безусловно литературный жанр, с которым можно и нужно знакомить читателей, а вторая часть (там, где помещены примечания) относится к жанру, имеющему к литературе очень отдаленное отношение, жанру, имевшему, кстати, широкое хождение в 37-м году.

Дело в том, что Эткинд, покинувший СССР несколько лет назад, подготовил книгу «323 эпиграммы» для французского издательства «Синтаксис», которое выпустило ее в 1988 году. Благодаря усилиям Ефима Григорьевича французы получили прекрасный образчик использования одного жанра — сугубо литературного для проталкивания совсем другого — сугубо политического. Советским же читателям остается только сожалеть, что эпиграммы увидели свет в Париже, а не в Москве, сокрушаться по поводу нерасторопности наших издательств. Получается, что мы сами продолжаем держать эти колючие стишочки в разряде нелегальных, сами навешиваем на них запретительный знак.

И последнее. Знакомя читателей с подборкой эпиграмм, редакция не утверждает, что все они написаны действительно теми, чьи фамилии стоят под ними. Однако в «Самиздате», *среди многочисленных безымянных «колких стихов»* (примеры их мы тоже даем) они ходят именно под указанным авторством. Если оно в каком-то случае и не подтвердится, просим не подавать на редакцию журнала в суд, не держать зла и призываем авторов рассматривать сей факт в качестве народного признания присущего им редкого дара эпиграммиста.

АНДРЕЙ КЛЮЕВ

Диалог

А. В. Луначарскому

Ценя в искусстве рублики,
Нарком наш видит цель:
Дарит лохмотья публике,
А бархат — Розенель.

Д. Бедный

Демьяну Бедному

Демьян, ты мнишь себя уже
Почти советским Беранже.
Ты, правда, «б», ты, правда, «ж»,
Но все же ты не Беранже.

1927 А. Луначарский

О, смертный, если ты здоров,
Не бойся докторов.
А заболев, открой им дверь,
Но осторожно верь.

М. Горький

Я любил тебя, Маланья,
До партийного собранья.
Как начались прения,
Изменилось мнение.

1957 М. Дудин

На Л. Никулина

Он вспоминать не устает
И все, что помнит, издает,
И это все читать должны
«России верные сыны».

На И. Эренбурга

Читатель Ваш то лоб нахмурит,
То брови сумрачно насупит:
Никто не ждал, что после Бури
Внезапно Оттепель наступит.

На Н. Грибачева

Я стихи твои отведал,
Прочитал твои тома,
Вижу, ты не Грибоедов,
Горе здесь не от ума.

О самом себе

Большой живот и малый фаллос —
Вот все, что от меня осталось.

1962 А. Безыменский

На А. Фадеева

Шесть злодеев,
Седьмой — Фадеев.

1938 А. Барто

На К. Симонова

Ему по-прежнему,
Как видно, хочется
Слыть либералом
Среди черносотенцев.

1956 Н. Коржавин

По манию восточного сатрапа
Не стало РАППа.
Не радуйся, презренный раб,
Ведь жив сатрап.

1932 Н. Эрдман

На А. Солженицына

1. Взгляд справа

Задумал он жениться на
Чернявенькой мадам, —
Но разве Солженицына
Мы отдадим жидам?

1971

2. Взгляд слева

Что наша жизнь? Ненужная обуза.
Что наш закон? Один другого съест.
Все будет так — понятно и без вуза,
Нас не спасет и сто двадцатый съезд,
Пока Вожди Советского Союза
На Серп и Молот не поставят
Крест.

1974

3. Диалог с читателем

— Узлы?
— У-у!.. злы!

80-Е ГОДЫ

Эпиграммы из «Самиздата». Некоторые включены и в книжку Е. Г. Эткинда.

На Вс. Кочетова

Жизнь идет, борьба грохочет,
Лезет лирика в строку.
Каждый кочет славы хочет
И кричит ку-ка-ре-ку.

М. Дудин

На С. Михалкова

Индивидуальность

Мне подобных в мире много ль?
Я, во-первых, Михалков,
Во-вторых, бесспорно, Гоголь,
В-третьих, дедушка Крылов.

Не только я, признает всякий,
Тая в груди упрек немой:
Мы на твоем спектакле «Раки»
Шептали: «Я хочу домой».

С. В. Смирнов

На С. Трегуба

Известно, что критики глупы и грубы,
Они однобоки, двулики, трегубы.

А. Безыменский

На В. М. Озерова

Известный критик Озеров
Рожден от двух бульдозеров:
Там, где перо его пройдет,
Там ни былинки не растет.

50-е годы — М. Исаковский

На эмигрантские темы

Все поразъехались давным-давно,
Даже у Эрнста в окне темно.
Лишь Юра Васильев и Боря Мессерер —
вот кто остался еще в Эс Эс Эс Эр.

1980 — Б. Окуджава

На Ю. Завадского

Он звал нас круто повернуться
К советским людям, к их труду...
А сам, мятежный, ставил Прута,
Как будто Прут не есть Сарду.

1932

На В. Катаева, автора мемуарной повести «Алмазный мой венец»

Из десяти венцов терновых
Алмазный свил себе венец
И так явился — гений новый! —
Завистник старый и ...

1978

На Н. Шпанова

Писатель Николай Шпанов
Трофейных обожал штанов
И длинных сочинял романов
Для пополнения карманов.

На М. Шагинян

Шагинян умом богата,
Мыслей у нее не счесть
У нее ума палата,
Но палата номер шесть.

Железная старуха
Марьетта Шагинян —
Искусственное ухо
Рабочих и крестьян.

1973 — М. Дудин

На С. Островогo

Я в России рожден, родила меня мать.

Сергей Островой

Я в России рожден, родила меня мать,
Тетке некогда было в то время рожать.
Бабка тоже, как нáзло, в отлучке была.
В силу этих причин меня мать родила.

Н. Сидоренко

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

невыбитая память



БОЛЬ ОТЕЧЕСТВА Я СЛЫШУ...

П Р И М Е Ч А Н И Е

22 сентября 1967 г. состоялось заседание Секретариата Союза писателей СССР. На нем присутствовало 30 секретарей СП СССР, от Отдела культуры ЦК КПСС — Мелентьев Ю. С. Председательствовал К. А. Федин. Заседание по разбору писем писателя А. И. Солженицына началось в 13.00, закончилось после 18.00. Стенограмма выступлений приводится в изложении. Письма, в которых идет речь, опубликованы в журнале «Слово» № 8, 1989 г. /стр. [illegible]1/.

О Т Р Е Д А К Ц И И

ФЕДИН. — Второе письмо Солженицына меня покоробило. Мотивировки его, что дело остановилось, мне кажутся зыбкими. Мне показалось это оскорблением нашего коллектива. Три с половиной месяца — совсем небольшой срок для рассмотрения его рукописей. Мне здесь услышалась своего рода угроза. Такая мотивировка показалась обидной! Второе письмо Солженицына как бы заставляет нас силком браться за рукописи, скорее их издавать. Вторым письмом продолжается линия первого, но там более обстоятельно и взволнованю говорилось о судьбе писателя, а здесь мне показалось обидным. В сложном вопросе о печатании вещей Солженицына что происходит? Его таланта никто из нас не отрицает. Перекашивает его тон в непозволительную сторону. Читая письмо, ощущаешь его как оплеуху — мы будто негодники, а не представители творческой интеллигенции. В конце концов своими требованиями он сам тормозит рассмотрение вопроса. Не нашел я в его письмах темы писательского товарищества. Хотим мы или не хотим, мы должны будем сегодня говорить и о произведениях Солженицына, но мне кажется, что надо говорить в общем по письмам.

СОЛЖЕНИЦЫН просит разрешения сказать несколько слов о предмете обсуждения. Читает письменное заявление:

«Мне стало известно, что для суждения о повести «Раковый корпус» секретарям Правления предложено было читать пьесу «Пир победителей», от которой я давно отказался сам, лет десять даже не перечитывал, уничтожил все экземпляры, кроме захваченного, а теперь размноженного. Я уже не раз объяснял, что пьеса эта написа-

на не членом Союза писателей Солженицыным, а бесфамильным арестантом Щ-232 в те далекие годы, когда арестованным по политической статье не было возврата на свободу, и никто из общественности, в том числе и писательской, ни словом ни делом не выступил против репрессий даже целых народов. Я так же мало отвечаю сейчас за эту пьесу, как и многие литераторы не захотели бы повторить сейчас иных речей и книг, написанных в 1949 году. На этой пьесе отпечаталась безвыходность лагеря тех лет, где сознание определялось бытием и отнюдь не возносилось молитв за гонителей. Пьеса эта не имеет никакого отношения к моему сегодняшнему творчеству, и разбор ее есть нарочитое отвлечение от делового обсуждения повести «Раковый корпус».

Кроме того, недостойно писательской этики — обсуждать произведение, вырванное из частной квартиры *таким* способом.

Разбор же моего романа «В круге первом» есть вопрос отдельный, и им нельзя подменять разбора повести «Раковый корпус».

КОРНЕЙЧУК. — У меня вопрос к Солженицыну. Как он относится к той разнузданной буржуазной пропаганде, которая была поднята вокруг его письма? Почему он от нее не отмежуется? Почему спокойно терпит? Почему его письмо западное радио начало передавать еще до съезда?

ФЕДИН предлагает Солженицыну ответить.

СОЛЖЕНИЦЫН указывает, что он — не школьник вскакивать на каждый вопрос, у него будет выступление, как и у других.

ФЕДИН говорит, что можно собрать несколько вопросов и ответить на все вместе.

БАРУЗДИН. — Хотя Солженицын возражает против обсуждения пьесы «Пир победителей», но нам волей-неволей приходится говорить об этой пьесе. Вопрос: какова была необходимость Солженицыну вообще называть эту пьесу съезду, упоминать ее?

САЛЫНСКИЙ. — Я прошу, чтобы Солженицын рассказал, кто, когда и при каких обстоятельствах изъял эти материалы? Просил ли автор о возвращении их? Кого просил?

ФЕДИН предлагает Солженицыну ответить на собравшиеся вопросы.

СОЛЖЕНИЦЫН повторяет, что ответит на вопросы при выступлении.

ФЕДИН, поддержанный другими. — Но Секретариат не может приступить к обсуждению, не имея ответа на эти вопросы.

РОПОТ ГОЛОСОВ. — Солженицын может вообще отказаться разговаривать с Секретариатом, пусть об этом заявит.

СОЛЖЕНИЦЫН. — Хорошо, я отвечу на эти вопросы. Это неверно, что письмо стали передавать по западному радио д о съезда: его стали передавать уже п о с л е закрытия съезда; и то не сразу. (Далее буквально.) «Здесь употребляют слово «заграница» и с большим значением, с большой выразительностью, как какую-то важную инстанцию, чьим мнением очень дорожат. Может быть, это и понятно тем, кто много творческого времени проводит в заграничных поездках и наводняет нашу литературу летучими заметками о загранице. Но мне это не страшно. Я никакой заграницы не видел, не знаю, и жизненного времени у меня нет — узнавать ее. Я не понимаю, как можно так чувствительно считаться с заграницей, а не со своей страной, с ее живым общественным мнением. Под моими подошвами всю мою жизнь — земля Отечества, только ее боль я слышу, только о ней пишу».

Почему пьеса «Пир победителей» была упомянута в письме съезду, это ясно из самого письма: чтобы протестовать против незаконного «издания» и распространения этой пьесы вопреки воле автора и без его ведома. Теперь относительно изъятия моего романа и архива. Да, я несколько раз, начиная с 1965 года, писал в ЦК по этому поводу, протестовал. (Далее буквально.) «Но за последнее время изобретена новая версия об изъятии моего архива. Будто бы тот человек, Теуш, у которого хранились мои рукописи, был связан с другим еще человеком, которого не называют, а того задержали на таможне, неизвестно какой, и что-то нашли (не называют что), не мое нашли, но решили меня оберечь от такого знакомства. Все это — ложь. У знакомого моего Теуша два года назад было следствие, но такого обвинения ему даже не выставлялось. Хранение мое было обнаружено обыкновенной уличной слежкой, подслушиванием телефонных разговоров и подслушиванием в комнате. Но вот примечательно: едва появилась новая версия — она единым толчком обнаруживается в разных местах страны. Лектор Потемкин только что изложил ее многолюдному собранию в Риге, один из секретарей СП — московским писателям. Причем от себя он добавил и свое измышление: что все это я будто бы признал на прошлой встрече в Секретариате. А об этом у нас и разговора не было. Не сомневаюсь, что скоро начну со всех концов страны получать письма о распространении этой версии».

ВОПРОС. — Отвергнута ли редакцией «Нового мира» повесть «Раковый корпус» или принята?

АБДУМОМУНОВ. — Какое разрешение требуется «Новому миру» на печатание повести и от кого?

ТВАРДОВСКИЙ. — Вообще решение печатать или не печатать ту или иную вещь — в компетенции редакции. Но в данной ситуации, сложившейся вокруг имени автора, решать должен Секретариат Союза.

ВОРОНКОВ. — Солженицын ни одного раза не обращался непосредственно в Секретариат Союза писателей СССР. После письма Солженицына съезду у товарищей из Секретариата было желание встретиться, ответить на вопросы — поговорить и помочь. Но после того, как письмо появилось в грязной буржуазной прессе, а Солженицын никак не реагирует...

ТВАРДОВСКИЙ. — Ну, точно, как Союз писателей!

ВОРОНКОВ. — ...это желание отпало. А тут вот появилось 2-е письмо. Оно ультимативно, оскорбительно, недостойно нашей писательской общественности. Сейчас Солженицын упомянул об «одном секретаре», дававшем информацию партийному собранию московских писателей. Секретарь этот — я. Вам поспешили передать, но плохо передали. Об изъятии ваших вещей я только то сказал на последнем собрании, что вы признали, что отобранные вещи — ваши, и что обыска у вас дома не было. После вашего письма съезду мы естественно сами запросили — почитать все ваши произведения. Но нельзя так грубо обращаться с вашими товарищами по труду и по перу! А вы, Александр Трифонович, если считаете нужным печатать эту повесть и если автор примет ваши исправления, — так и печатайте сами, при чем тут Секретариат?

ТВАРДОВСКИЙ. — А с Беком как было? И Секретариат занимался, и рекомендовали — и все равно не напечатали.

ВОРОНКОВ. — Но меня сейчас больше всего интересует гражданское лицо Солженицына: почему он не реагирует на гнусную буржуазную пропаганду? И почему так обращается с нами?

МУСРЕПОВ. — И у меня вопрос: как это он пишет в письме — более высоко стоящие товарищи выражают сожаление, что я не умер в лагере? Какое право он имеет так писать?

ШАРИПОВ. — И по каким каналам письмо могло попасть на Запад?

ФЕДИН предлагает Солженицыну ответить на заданные вопросы.

СОЛЖЕНИЦЫН. — Да то ли еще обо мне говорили? Лицо, занимающее очень высокое положение и сегодня, заявило публично, что сожалеет: не он был в составе той тройки, которая выносила мне приговор в 1945 году, он бы тогда же приговорил меня к расстрелу!.. Здесь мое второе письмо истолковывают как ультиматум: или печатайте повесть, или ее на Западе напечатают. Но этот ультиматум не я ставлю Секретариату, а вам и мне вместе ультиматум этот ставит жизнь. Я пишу, что меня беспокоит распространение повести в сотнях — эта цифра на глазок, я ее не подсчитывал, — в сотнях машинописных экземпляров.

ГОЛОС. — Как это получилось?

СОЛЖЕНИЦЫН. — А вот такое странное свойство обнаружилось у моих вещей: их настойчиво просят почитать, а взяв почитать — за счет своего досуга или своих средств перепечатывают и дают читать дальше. Первую

часть повести еще год назад перечитывала московская секция прозы, удивляюсь, почему тут т. Воронков сказал — не знали, где достать, запрашивали в КГБ. Года три назад такое же быстрое распространение получили «крохотные рассказы» или стихотворения в прозе: едва я их стал давать людям читать, как они быстро разлетелись по разным городам Союза. А потом в редакцию «Нового мира» пришло письмо с Запада, из которого мы узнали, что эти крохотные рассказики *и там уже напечатаны. Вот* чтобы такая утечка не успела произойти с «Раковым корпусом», я и написал свое настоятельное письмо Секретариату. *Я не меньше могу удивляться, как мог* Секретариат нисколько не реагировать на мое письмо съезду — еще *прежде* Запада? И не реагировать на всю ту клевету, которой меня окружили? Т. Воронков употребил здесь замечательное выражение «братья по перу и по труду». Так вот эти братья по перу и по труду уже два с половиной года спокойно взирают на то, как меня притесняют, преследуют, клевещут на меня.

ТВАРДОВСКИЙ. — Не все безучастны.

СОЛЖЕНИЦЫН. — ...А редакторы газет, тоже братья, не помещают моих опровержений. (Далее буквально.) «Я уже не говорю, что моей книги не дают читать в лагерях: ее не пропускали в лагеря, изымали обысками и сажали за нее в карцер даже в те месяцы, когда все газеты трубно хвалили «Один день Ивана Денисовича» и обещали, что «это не повторится». Но за последнее время книгу стали тайно изымать и из вольных библиотек. О запрете выдавать ее мне пишут из разных мест, велено отвечать читателям, что книга в переплете, или на руках, или доступа нет к тем полкам и уклоняться от выдачи. Вот свежее письмо из Красногвардейского района Крыма:

«В районной библиотеке мне по секрету (я — активист этой библиотеки) сказали, что ваши книги велено изъять. Одна из сотрудниц хотела подарить мне на память ненужный им теперь «Один день» в журнале-газете, другая тут же остановила свою опрометчивую подругу: «Что вы, что вы, нельзя! Раз книгу отобрали в особый отдел, то опасно ее кому-нибудь дарить».

Не скажу, что книга изъята из *всех* библиотек, кое-где еще есть. Но приезжающие ко мне в Рязань посетители не могли достать моей книги в рязанской областной читальне: им отнекивались разными способами, да так и не дали.

Давно известно, что клевета неистощима, изобретательна, быстра в росте. Но когда столкнешься с клеветою сам, да еще с невиданной новой формой ее — клеветою с трибуны, то диву даешься. Беспрепятственно провернулся круг лжи о том, что я был в плену и сотрудничал с немцами. *Но этого уже кажется мало! Этим летом в сети политпросвещения*, например, в Болшево, агитаторам было продиктовано, что я бежал в Арабскую республику и сменил подданство. Ведь это же все записывается в блокноты и разносится дальше с коэффицентом сто. И это рядом со столицей! Есть и другой вариант. В Соликамске п/я 389 майор Шестаков объявил, что я бежал по туристской путевке в Англию. Говорит заместитель по политчасти — кто же смеет не верить? Другой раз он же объявил: Солженицыну официально *запрещено писать*! Ну, тут он хоть близок к истине.

Еще так обо мне заявляют с трибун: «его освободили досрочно, а зря». Зря или не зря освободили, это мы можем видеть из судебного решения Военной Коллегии Верховного Суда по реабилитации, оно предложено Секретариату...

ТВАРДОВСКИЙ. — И там боевая характеристика офицера Солженицына.

СОЛЖЕНИЦЫН. — А вот *досрочно* — это очень смачно употреблено! Сверх 8-летнего приговора я просидел месяц в пересыльных тюрьмах, да такую мелочь у нас и упоминать стыдно, затем без приговора получил в е ч н у ю ссылку, с этой в е ч н о й обреченностью просидел три года в ссылке, только благодаря XX съезду освобожден — и это называется *досрочно*! Как это словечко выражает удобное мировоззрение 1949—53 годов: если не умер у лагерной помойки, если хоть на коленях из лагеря выполз — значит освобожден *досрочно*. Ведь срок — вечность, и что раньше — то все досрочно.

Бывший министр Семичастный, любивший выступать по вопросам литературы, не раз уделял внимание и мне. Одно из его удивительных, уже комических обвинений было такое: «Солженицын *материально* поддерживает капиталистический мир тем, что не берет гонорара» какого-то за вышедшую где-то книгу, очевидно «Ивана Денисовича», другой нет. Так если вы знаете, где-то прочли, и очень надо, чтоб эти деньги я у капитализма вырвал — почему же меня не известят? Я-то в Рязани не знаю. «Международная Книга», Иностранная Комиссия СП — сообщите: вот, мол, твой патриотический долг забрать *эти деньги*. Ведь это уже *комедийная путаница*: кто берет гонорары с Запада — тот продался капиталистам, кто не берет — тот их материально поддерживает. А третий выход? — На небо лети. Семичастный уже не министр, но идея его не угасла: лекторы всесоюзного общества по распространению научных знаний понесли ее дальше. Например, ее повторил 16 июля этого года лектор А. А. Фрейфельд в Свердловском цирке. Сидели две тысячи человек и только удивлялись: какой же ловкач этот Солженицын! — умудрился, не выходя из Советского Союза, не имея в кармане вообще ни копейки, материально укрепить мировой капитализм! (Действительно, история для цирка).

Вот такую чушь обо мне беспрепятственно рассказывает всяк, кому не лень.

12 июня здесь, в Секретариате, у нас было собеседование — тихое, мирное. Вышли отсюда, прошло короткое время — и вдруг слухи по всей Москве, все рассказывается не так, как было, все вывернуто, начиная с того, что будто бы Твардовский здесь кричал и стучал на меня кулаком по столу. Но ведь те, кто были, знают, что ничего подобного не было, зачем же лгать? Вот и сейчас мы однозначно слышим, что тут говорится, но где гарантия, что и после сегодняшнего Секретариата опять все не вывернут наизнанку? И если уж «братья по перу и по труду», так первая просьба: давайте, рассказывая о сегодняшнем Секретариате, ничего не придумывать и не выворачивать.

Я — один, клевещут обо мне — сотни. Я, конечно, не успею никогда оборониться и вперед не знаю — от чего. Еще меня могут объявить и сторонником геоцентрической системы и что я первый поджигал костер Джордано Бруно, не удивлюсь».

САЛЫНСКИЙ. — Я буду говорить о «Раковом корпусе». Я считаю, что эту вещь необходимо печатать — это яркая и сильная вещь. Правда, там патологически пишется о болезнях, читатель невольно поддается раковой боязни, и без того распространенной в нашем веке. Это надо как-то убрать. Еще надо убрать фельетонную хлесткость. Еще огорчает, что почти все судьбы персонажей в той или иной форме связаны с лагерем или лагерной жизнью. Ну, пусть Костоглотов, пусть Русанов, — но зачем обязательно и Вадиму? и Шулубину? и даже солдату? В самом конце мы узнаем, что он — не просто солдат из армии, а из лагерной охраны. Общее направление романа в том, что он говорит о конце тяжелого прошлого. Теперь о нравственном социализме. По-моему, здесь ничего страшного. Если бы Солженицын проповедовал БЕЗнравственный социализм или национальный социализм по-китайски — это было бы ужасно. Каждый человек волен думать по-своему о социализме и его развитии. Сам я думаю — социализм определяется экономическими законами. Но спорить — можно, зачем же не печатать повести? (Далее призывает Секретариат решительно выступить с опровержением клеветы против Солженицына.)

СИМОНОВ. — Роман «В круге первом» я не приемлю и против его печатания. А «Раковый корпус» — я за публикацию. Мне не все нравится в этой повести, но не обязательно, чтобы всем нравилось. Может быть, что-то из делаемых замечаний автору надо и признать. А все принять, конечно, невозможно. Мы обязаны опровергнуть и клевету относительно него. И книгу его рассказов надо выпустить — и вот там-то, в предисловии будет хороший повод рассказать его биографию. И так клевета отпадет сама собой. Покончить с ложными обвинениями должны и можем мы — а не он сам. «Пира победителей» я не читал, и у меня нет желания его читать, раз автор этого не хочет.

ТВАРДОВСКИЙ. — Солженицын находится в таких условиях, что ему с выступлением и соваться нельзя. Это именно мы, Союз, должны дать заявление, опровергающее клевету. Одновременно мы должны строго предупредить Солженицына за недопустимую, непринятую форму его обращения к съезду, во столько адресов. Редакция «Нового мира» не видит никаких причин не печатать «Ракового корпуса», конечно, с известными доработками. Мы хотели только получить одобрение Секретариата или хотя бы — что Секретариат не возражает. (Просит Воронкова достать уже прежде подготовленный, еще в июне, проект коммюнике Секретариата.)

ВОРОНКОВ не спешит достать коммюнике. Тем временем:

ГОЛОСА. — Да ведь еще не решили! Есть и против!

ФЕДИН. — Нет, это неверно, Секретариат не должен ничего печатать и опровергать. Неужели мы в чем-то виновны? Неужели вы, Александр Трифонович, считаете себя виновным?

ТВАРДОВСКИЙ (быстро, выразительно). — Я?? — Нет.

ФЕДИН. — Не нужно искать искусственного повода для выступления. Какие-то слухи — недостаточный повод. Другое дело, если Солженицын *сам* найдет повод развязать возникшую ситуацию. Тут должно быть публичное выступление самого Солженицына. Но вы подумайте, Александр Исаевич, в интересах ч е г о мы станем печатать ваши протесты? Вы должны прежде всего протестовать против грязного использования вашего имени нашими врагами на Западе. При этом, конечно, вы сумеете найти возможность высказать вслух и какую-то часть ваших сегодняшних жалоб, сказанных здесь. Если это будет удачный и тактичный документ — вот мы его и напечатаем, поможем вам. Именно с этого должно начаться ваше оправдание, а не с ваших произведений, не с этой торговли — сколько месяцев мы имеем право рассматривать вашу рукопить — три месяца? четыре? Разве это страшно? Вот страшное событие: ваше имя фигурирует и используется там, на Западе, в самых грязных целях. (Одобрение среди членов Секретариата.)

КОРНЕЙЧУК. — Мы вас пригласили не для того, чтобы бросать в вас камни. Мы позвали вас, чтобы помочь вам выйти из этого тяжелого и двусмысленного положения. Вам задавали вопросы, но вы ушли от ответа. Отдаете ли вы себе отчет: идет колоссальная мировая битва и в очень сложных условиях. Мы не можем быть в стороне. Своим творчеством мы защищаем свое правительство, свою партию, свой народ. Вы тут иронически высказались о заграничных поездках как о приятных прогулках, а мы ездим за границу вести борьбу. Мы возвращаемся оттуда измотанные, изнуренные, но с сознанием исполненного долга. Не подумайте, что я обиделся на замечание о путевых заметках, я их не пишу, я езжу по делам Всемирного Совета Мира. Мы знаем, что вы много перенесли, но не вы один. Было много других людей в лагерях, кроме вас. Старых коммунистов. Они из лагеря — и шли на фронт. В нашем прошлом было не только беззаконие, был подвиг. Но вы этого не увидели. Ваши выступления — только прокурорские. «Пир победителей» — это злобно, грязно, оскорбительно! И эта гадкая вещь распространяется, народ ее читает! Вы сидели когда там? Не в 37-м году! А в 37-м нам приходилось переживать!! — но ничего не остановило нас! Правильно сказал вам Константин Александрович: вы должны выступить публично и ударить по западной пропаганде. Идите в бой против врагов нашей страны! Вы понимаете, что в мире существует термоядерное оружие и, несмотря на все наши мирные усилия, Соединенные Штаты могут его применить. Как же нам, советским писателям, не быть солдатами?

СОЛЖЕНИЦЫН. — Я повторно заявляю, что обсуждение «Пира победителей» является недобросовестным, и настаиваю, чтобы он был исключен из рассмотрения!

СУРКОВ. — На чужой роток не накинешь платок.

КОЖЕВНИКОВ. — Большой промежуток времени от письма Солженицына до сегодняшнего обсуждения свидетельствует как раз о с е р ь е з н о с т и отношения Секретариата к письму. Если бы мы обсуждали его тогда, по горячим следам, мы бы отнеслись острей и менее продуманно. Мы решили сами убедиться, что это за антисоветские рукописи. И потратили много времени на их чтение. По-видимому, документально доказана военная служба Солженицына, но мы обсуждаем сейчас не офицера, а писателя. Я сегодня впервые услышал, что Солженицын отказывается от пасквильного изображения советской действительности в «Пире победителей», но я не могу отказаться от своего первоначального впечатления от этой пьесы. Для меня момент отказа Солженицына от «Пира победителей» еще не совпал с моим восприятием этой пьесы. Может быть, потому, что и в «В круге первом», и в «Раковом корпусе» есть ощущение той же мести за пережитое. И если стоит вопрос о судьбе этих произведений, то автор должен помнить, что он обязан тому органу, который его открыл. Я когда-то первый выступил с опасениями по поводу «Матрениного двора». Мы тратили время, читали ваши сырые рукописи, которые вы не решались даже дать ни в какую редакцию. «Раковый корпус» вызывает отвращение от обилия натурализма, от нагнетения всевозможных ужасов, но все-таки главный план его — не медицинский, а социальный, и он-то неприемлем. И как будто сюда же относится и название вещи. Своим вторым письмом вы вымогаете публикацию своей недоработанной повести. Достойно ли такое вымогательство писателя? Да все у нас писатели охотно прислушиваются ко мнению редакторов и не торопят их.

СОЛЖЕНИЦЫН (буквально). — «Несмотря на мои объяснения и возражения, несмотря на полную бессмыслицу обсуждать произведение, написанное 20 лет назад, в другую эпоху, в несравнимой обстановке и другим человеком, к тому же никогда не опубликованное, никем не читанное и выкраденное из ящика, — часть ораторов сосредоточивается именно на этом произведении. Это гораздо бессмысленнее, чем например, на I съезде писателей поносить бы Максима Горького за «Несвоевременные мысли» или Сергеева-Ценского за осваговские корреспонденции, которые ведь *были* опубликованы, и лишь за 15 лет до того. Здесь сказал Корнейчук, что «такого не было и не будет», и «в истории русской литературы такого не было». Вот именно!

ОЗЕРОВ. — Письмо съезду оказалось политически страшным актом. Оно прежде всего пошло к врагам. В письме были вещи неправильные. В той же куче с несправедливо репрессированными писателями оказался и Замятин. По поводу печатания «Ракового корпуса» можно условиться с «Новым миром»: вещь может идти при условии исправления рукописи и дискуссии по проведении исправления. Тут предстоит еще очень серьезная работа. Повесть разнослойна по качеству, есть в ней и удачи, и неудачи. Особенно приходится возражать против плакатности, карикатурности. Я просил бы о целом ряде купюр по повести, о которых сейчас здесь просто нет времени говорить. Философия нравственного социализма не просто принадлежит герою, она звучит как отстаиваемая автором. Это недопустимо.

СУРКОВ. — Я тоже читал «Пир победителей». Ее настроение: «да будьте вы все прокляты!» И в «Раковом корпусе» продолжает звучать то же. Кто изо всех персонажей вошел в мир героя? Только этот странный Шулубин, с его бесконечно устарелыми взглядами. Не буду скрывать, я человек начитанный. Все эти экономические и социальные теории я хорошо знаю, нюхал я и Михайловского, и Владимира Соловьева, и это наивное представление, что экономика может зависеть от нравственности. Претерпев столько, вы имели право обидеться как человек, но вы же писатель! Знакомые мне коммунисты имели, как вы выражетесь, в ы ш к у, но это нисколько не повлияло на их мировоззрение. Нет, повесть эта — не физиологическая, это — политическая повесть, и упирается все в вопросы концепции. И потом этот идол на театральной площади — хотя памятник Марксу еще не был тогда поставлен. Если ваш «Раковый корпус» будет напечатан, эта вещь может быть поднята против нас и будет посильнее мемуаров Светланы. Да, конечно, надо было бы упредить появление повести на Западе, но — трудно. Вот я сам был последнее время близок к Анне Андреевне Ахматовой, знаю: дала она нескольким человекам почитать

«Реквием», походил он несколько недель — и сразу напечатан на Западе. Конечно, наш читатель уже настолько развит и настолько искушен, что его никакая книжка не уведет от коммунизма, а все-таки произведения Солженицына для нас опасней Пастернака. Пастернак был человек, оторванный от жизни, а Солженицын — с живым, боевым, идейным темпераментом, это — идейный человек. Мы — первая революция в истории человечества, не сменившая ни лозунгов, ни знамен! «Нравственный социализм» — это довольно обывательский социализм, старый, примитивный и (в сторону Салынского) не знаю, как можно в этом не разобраться, что-то тут найти.

САЛЫНСКИЙ. — Да я его не защищаю вовсе.

РЮРИКОВ. — Солженицын пострадал от тех, кто его заклеветал, но он пострадал и от тех, кто его чрезмерно захваливает и приписал ему качества, которых у него нет. Солженицыну если отказываться, то и от — «продолжателя русского реализма». Поведение маршала Рокоссовского, генерала Горбатова — честнее, чем ваших героев. Источник энергии этого писателя — в озлоблении, в обидах. По-человечески можно это понять. Однако вы пишете, что ваши вещи запрещают? Да цензура не прикоснулась ни к одному из ваших романов! Удивляюсь, почему Твардовский испрашивает разрешения у нас. Вот я же, например, никогда не просил у Союза писателей разрешения — печатать или не печатать. (Просит Солженицына отнестись с доверием к рекомендациям «Нового мира» и обещает от «любого из присутствующих» постраничные замечания по «Раковому корпусу».)

БАРУЗДИН. — Я как раз принадлежу к тем, кто и с самого начала не разделял восхищения произведениями Солженицына. Уже «Матренин двор» намного слабее первой его вещи. А в «Круге первом» очень много слабого, так убого наивно и примитивно показаны Сталин, Абакумов и Поскребышев. «Раковый корпус» же — антигуманистическая вещь. Конец повести подводит к тому, что «по другому надо было идти пути». Неужели Солженицын мог рассчитывать, что его письмо «вместо выступления» так-таки сразу и прочтут на съезде? Сколько съезд получил писем?

ВОРОНКОВ. — Около пятисот.

БАРУЗДИН. — Ну! И разве можно было в них быстро разобраться? (Не согласен с Рюриковым: это правильно, что вопрос о разрешении поставлен на Секретариате. Наш Секретариат должен чаще превращаться в творческий орган и охотно давать советы редакторам.)

АБДУМОМУНОВ. — Это очень хорошо, что Солженицын нашел мужество отказаться от «Пира победителей». Найдет он мужество подумать, как выполнить предложение К. А. Если мы выпустим в свет «Раковый корпус» — еще будет больше шума и вреда, чем от его первого письма. И что значит — «насыпал табаку в глаза макакерезус — просто так»? Как это просто так? Это — против всего нашего строя высказывание. В повести есть Русановы, есть великомученики от лагеря — и только. А где же советское общество? Нельзя так сгущать краски, нельзя подавать повесть так беспросветно. Много длиннот, повторов, натуралистических сцен — все это надо убрать.

АБАШИДЗЕ.— Успел прочесть только 150 страниц «Ракового корпуса», поэтому глубокого суждения иметь не могу. Но не создалось такого впечатления, чтоб этот роман нельзя было печатать. Но, повторяю, глубокого суждения иметь не могу. Может, самое главное там дальше. Мы все, честные и талантливые писатели, всегда боролись против лакировщиков, даже когда нам это запрещали. Но у Солженицына есть опасность впасть в другую крайность: у него места чисто очеркового разоблачительного характера. Художник — как ребенок, он разбирает машину, чтобы посмотреть, что внутри. Но истинное искусство начинается со сборки. Я замечаю, как он спрашивает у соседа фамилию каждого оратора. Почему он нас никого не знает? Потому что мы его никогда не приглашали. Правильно предложил К. А., пусть сам Солженицын ответит на клевету, может быть, сперва по внутреннему употреблению.

БРОВКА. — В Белоруссии много людей, тоже сидевших, — например, Сергей Граховской, тоже отсидел 20 лет. Но они поняли, что не народ, не партия, не Советская власть виновны в беззакониях. Записки Светланы Сталиной — это бабья болтовня, народ уже раскусил и смеется. А тут перед нами — общепризнанный талант, вот в чем опасность публикации. Да, вы чувствуете боль своей земли, и даже чрезмерно. Но вы не чувствуете ее радости. «Раковый корпус» — слишком мрачно, печатать нельзя. (Как и все предыдущие и последующие ораторы, поддерживает предложение К. А. Федина: Солженицын должен выступить в печати против западной клеветы по поводу его письма.)

ЯШЕН. — (Ругает «Пир победителей».) Автор — не измученный несправедливостью, а отравлен ненавистью. Люди возмущаются, что есть в рядах Союза писателей такой писатель. Я хотел предложить его исключить из Союза. Не он один пострадал, но другие понимают трагедию времени лучше. Вот, например, молодой Икрамов. В «Раковом корпусе» — конечно, рука мастера. Автор знает предмет лучше любого врача и профессора. Но вот за блокаду Ленинграда он обвиняет кроме Гитлера «еще других». Кого это? — непонятно. Берию? Или сегодняшних замечательных руководителей? Надо же ясно сказать. (Все же оратор поддерживает мужественное решение Твардовского поработать над этой повестью с автором. И после этого можно будет дать посмотреть узкому кругу.)

КЕРБАБАЕВ. — Читал «Раковый корпус» с большим неудовольствием. Все — бывшие заключенные, все мрачно, ни одного теплого слова. Просто тошнит, когда читаешь. Вера предлагает герою свой дом и свои объятия, а он отказывается от жизни. Потом это «девяносто девять плачут, один смеется» — это как понять? это — про Советский Союз? Я согласен с тем, как говорил мой друг Корнейчук. Почему автор видит только черное? А почему я не пишу черное? Я всегда стараюсь писать только о радостном. Это мало, что он от «Пира победителей» отказался. Я считал бы мужеством, если б он отказался от «Ракового корпуса» — вот тогда я б обнял его как брата.

ШАРИПОВ. — А я б ему скидку не дал, я б его из Союза исключил! В пьесе у него все советское представлено отрицательно, и даже Суворов. Совершенно согласен: пусть откажется от «Ракового корпуса». Наша республика освоила целинные и залежные земли и идет от успеха к успеху.

НОВИЧЕНКО. — Письмо съезду разослано с недопустимым обращением через голову формального адресата. Присоединяюсь к строгим словам Твардовского, что мы эту форму должны решительно осудить. Не согласен с главными требованиями письма: нельзя допускать все печатать. Это что ж тогда — и «Пир победителей» печатать? По поводу «Ракового корпуса». Сложное испытываю отношение. Я — не ребенок, мне тоже придется умирать и, может быть, в таких же мучениях, как герои Солженицына. И здесь-то важнее всего: какова твоя совесть? каковы твои моральные резервы? И если бы роман ограничился этим, я бы считал нужным печатать. Но — низкопробное вмешательство в нашу литературную жизнь — карикатурная сцена с дочкой Русанова. Идейно-политический смысл нравственного социализма — это отрицание марксизма-ленинизма. Потом эти слова Пушкина — «Во всех стихиях человек Тиран, предатель или узник» — это оскорбительная теория... Все эти вещи категорически неприемлемы ни для нас, ни для нашего общества и народа. Судьями общества в повести взяты все пострадавшие, это оскорбительно. Русанов — отвратный тип, правдиво изображен. Но недопустимо, что он становится из типа — носителем и выразителем всего нашего официального общества. Коробит частое употребление имени Горького в этих подлейших и грязнейших русановских устах. Даже если роман будет доведен до определенной кондиции — он не станет романом соцреализма. Но будет явлением, талантливым произведением. Прочел я и «Пир победителей» — и что-то по-человечески надломилось по отношению к автору. Надо преодолеть всяческие корешки, ведущие от этой пьесы.

МАРКОВ. — Состоялось ценное обсуждение. (Оратор только что приехал из Сибири, 5 раз выступал перед массовой аудиторией.) Надо сказать, никакого особенного ажиотажа вокруг имени этого автора нигде нет. Толь-

ко в одном месте подали записку — я прошу извинения, но именно так было написано: «А когда этот Солженицын перестанет поносить советскую литературу?» Мы ждем от Солженицына совершенно четкого ответа на буржуазную клевету, ждем выступления в печати. Он должен защитить свою честь как советского писателя. Заявлением о «Пире победителей» он снял с моей души камень. «Раковый корпус» я оцениваю, как и Сурков. Вещь стоит все-таки в каком-то практическом плане. Совершенно не приемлю в ней всех общественно-политических заходов. «Кто-то сделал» — безвестные адреса. При установившемся добром сотрудничестве между «Новым миром» и Александром Исаевичем эта повесть может быть дописана, хотя и потребуется очень серьезная работа. А сегодня пускать в набор, конечно, нельзя. Что же дальше? Конструктивно: А. И. готовит такое выступление в печати, о котором тут все говорили, очень хорошо будет как раз в преддверии праздника — а уж потом возможно будет какое-то коммюнике со стороны Секретариата. Все же я продолжаю считать его не нашим товарищем. Но в сложной ситуации мы, А. И., оказались по *вашей* вине, а не по чьей другой. Предложения об исключении из Союза? — при тех началах товарищества, которые должны сложиться, мы не должны торопиться.

СОЛЖЕНИЦЫН. — Уже несколько раз я выступал сегодня против обсуждения «Пира победителей», но приходится опять о том же. В конце концов я могу упрекнуть вас всех в том, что вы — не сторонники теории развития, если серьезно предполагаете, что за двадцать лет и при полной смене всех обстоятельств человек не меняется. Но тут я услышал и более серьезную вещь: Корнейчук, Баруздин и еще кто-то высказались так, что народ читает «Пир победителей», будто эта пьеса распространяется. Я сейчас буду говорить очень медленно, пусть каждое слово мое будет записано точно. Если «Пир победителей» пойдет широко по рукам или будет напечатан, я торжественно заявляю, что вся ответственность за это ляжет на ту организацию, которая использовала единственный сохранившийся, никем не читанный экземпляр этой пьесы для «издания» при моей жизни и против моей воли: это она распространяет пьесу! Я полтора года непрерывно предупреждал, что это очень опасно! Я предполагаю, что у вас там не читальный зал, а пьесу дают на руки, ее возят домой, а там есть сыновья и дочери, и не все ящики запираются на замок — я предупреждал! и сейчас предупреждаю!

Теперь о «Раковом корпусе». Упрекают уже за название, говорят, что рак и раковый корпус — не медицинский предмет, а некий символ. Отвечу: подручный же символ, если добыть его можно, лишь пройдя самому через рак и умирание. Слишком густой замес — для символа, слишком много медицинских подробностей — для символа. Я давал повесть на отзыв крупным онкологам — они признавали ее с медицинской точки зрения безупречной и на современном уровне. Это именно р а к, рак как таковой, каким его избегают в увеселительной литературе, но каким его каждый день узнают больные, в том числе ваши родственники, а может быть вскоре и кто-нибудь из присутствующих ляжет на онкологическую койку и поймет, какой это «символ».

Совершенно не понимаю, когда «Раковый корпус» обвиняют в антигуманистичности. Как раз наоборот: это преодоление смерти жизнью, прошлого будущим, я по свойствам своего характера иначе не взялся бы и писать. Но я считаю, что задачи литературы и по отношению к обществу и по отношению к отдельному человеку не в том заключаются, чтобы скрывать от него правду, смягчать ее, а говорить истинно то, как оно есть, как ждет его. И в русских пословицах мы слышим то же правило:

Не люби потаковщика, люби спорщика.
Не тот доброхот, у кого на устах мед.

Да вообще задачи писателя не сводятся к защите или критике того или иного способа распределения общественного продукта, к защите или критике той или иной формы государственного устройства. Задачи писателя касаются вопросов более общих и более вечных. Они касаются тайн человеческого сердца и совести, столкновения жизни и смерти, преодоления душевного горя и тех законов протяженного человечества, которые зародились в незапамятной глуби тысячелетий и прекратятся лишь тогда, когда погаснет солнце.

Меня огорчает, что некоторые места в повести товарищи прочли просто невнимательно и отсюда родились извращенные представления. Уж этого-то быть не должно. Вот «девяносто девять плачут, один смеется». Это ходовая лагерная пословица; к тому типу, который лезет без очереди. Костоглотов подходит с этой пословицей, чтобы дать себя опознать, и только. А тут делают вывод, что это — про весь Советский Союз. Или — макака-резус, она два раза там встречается, и из сопоставления ясно, что под злым человеком, насыпавшим в глаза табаку *просто так*, подразумевается конкретно Сталин. А что мне возражают? — что не «просто так»? Но если не «просто так» — так значит, это было закономерно, необходимо? Удивил меня Сурков, я даже не мог сразу понять, почему он заговорил о Марксе, где он там у меня в повести? Ну, Алексей Александрович! Вы же — поэт, человек с тонким художественным вкусом, и вдруг ваше воображение дает такой промах, вы не поняли этой сцены! Шулубин приводит учение Бекона в его терминологии, он говорит «идолы рынка» — и Костоглотов пытается это себе представить: рынок, а посреди возвышается сизый идол; Шулубин говорит — «идолы театра» — и Костоглотов представляет идола внутри театра, нет, не лезет, так значит, на театральной площади. И как же вы могли вообразить, что речь идет о Москве и о памятнике Марксу, еще не поставленном?..

Сказал товарищ Сурков, что несколько недель понадобилось «Реквиему» походить по рукам — и он оказался за границей. А «Раковый корпус» (1-я часть) ходит уже больше года. Вот это-то меня и беспокоит, вот потому я и торопил Секретариат.

Еще тут был мне совет товарища Рюрикова: отказаться от продолжения русского реализма. Вот от этого — руку на сердце положа — никогда не откажусь.

РЮРИКОВ. — Я не сказал — отказаться от продолжения русского реализма, а истолкования этой роли на Западе, как они делают.

СОЛЖЕНИЦЫН. — Теперь относительно предложения Константина Александровича. Ну, конечно же, я его приветствую. Именно *публичности* я и добиваюсь все время! Довольно нам таиться, довольно нам скрывать наши речи и прятать наши стенограммы за семью замками. Вот было обсуждение «Ракового корпуса», решено было секцией прозы — послать стенограмму обсуждения в заинтересованные редакции. Куда там! Спрятали, еле-еле согласились мне-то дать, автору. И сегодняшняя стенограмма — я надеюсь, К. А., получить ее...

Спросил К. А.: «В интересах чего печатать ваши протесты?» По-моему, это ясно: в интересах отечественной литературы. Но странно говорит К. А., что р а з в я з а т ь ситуацию должен я. У меня связаны руки и ноги, заткнут рот — и я же должен развязать ситуацию? Мне кажется, это легче сделать могучему Союзу писателей. Мою каждую строчку вычеркивают, а у Союза в руках вся печать. Достаточно мне подписаться под коллективным письмом в защиту Байкала — и «Комсомольская правда» вычеркивает мою фамилию. Достаточно какому-нибудь критику не слишком ругательно меня упомянуть — и абзац вычеркивается.

Я все равно не понимаю и не вижу, почему мое письмо не было зачтено на съезде. Теперь К. А. предлагает бороться не против *причин*, а против *следствия* — против шума на Западе вокруг моего письма. Вы хотите, чтобы я напечатал опровержение — а чего именно? Не могу я вообще выступать по поводу ненапечатанного письма. А главное: в письме моем есть общая и частная часть. Должен ли я отказаться от общей части? Так я и сейчас все так же думаю и ни от одного слова не отказываюсь. Ведь это письмо — о чем?

ГОЛОСА. — О цензуре.

СОЛЖЕНИЦЫН. — Ничего вы тогда не поняли, если — о цензуре. Это письмо о судьбах нашей великой литературы, которая когда-то покорила и увлекла мир, а сейчас утратила свое положение. Говорят нам с Запада:

умер роман, а мы руками машем и доклады делаем, что нет, не умер. А нужно не доклады делать, а романы опубликовать — такие, чтобы там глаза зажмурили, как от яркого света — и тогда притихнет «новый роман», и тогда окоснеют «нео-авангардисты». От общей части своего письма я не собираюсь отказываться. Должен ли я, стало быть, заявить, что несправедливы и ложны восемь пунктов частной части моего письма? Так они все справедливы. Должен ли я сказать, что часть пунктов уже устранена, исправляется? Так ни один не устранен, не исправлен. Что же мне можно заявить? Нет, это *вы* расчистите мне сперва хоть малую дорогу для такого заявления: *опубликуйте*, во-первых, мое письмо, затем — коммюнике Союза по поводу письма, затем укажите, что из восьми пунктов исправляется, — вот тогда и я смогу выступить, охотно. Мое сегодняшнее заявление о «Пире победителей», если хотите, тогда печатайте тоже, хоть я не понимаю ни обсуждения украденных пьес, ни опровержения ненапечатанных писем. 12 июня здесь, в Секретариате, мне заявили, что коммюнике будет напечатано безо всяких условий — а сегодня уже ставят условия. Что изменилось?

Запрещается моя книга «Иван Денисович». Продолжается *и вспыхивает новая против меня клевета*. Опровергать ее можно вам, но не мне. Только то меня утешает, что ни от какой клеветы я инфаркта не получу никогда, потому что закаляли меня в сталинских лагерях.

ФЕДИН. — Нет, очередность не та. Первым публичным выступлением должно быть ваше. Получив столько одобрительных замечаний вашему таланту и стилю, вы найдете форму, сумеете. Сперва мы, а потом вы — такая реплика не имеет твердого основания.

ТВАРДОВСКИЙ. — А само письмо будет при этом опубликовано?

ФЕДИН. — Нет, *письмо надо было* публиковать тогда, вовремя. Теперь нас заграница обогнала, зачем же теперь?

СОЛЖЕНИЦЫН. — Лучше поздно, чем никогда. И из моих восьми пунктов ничего не изменится?

ФЕДИН. — Это потом уже посмотрим.

СОЛЖЕНИЦЫН. — Ну, я уже ответил, и все, надеюсь, застенографировано точно.

СУРКОВ. — Вы должны сказать, отмежевываетесь ли вы от той роли лидера политической оппозиции, которую вам приписывают на Западе?

СОЛЖЕНИЦЫН. — Алексей Александрович, ну, уши вянут такое слышать — и от вас: художник слова — и лидер политической оппозиции? Как это вяжется?

НЕСКОЛЬКО КОРОТКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ, настаивающих, чтобы Солженицын принял сказанное Фединым.

ГОЛОСА. — Он подумает!

СОЛЖЕНИЦЫН еще раз говорит, что такое выступление ему невозможно, отечественный читатель так и не будет знать, о чем речь.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ЗАСЕДАНИЮ.
стр. 26

СЕКРЕТАРИ ПРАВЛЕНИЯ СП СССР (1967 г.) — УЧАСТНИКИ ОБСУЖДЕНИЯ

ФЕДИН Константин Александрович (1892—1977), русский советский писатель, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, первый секретарь Правления СП СССР с 1959 г. по 1971 г., лауреат Государственной премии СССР, Председатель Правления СП СССР с 1971 г., депутат Верховного Совета СССР.

АБАШИДЗЕ Ираклий Виссарионович (р. 1909), грузинский советский поэт, общественный деятель, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии ГССР, депутат Верховного Совета СССР.

АБДУМОМУНОВ Токтоболот (р. 1922), киргизский советский прозаик, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР им. Токтогула, народный писатель Киргизии.

БАРУЗДИН Сергей Алексеевич (р. 1926), русский советский писатель, поэт, главный редактор журнала «Дружба народов» (с 1966 г.), лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького.

БРОВКА Петрусь (Петр Устинович) (1905—1980), народный поэт Белоруссии, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, дважды лауреат Государственной премии СССР, депутат Верховного Совета СССР.

ВОРОНКОВ Константин Васильевич (1911—1984), русский советский драматург, прозаик, лауреат премии Ленинского комсомола.

КЕРБАБАЕВ Берды Мурадович (1894—1974), туркменский советский прозаик, драматург, народный писатель Туркмении, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной премии СССР.

КОЖЕВНИКОВ Вадим Михайлович (1909—1984), русский советский писатель, общественный деятель, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, главный редактор журнала «Знамя», депутат Верховного Совета СССР.

КОРНЕЙЧУК Александр Евдокимович (1905—1972), украинский советский драматург, общественный деятель, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, член ЦК КПСС, член ВСМ, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и пяти Государственных премий СССР, депутат Верховного Совета СССР.

МАРКОВ Георгий Мокеевич (р. 1911), русский советский писатель, общественный деятель, дважды Герой Социалистического Труда, член ЦК КПСС, первый секретарь Правления СП СССР с 1971 по 1986 г., председатель Комитета по Ленинским премиям в области литературы, искусства и архитектуры, лауреат Ленинской и Государственной премии СССР, депутат Верховного Совета СССР.

МУСРЕПОВ Габит Махмудович (1902—1985), казахский советский драматург, академик АН Каз. ССР, Герой Социалистического Труда, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской ССР им. Абая, депутат Верховного Совета СССР.

НОВИЧЕНКО Леонид Николаевич (р. 1914), украинский советский критик, литературовед, трижды лауреат Государственной премии УССР, лауреат премии АН УССР.

ОЗЕРОВ Виталий Михайлович (р. 1917), русский советский критик, лауреат Государственной премии СССР, до 1979 г. главный редактор журнала «Вопросы литературы».

РЮРИКОВ Борис Сергеевич (1909—1969), русский советский критик, публицист, главный редактор журнала «Иностранная литература».

САЛЫНСКИЙ Афанасий Дмитриевич (р. 1920), русский советский драматург, лауреат Государственной премии СССР.

СИМОНОВ Константин (Кирилл) Михайлович (1915—1979), русский советский писатель, общественный деятель, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и шести Государственных премий СССР, член ЦРК КПСС, кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР.

СУРКОВ Алексей Александрович (1899—1983), русский советский поэт, общественный деятель, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной премии СССР, член ЦРК КПСС, депутат Верховного Совета СССР.

ТВАРДОВСКИЙ Александр Трифонович (1910—1971), русский советский поэт, лауреат Ленинской и четырех Государственных премий СССР, главный редактор журнала «Новый мир», член ЦРК КПСС, кандидат в члены ЦК КПСС.

ШАРИПОВ Адий (р. 1912), казахский советский прозаик, литературовед, лауреат премии СП Казахстана им. А. Ауэзова.

ЯШЕН Камиль (Нугманов Камиль Нугманович) (р. 1909), узбекский советский драматург, прозаик, Герой Социалистического Труда, народный писатель Узбекистана, лауреат Государственной премии СССР, депутат Верховного Совета СССР.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЗАСЕДАНИЮ

Трудным испытанием для гласности оказался Солженицын. Четыре года продержался запрет на «Архипелаг ГУЛАГ» во времена снятия запретов на все темы, тем более — с лагерной, с разоблачения преступлений сталинизма. И вот писатель, с которого, казалось бы, должно было начинаться возвращение этой темы, приходит к нам лишь сейчас.

Но не менее трудным испытанием оказался Солженицын и для Запада. Иначе, видимо, и быть не могло с любым подлинным писателем. Невозможно представить себе высланными из России Достоевского или Толстого (хотя отлучение Толстого — тоже факт исторический; отлучение от веры, от которой, как и от Родины, никого отлучить нельзя!), но еще труднее предположить, что где-нибудь в Европе или Америке они бы оказались писателями «приятными во всех отношениях», что они приняли бы «правила» той или иной политической «игры», вне зависимости от того, как и где эти «игры» называются, во имя чего ведутся. Не могло такого произойти. А потому и не произошло с Солженицыным, который и там, на Западе, не мог не «бодаться с дубом», несмотря на всю нелепость — с точки зрения здравого смысла — такого рода «боданий».

Результат известен. Пожалуй, ни одного современного писателя средства зарубежной массовой информации не травили в последнее десятилетие так, как Солженицына. Один из зарубежных публицистов сказал обо всем этом весьма лаконично: «Любой ишак, который сейчас вякнет против Солженицына, сразу же найдет мировую прессу вкупе с почетным званием писателя-диссидента Советского Союза». И таких «ишаков» оказалось более чем достаточно, особенно среди «третьей волны» эмиграции, которая буквально захлебывается от ненависти к Солженицыну (как, впрочем, ранее захлебывалась от любви к нему же). Вступиться за честь Солженицына осмеливается далеко не каждый. И все же такие голоса раздаются даже среди представителей этой «третьей волны». Александр Глезер, например, пишет: «Уже чуть ли не пятнадцать лет существует наша так называемая третья волна эмиграции, и год от года растут в ней ряды ненавистников Солженицына, которые все больше клевещут на него, выступая как на страницах некоторых изданий русского зарубежья, так и в западной прессе, навешивая при этом на Солженицына позорящие не его, а их ярлыки. Они называют Солженицына писателя возродившего гуманистические традиции великой русской литературы, «русским аятоллой», «великодержавным шовинистом», «врагом демократии», «великим инквизитором» и даже «пятой колонной советской пропаганды». Их безнаказанная и бесконечная клевета по адресу замечательного современника потрясает низостью и цинизмом».

О причинах же этой чудовищной клеветы тоже достаточно хорошо известно. Оказавшись в условиях полной гласности, Солженицын нарушил одно из неписаных ее табу — заговорил о национальных проблемах России, затронул пресловутый «еврейский вопрос», тоже относящийся к числу запретных. Но опять же запретных при отсутствии каких бы то ни было гласных запретов, когда вроде бы все дозволено, кроме одного маленького «но»... И вот этого «но» Солженицын не учел, когда в «ГУЛАГе» поместил фотографии шестерых основных гулаговских палачей, не скрыв их национальности, когда в «Августе 1914» назвал национальность убийцы Столыпина Багрова, а в «Октябре 1916» — Парвуса — Гельфанда. «Любопытно, — замечает по этому поводу еще один представитель «третьей волны» Дмитрий Бобышев, — что многие обвинения против писателя строятся вокруг такого вопроса, как его национализм, хотя он сам себя националистом и не провозглашал.»

Точно так же не утихают страсти и на страницах нашей печати, где лучшие современные русские писатели Астафьев, Белов, Распутин, Бондарев уже не раз и не два были впрямую обвинены в национализме, шовинизме и чуть ли не фашизме только потому, что в своем творчестве и публицистике они не уходят от острейших национальных проблем своего народа. Все это, как видим, с Солженицыным уже происходило, включая обвинения в антисемитизме, хотя сам он однажды высказался по этому поводу весьма определенно: «настоящий писатель не может быть антисемитом». Но точно так же настоящий писатель не может быть антинародным, не может не касаться национальных проблем своего народа. Для русского писателя это так же немыслимо, как для армянского, грузинского, эстонского, татарского, казахского или еврейского. Но именно за русским писателем это священное право на любовь к своему народу не признается.

Ныне к нам возвращаются произведения Солженицына. Но хочется надеяться, что недалек тот день, когда вернется он сам. Вернется на свою землю, к своему народу...

Вот только похоже, что членский билет Союза писателей СССР ему будут вручать те же самые люди, которые единогласно исключали его из Союза писателей и так же единогласно восстанавливали, которые называли его «литературным власовцем», обвиняли во лжи, переиначивая само имя писателя в со-лже, падающим ниц перед Западом. Конечно, кое-кто из них уже успел покаяться, да только это ровным счетом ничего не меняет, поскольку само это покаяние вызвано изменившимися внешними обстоятельствами. Еще раз изменятся эти обстоятельства и еще раз покаятся многие в своем нынешнем покаянии. Неужто мы и вправду не в состоянии отличить истинных героев и подвижников перестройки, выстрадавших ее своими делами, от оборотней, способных перестраиваться под любые режимы. Но именно в них, оборотнях, неизменным всегда остается одно — «лицо ненависти», только теперь уже не к загнивающему капитализму, а инакомыслящим и инакодумающим, чем они. Как это и происходит ныне во многих наших изданиях. И далеко не случайно против публикации Солженицына первым выступил в «Огоньке» Михаил Шатров. И по-своему он был даже прав, поскольку Солженицын действительно мешает создавать новые варианты все того же «краткого курса» нашей истории, исключающего из нашего исторического самосознания «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное колесо», вместо которых нам предлагаются «Дети Арбата» или новые триумфы и новые трагедии все того же Сталина.

Возвращение Солженицына — это возвращение надежды на перестройку нашего сознания, до сих пор закабаленного схемами, до сих пор знающего разделение только на черное-белое, свой-чужой, правый-левый, сторонник-противник перестройки. Солженицын никогда не укладывался ни в одну из этих схем: ни в те времена, когда слыл «левым», ни в нынешние, когда «левыми» зачисляется в «правые», принимая все эти годы удары попеременно то с той, то с другой стороны.

Солженицын — это уже свершившийся факт нашей истории и литературной жизни второй половины XX века. А потому, публикуя запись «товарищеской беседы» с Солженицыным на Секретариате СП СССР, нам меньше всего хочется заниматься сведением каких бы то ни было счетов. Бог судья всем тем, чьи имена вы встретите в этой публикации, да многих уже и без нас рассудило время. Моральный урок — вот главное, что побудило нас к этой публикации, тем более, что накануне «Слово» (1989, № 8) уже опубликовало как раз те самые открытые письма Солженицына Всесоюзному съезду писателей (16 мая 1967 г.) и в Секретариат СП СССР (12 сентября 1967 г.), которые и послужили причиной вызова его на заседание Секретариата 22 сентября 1967 года. В дальнейшем редакция намерена продолжать публикации материалов, связанных с жизнью и творчеством Солженицына, обращаясь прежде всего к документам.

ВИКТОР КАЛУГИН

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ

взгляд со стороны

Мое внимание привлекла статья советского литературного критика Владимира Бондаренко «Обретение родства» в журнале «Слово» № 7. Здесь он развивает концепцию, уже и раньше им сформулированную: о двух типах художественного сознания, обозначенных им как «почвенничество» и «космополитизм». Вводя эти термины и при их помощи анализируя различные способы художественного конструирования мира, Бондаренко пытается — и не без успеха — преодолеть весьма болезненный, можно даже сказать, постыдный раскол, наметившийся в нынешней советской литературе по национальному признаку (впрочем, не в самой литературе, а скорее в многочисленных писаниях о ней). Подход Бондаренко позволяет снять некоторое нежелательное напряжение — обнажает искусственную сконструированность. Еврей Марк Шагал у Бондаренко — типичный почвенник, человек, укорененный в родном быте. А вот русский Маяковский — самый настоящий космополит, планетарно, космично мыслящий. (Тут надо добавить, что Бондаренко совершенно правильно и своевременно лишает термин «космополитизм» уничижительного оттенка, привитого ему после войны, тем более отвергает синонимичность его с еврейством.) Почему-то Бондаренко забыл в числе почвенников еврейского происхождения упомянуть Пастернака — уже и не еврейского, как Шагал, а русского почвенника.

Метод, предложенный Бондаренко, помогает также объяснить некоторые не меньшие парадоксы: почему, например, либералы из журнала «Знамя» так страстно защищают поэтов-ифлийцев (Коган, Кульчицкий, Майоров, Копштейн, Всеволод Багрицкий — поколение погибших на войне самых правоверных коммунистов сталинской формации)? Потому что идеология «Знамени» — не почвенническая и в этом смысле типологически близка интернационалистическому пафосу, «земшарству» ифлийцев.

Довольно интересными — хотя и лежащими на поверхности — показались мне и рассуждения Бондаренко о Высоцком — о его почвенничестве, рожденном уже на отсутствии всякой почвы, в бараках и «хрущобах»: о поиске почвы, о создании быта на безбытности казарменного социализма.

Повторяю: подход Бондаренко, что называется, эвристичен, он помогает избавиться от очень многих досадных и мешающих делу проблем. Статья Бондаренко может способствовать очищению литературных нравов.

Я не буду сейчас спорить ни с индивидуальными пристрастиями Бондаренко, ни с его принципиальными оценками. Важно другое: Бондаренко просмотрел мощную тенденцию в современном искусстве, которая синтезирует оба выделенных им течения.

Сейчас на страницах журнала «Иностранная литература» печатается перевод романа Джеймса Джойса «Улисс». Общеизвестно, что это произведение произвело переворот в литературе двадцатого века, определило художественные пути современной литературы. И ведь как раз у Джойса снято противопоставление того, что Бондаренко называет почвенничеством и космополитизмом. Это сделано при помощи ориентации художественного мышления на миф. Миф — наиболее почвен, он обращен к психологическим глубинам человека; это ли не «почва»? И в то же время оказывается, что миф предельно универсален, то есть космополитичен. Мифическое творчество исключительно многообразно и у каждого народа абсолютно оригинально — но в то же время само мифическое мышления обнажает сущностное единство человечества.

Бондаренко говорит, что ему нравятся произведения современных латиноамериканцев, — и называет их почвенниками. Но они-то как раз и работают на мифе; по крайней мере Маркес и Астуриас, самые крупные из них, лауреаты Нобелевской премии.

Приветствуя статью Бондаренко, мы не можем не замечать, что методы, предложенные в ней, способны разрешить разве что некоторые чисто домашние проблемы, но не выводят на подлинно широкий культурный простор.

БОРИС ПАРАМОНОВ

(«Новое русское слово», 11.IX.89 г. Статья печатается с сокращениями).

В МИРЕ КНИГ • В МИРЕ КНИГ • В МИРЕ КНИГ • В МИРЕ КНИГ • В МИРЕ КНИГ

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

КОРНИ НЕУРЯДИЦ

В последнее время все явственнее и убедительнее звучит в нашей очень «плюралистической» и в то же время по сути ортодоксальной экономической науке голос публициста, кандидата технических наук М. Ф. Антонова. Его статьи и очерки в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Наш современник» и «Москва» неизменно привлекают внимание широкого читателя. В книге «Нравственные устои экономики» М. Ф. Антонов продолжает обсуждение жизненно важной и обострившейся сегодня до предела проблемы экономики и экономической политики в нашей стране.

Оригинальность взгляда М. Ф. Антонова на эту проблему состоит в том, что он рассматривает экономику в связи с нравственностью как отдельного человека, так и общества в целом. К сожалению, большинство экономических теорий не включают в себя человека, а если включают, то только как производительную силу, игнорируя все иное, носителем чего он является (его нравственность, историческую судьбу и национальные особенности народа, к которому он принадлежит и т. д.). Это приводит к тому, что «гладкие на бумаге» теории при столкновении с реальной жизнью чаще всего терпят крах.

Рассмотрение проблем экономики и экономической политики с точки зрения М. Ф. Антонова приводит к весьма интересным и важным выводам. Так, например, если обратиться к традиционному экономическому укладу, который был присущ русскому народу в его историческом развитии, то следует, видимо, признать, что русский народ в целом не был проникнут идеей обогащения и накопительства. Безусловно, человек стремился достигнуть определенного жизненного уровня, но беспредельное его повышение (недостижимое, что понятно, для всех членов общества в принципе) не являлось его целью. Нравственное чувство народа безошибочно подсказывало ему, что кроме наращивания потребления материальных благ (а искусственно раздуваемые потребности здесь не имеют верхней границы) и кроме потребности властвовать над себе подобным, человек может иметь в жизни более высокую цель и назначение. Привнесенные извне, навязываемые народу идеалы «общества потребления» при всей их внешней притягательности оказываются внутренне пустыми и не достойными Человека. «Корни экономических неурядиц, — пишет М. Ф. Антонов, — не в том, что у нас неправильные формулы для экономических подсчетов,.. а в том, что расстроена народная жизнь и утрачено ясное представление о цели, следовательно, и о правильных путях развития страны, и без восстановления этих пошатнувшихся устоев наладить экономику невозможно».

Концепция М. Ф. Антонова позволяет по-новому увидеть современные экономические проблемы и понять, что без учета нравственности человека, исторической судьбы народа, его национальных особенностей, «чистые» экономические теории, в том числе копирующие образцы, приложимые к иным общественно-политическим системам, чья экономика складывалась веками и имеет свои, только им присущие особенности, мало что стоят.

Ю. ЧЕХОНАДСКИЙ

Антонов М. Ф. НРАВСТВЕННЫЕ УСТОИ ЭКОНОМИКИ: XIX Всесоюзная партконференция и исторические судьбы страны. — М.: Сов. Россия, 1989.

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

ВОСПОМИНАНИЯ КРЕСТЬЯН-ТОЛСТОВЦЕВ. 1910—1930-е гг. / Сост. А. Б. Рогинской. — М.: Книга, 1989. — 480 с., ил. — (Время и судьбы). — 2 р. 20 к. 75 000 экз.

Гершензон М. О. ГРИБОЕДОВСКАЯ МОСКВА; П. Я. ЧААДАЕВ; ОЧЕРКИ ПРОШЛОГО. — М.: Моск. рабочий, 1989. — 400 с. — 2 р. 30 к. 50 000 экз.

Смирнова-Россет А. О. ДНЕВНИК. ВОСПОМИНАНИЯ / Изд. подгот. С. В. Житомирская. — М.: Наука, 1989. — 789 с., ил. — (Лит. памятники). — 10 р. 40 000 экз.

ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ...: Писатели о русском крестьянстве сер. XX в. / Сост. Ю. Сенчуров. — М.: Современник, 1989. — 412 с. — 1 р. 30 к. 200 000 экз.

ПУБЛИЦИСТИКА И ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ ПЕРИОДА ФЕОДАЛИЗМА / Отв. ред. Е. К. Ромодановская. — Новосибирск: Наука, 1989. 279 с. — 4 р. 30 к. 1 700 экз.

ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ



RAFFAELLO SANTI

Те, кто обладают такими редкими дарами, какие проявились у Рафаэля из Урбино, — не простые люди, а, если позволительно так выразиться, смертные Боги.

ВАЗАРИ.

БОРИС КОЗМИН

ПРЕКРАСНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕЛИЧАВО

Пятьсот с лишним лет тому назад над Италией в своем невиданном блеске разгоралась заря Возрождения. В лучезарный апрельский день 1483 года шестого числа в семье художника мессэра Джованни Санти, состоявшего распорядителем при дворе урбинского герцога Гвидобальдо, родился сын Рафаэлло, которому суждена была на века слава величайшего художника мира. Его краткий земной путь продолжительностью в тридцать семь лет, — день в день, ибо умер он в свой день рождения, поражает воображение величавостью сотворенного, и это несмотря на то, что по понятиям древних в свои тридцать семь лет он не достиг «акме» — вершины зрелости человека. Однако с незапамятных времен бытует мнение, что любимые Богом умирают молодыми, и последнее тысячелетие развития мировой культуры дает нам ряд примеров раннего ухода из жизни величайших гениев. Рафаэль, Моцарт, Пушкин — вот священный триумвират жрецов искусства, воплотивший с наибольшей полнотой идеалы красоты, гармонии и гуманизма. И в то же время они вечный неизбывный упрек расточительному человечеству. Каждый из них в отдельности, несмотря на малый срок, отпущенный судьбой, представляет из себя завершенное монументальное явление.

И теперь среди бешено несущихся событий современной жизни, обращая пристальный взгляд в то далекое прошлое, через призму временных напластований воочию убеждаемся, какой просветляющей и нравственно возвышающей силой обладал гений Рафаэля. Гете говорил: «Не будь счастлив, а родись вовремя».

Хронологически Рафаэль прожил свою жизнь в период зенита Чинквиченто — высокого Возрождения, и следовательно его исключительные природные данные развивались в наиболее благоприятных внешних условиях, к тому же по характеру он был воплощением самой доброты и отзывчивости, а это в соединении с его на редкость красивой внешностью вызывало всеобщее преклонение. До восьмилетнего возраста Рафаэль рос и развивался в счастливейших условиях: семейный лад, любовь, благополучие, служебные успехи Джованни Санти как распорядителя, художника и церемонимейстера герцога, ласки нежной миловидной Маджи — матери и трогательная привязанность няньки Идонии, — все это сформировало самые благородные наклонности и черты его натуры. Образ горячо любимой матери навсегда запал в душу впечатлительного мальчика и в годы творческого расцве-



та стимулировал поиски обобщенного образа мадонны.

Очень рано Рафаэль стал помощником отца в его художественном ремесле, обнаружив удивившие всех способности и серьезность суждений. — «Я хочу делать многое так, как делает отец. Только я не хочу, чтобы всякие мелкие работы отнимали у меня время. Я буду живописцем». В восемь лет осознать цену времени... Это не многим дано. В этом, пожалуй, одна из причин стремительного роста его великого дарования.

Смерть матери в 1491 году потрясла Рафаэля, и жизнь его перестала быть похожей на сплошной праздник. Дружба с отцом, взаимная привязанность, зиждившаяся на страсти к живописи, познаниям в искусствах и философии, неизмеримо возросли, но положение пасынка в отчем доме при сварливой и своекорыстной мачехе легло тенью на все годы возмужания художника. К этому периоду относятся первые попытки Рафаэля воскресить в живописи образ своей нежно любимой матери. Через три года после ее смерти потерял он и отца, оставшись на попечении дяди по отцу монаха фра Бартоломео и постылой мачехи Бернардины. Бесконечные распри, дележ оставшихся пожитков, непристойные сцены гнали Рафаэля из дома, где уже больше не витал образ дорогих родителей. Тепло, уют, священный трепет познания и творчества молодой художник нашел под кровом бывшего ученика отца, известного в Урбино художника Эванджелисто ди Пьяндимолетто и приехавшего из Болоньи его друга Тимотео делла Вито.

К семнадцати годам ученик перерос своих учителей, и его препоручили наставничеству прославленного Перуджино. Из тихого, провинциального Урбино юный Рафаэль перебрался в шумную и тревожную Перуджу — столицу Умбрии, где влился в артель многочисленных учеников и подмастерьев Пьетро Ваннучи, прозванного Перуджино. Этот мастер был загружен заказами и в то время расписывал фресками здание собраний Камбио. Начался новый, исключительно важный этап в развитии Рафаэля, который продолжался четыре года. За этот период он сформировался окончательно для дальнейшего гениального всеохватного своего творчества и как личность, и как мастер.

Из всего многообразия тем и сюжетов, освоенных им за эти годы, следует остановиться на «Мадонне», выполненной для графа Альфано ди Джаманте из Перуджи, прозванной впоследствии по имени позднейшего владельца «Мадонной Конестабиле» (ГЭ). В этом произведении еще видны признаки влияния учителя Перуджино, но вместе с тем это уже раскрывшийся Рафаэль с его неповторимым восприятием женского образа, с мягкостью цветового решения и изяществом рисунка, с удивительной способностью усваивать все лучшее, чего в лице Леонардо да Винчи и того же Перуджино достигло искусство Италии к началу шестнадцатого века.

Прежде чем покинуть Перуджу ради великолепной Флоренции — центра науки и искусства, будучи автором таких произведений, как упомянутая уже «Мадонна Конестабиле», «Три грации» и «Сон рыцаря», Рафаэль навестил родной Урбино, где родственные встречи перемешивались с печалью о днях невозвратимого счастья. В отчем доме, принадлежавшем теперь мачехе Бернардине, среди чужой обстановки пришелец неожиданно был потрясен встречей с образом мадонны Маджи — его матери, написанной на стене отцом Джованни Санти. Молва о нем как о славном живописце была достоянием городской толпы и обитателей герцогского дворца. Герцог Гвидобальдо и супруга его Елизавета Гонзаго проявили исключительное радушие и гостеприимство по отношению к сыну почтенного Джованни Санти, который сам вырастал в славу Италии. В доме герцога Рафаэль встретил начинающего поэта Балтассаро Кастильоне. Случай стал приобретением дружбы на всю жизнь.

В 1505 году с рекомендательным письмом герцогини к Содерино — гонфалоньеру Флоренции, администратору и покровителю искусств — прибыл в тосканскую столицу Рафаэль. Молодой художник был обескуражен неприветливым приемом, на который не рассчитывал. Все огорчения прошли, как только он разыскал своего любимого учителя Перуджино, тоже перебравшегося с артелью помощников для выполнения больших заказов. В мастерской учителя Рафаэля ждала большая радость — знакомство с великим Леонардо да Винчи, который пленил его не только как непревзойденный живописец-ученый, но и как личность, исполненная величавого благородства, изящества манер, доступности и простоты обхождения.

В это же время во Флоренции набирал творческую силу другой титан Возрождения — Микеланджело Буонаротти. За четыре года пребывания во Флоренции Рафаэль окончательно сложился как один из первенствующих художников своего времени, гениально усвоив богатый опыт предшественников и особенно старших современников. Знаменитое леонардовское сфумато — нежнейшая светотень и волшебная воздушная дымка, как и титаническое начало и мощь образов Микеланджело, нашло синтезированное выражение в работах урбинского мастера. Не обремененный монументальными росписями, Рафаэль во флорентийский период особенно преуспел в разработке пленительного образа Мадонны.



Борис Михайлович КОЗМИН — художник, искусствовед, хранитель музея-усадьбы Ганнибалов в Пушкинском заповеднике. Окончил художественную школу имени Сурикова в Красноярске, художественное училище в Иркутске, факультет искусствоведения Ленинградской АХ. С 1962 по 1974 год работал в детской художественной школе города Бородино Красноярского края. С 1974 г. — в Пушкинском заповеднике Псковской области. Автор многих публикаций по изобразительному искусству, отечественной истории и пушкиноведению. В настоящее время работает над биохроникой Абрама Петровича Ганнибала и продолжает создавать свою живописную Пушкиниану.

От картины к картине ясно прослеживается в этот период стремительная эволюция его мастерства. Композиция строилась на законах гармонического равновесия частей, на соразмерности большого и малого, что в соединении со все более изысканной цветотональной палитрой и красотой лиц приводила автора ко все более блистательным результатам. В 1505 году была написана «Мадонна Грандука», в 1507-м — «Прекрасная садовница», а в период между ними — «Мадонна со щегленком», «Мадонна среди зелени» и другие шедевры, полные очарования земной и как бы неземной поэзии. В последней флорентийской «Мадонне под балдахином» определились черты будущих величественных алтарных картин римского периода, последнего и самого блистательного в творчестве Рафаэля, когда с успехом и славой его никто не мог сравниться.

Воцарение на папском престоле в 1503 году волевого, властного и честолюбивого Юлия Второго ознаменовало начало эпохи бурного расцвета архитектуры и всех родов искусства Рима. Придворным зодчим папы стал великий Браманте, автор проекта грандиозного собора святого Петра, который по утверждению Вазари был дальним родственником Рафаэля и тоже был выходцем из Урбино. Юлий Второй — тонкий знаток искусства, и от его внимательного взора не ускользнули два маленьких человека, увиденных им во дворце урбинского герцога в сентябре 1506 года.

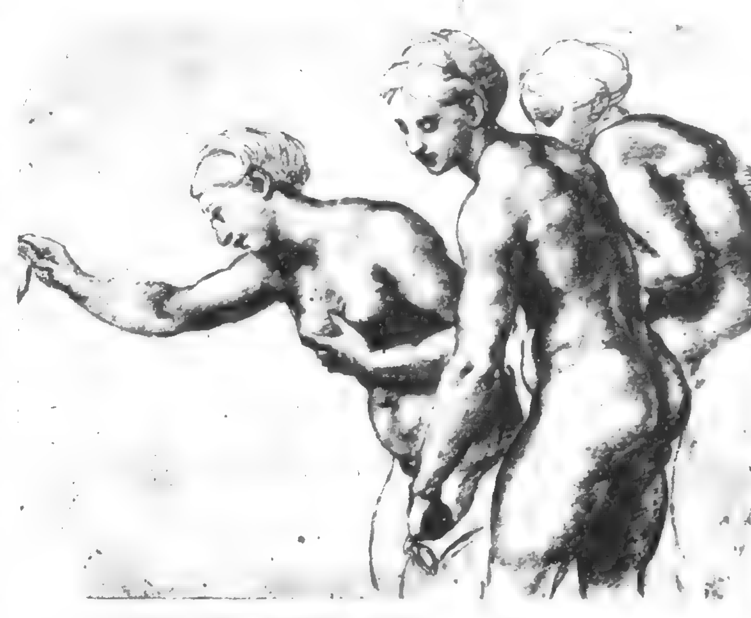
Благоволение святейшества и протекция Браманте привели в 1508 году двадцатипятилетнего Рафаэля в Ватикан, где ему поручено было вместе с работавшими уже Синьорелли и Перуджино расписать папские покои. До этого момента опыт его во фресковой живописи ограничивался единственной большой работой, но, несмотря на это, дела пошли так успешно, что привели папу в неистовый восторг, и, повелев смыть все, что успели сделать Синьорелли и Перуджино, он весь заказ передал Рафаэлю. Но будучи благородным и деликатным человеком и благодарным учеником, молодой гений нашел способ, чтобы не ранить старого учителя и, работая по собственному плану, сумел все-таки сохранить работы предшественников. Вскоре у Рафаэля появились верные и талантливые ученики, согласно с ним мыслившие и, что называется, нутром чувствовавшие стиль и манеру учителя.

Некоторые из них выросли в больших мастеров, как, например, Джулио Романо, Пьерино дель Вага, Пенни. Первого из них Рафаэль попросту называл «второе я», ибо по малейшему намеку, мимолетному наброску он улавливал замысел учителя. Артель Рафаэля увеличивалась, папские заказы становились один другого грандиознее, а результаты монументальных росписей — все прекраснее и величавее. Теперь он, создавая свою «Афинскую школу», «Диспут» и другие монументальные фрески, трудился, что называется, бок о бок с великим Микеланджело, расписывавшим плафон Сикстинской капеллы Ватикана. Несмотря на неприязненные отношения нелюдимого сурового и одинокого исполина, Рафаэль преклонялся перед создателем «Давида» и «Страшного суда» и со свойственной ему непосредственностью публично заявил: «Благодарю Бога, что я живу около этого великого мастера и могу у него учиться!»

Микеланджело претила мягкость и покладистость папского любимца, вечно окруженного толпой учеников, поклонников и разного рода ласкателей; гению же урбинца он в полной мере отдавал должное. Об их взаимоотношениях красноречиво говорит такой эпизод: однажды Микеланджело, встретив Рафаэля среди шумной толпы поклонников, довольно ядовито пошутил, что-де опять ты, точно полководец, окружен свитой. Рафаэль, уловив нотки сарказма, небрежно отпарировал: «А ты по-прежнему одинок, как палач?» Но до вражды дело не доходило. Несмотря на неуживчивость и нелицеприятность суждений относительно других, Микеланджело способен был на объективную и справедливую оценку. За 500 экю Рафаэль расписывал фресками дворец Киджи, но в процессе работы замысел значительно расширился, вследствие чего художник потребовал удвоить плату. Распорядитель заказчика, разумеется, счел это за простой каприз и удовлетворить просьбу не собирался. Тогда Рафаэль потребовал сведущего в деле мастера, чтобы тот подтвердил законность требования. Распорядитель ухватился за эту мысль. В надежде, что ему удастся перехитрить художника и зная о неприязненном к нему отношении Микеланджело, он пригласил именно его. Долго молчаливо и мрачно рассматривал он фрески, наконец, повернувшись к нетерпеливо ожидавшим суда Рафаэлю и распорядителю, заявил, что голова каждой сивиллы стоит не меньше ста экю. В результате заказчику пришлось заплатить намного больше, чем запросил художник.

В ватиканских монументальных росписях Рафаэль встает во весь свой исполинский рост. Врожденное чувство гармонии счастливо уравновешивает титаническое начало в его композициях, развившееся не без влияния Микеланджело.

С годами круг обязанностей Рафаэля при папском дворе стремительно увеличивался. После смерти Браманте он был назначен главным архитектором при строительстве собора святого Петра и проявил на этом поприще большие способности. Помимо этого уже при новом папе Льве Десятом он вынужден был возглавить археологические раскопки в Риме, делать эскизы для ватиканских ковров, а нередко и ублажать сумасбродства новоявленного владыки-эпикурейца, погрязшего в бесконечных пирах и увеселениях, — «насладимся же папством, раз Бог дал нам его!» — любил повторять этот представитель рода Медичи. Несмотря на утонченность вкуса, большую образованность, изысканность манер, Рафаэль скоро понял, какая пропасть лежит между новым папой и Юлием Вторым — суровым, непреклонным и способным ценить великих художников. Теперь же при дворе Рафаэль с учениками остался один: Леонардо уехал во Францию, а Микеланджело за прямоту и резкость оказался лишним в Ватикане.



Эскиз к картине «Три грации».

В этот период Рафаэль создал целый ряд превосходных портретов своих современников. Это портрет и Юлия Второго, и Льва Десятого, портрет кардинала и поэта Бальтассара Кастильоне, портрет Донны Велаты и портрет Перуджино, — на всех лежит отпечаток неповторимой индивидуальности, и вместе с тем каждый воспринимается как возвышенный образ Ренессанса. Однако

величайшими творениями Рафаэля последних лет жизни стали алтарные образы мадонн. Вот уже пять столетий восхищает всех изумительная «Мадонна в кресле» — чудесный сплав реального и идеального. Одновременно с портретом «Донны Велаты» — своей возлюбленной, художник создавал самое совершенное, самое заветное свое произведение «Сикстинскую мадонну».

Облик Марии, несущей миру младенца Христа, художник наделил портретными чертами любимой женщины, но образ человека в ней возвел на недосягаемую высоту, придав ей непревзойденную силу и величие. Это в сущности был прощальный подарок Рафаэля миру. Он умер шестого апреля 1520 года, в великую пятницу поста накануне пасхи, в день своего рождения, погиб, изнуренный сверхчеловеческой нагрузкой, непомерными объемами монументальных росписей, обязанностями главного архитектора, руководителя археологических работ в катакомбах вечного города, пользовавшимися дурной славой рассадников злокачественной лихорадки.

Папа Лев Десятый клялся, что любит Рафаэля как родного сына за его божественный дар и ангельский нрав. Он даже помышлял о немыслимом — не возвести ли художника в сан кардинала. Благие намерения главы католической церкви — факт исторический, как несомненно и то, что своей бездумной алчной эксплуатацией, бесконечными пирами, большими и малыми сумасбродствами он погубил гения. Рим был погружен в траур, какого еще не знал, ибо по понятиям людей того времени Рафаэль был носителем божественных начал, одним из немногих, кому доступны были прозрения в неведомое и недоступное, и пример тому его «Сикстинская мадонна». Смертные бессмертному воздали почести, на какие только были способны, похоронив его в римском Пантеоне.

И началась его новая посмертная жизнь как художественного явления. Никогда еще ни один живописец в истории не был вдохновителем поэзии в такой степени, как Рафаэль. Сонеты и гимны в честь его триумфов следовали за ним всюду еще при жизни. Ариосто и Кастильоне в проникновенных строках выразили скорбь утраты. Старинный друг художника, оплакивая его в стихах, говорил, что «смерть сразила Рафаэля за то, что он хотел воскресить умерший город». Он же пророчески писал герцогине Мантуанской: «Окончилась его первая жизнь; его вторая жизнь — в посмертной его славе — будет продолжаться вечно в его произведениях и в том, что будут говорить ученые в его хвалу». Художник и биограф корифеев Возрождения Вазари с неподдельным чувством писал о несравненной щедрости и отзывчивости Рафаэля. Он говорил, что «каждый, кому нужен был совет Рафаэля, всегда мог свободно к нему обратиться. Рафаэль бросал собственную работу, чтобы помочь в затруднении начинающему. Лучше было бы и живописи умереть вместе с этим благородным мастером, ибо, когда смежил он очи, и она стала почти слепой...»

Друг Рафаэля скульптор Лоренцетти вплел свой цветок в венок славы, изваяв для надгробия скульптуру мадонны, — образ, через который с наибольшей полнотой выявился его гений. Триста лет спустя один из самых последовательных поборников чистоты классических идеалов в живописи, французский художник Энгр говорил о Рафаэле с тем же восторгом и обожанием, словно он сам был его непосредственным учеником. Он не уставал повторять, что Рафаэль был не только величайшим живописцем, но и явлением незыблемой нравственно-этической чистоты: «Он был прекрасен, он был добр, он был все! — Небо как бы завидовало земле, когда оно так рано отняло у нас Рафаэля и Моцарта».

Во все времена простые люди и творцы духовных ценностей, подчас и такие, что находились на противоположных эстетических позициях: поэты, философы, художники, мыслители неизменно сходились на высокой оценке создателя «Сикстинской мадонны». Два русских гения — Достоевский и Толстой — лик «Мадонны...» имели в превосходных репродукциях, разместив их в своих кабинетах. Богоборец Гете не раз вспоминал о минутах молитвенного восторга пред ликом «Пречистой». И мудрый Жуковский видел в ней «гений чистой красоты», который «лишь в чистые мгновения бытия слетает к нам и приносит откровенья, Благодатные сердцам». Изумительны его же наблюдения: «Не понимаю, как могла ограниченная живопись произвести необъятное; перед глазами полотно, на нем лица, обведенные чертами, и все стеснено в малом пространстве, и, несмотря на то, все необъятно, все неограниченно! И, точно, приходит на мысль, что эта картина родилась в минуту чуда: занавес раздернулся, и тайна неба открылась глазам человека.

В Богоматери, идущей по небесам, неприметно никакого движения; но чем более смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается. На лице ее ничто не выражено, то есть на нем нет выражения понятного, имеющего определенное имя; но в нем находишь, в каком-то таинственном соединении, все: спокойствие, величие и даже чувство, но чувство, уже перешедшее за границу земного, следовательно, мирное, постоянное, не могущее уже возмутить ясности душевной. В глазах ее нет блистания (блестящий взор человека всегда есть признак чего-то необыкновенного, случайного; а для нее уже нет случая — все свершилось); но в них есть какая-то глубокая, чудесная темнота; в них есть какой-то взор, никуда особенно не устремленный, но как будто видящий необъятное».

Существует легенда, что Рафаэль долго не мог найти нужное композиционное решение и оно ему явилось однажды во сне. То, о чем писал В. А. Жуковский, достигнуто художником путем создания эффекта дематериализованного пространства, как следствие смещения перспективы и соотношения изображенных к Мадонне.

Рафаэль был любимым художником Пушкина, и не случайно в счастливейшую минуту жизни он обратил благоговейный взор к дивному творению художника, уподобив свою юную супругу образу «Сикстинской мадонны». Всем известен его знаменитый сонет, раскрывающий духовный мир поэта через созерцание шедевра итальянского гения:

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель —

Она с величием, он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Не множеством картин подобного совершенства богата сокровищница всемирного искусства; не многие создания человеческого духа способны выдержать сопоставление с творением корифея эпохи Возрождения. Идеал женщины-матери, взлелеянный Рафаэлем с детства, возвысился в его творении до общечеловеческого символа. В наш же век поруганных святынь и апокалиптических предчувствий, когда возобладал над миром сатанинский клич — «подвергай все сомнению!», совесть превратилась в химеру, нравственность, красота — в затертую разменную монету, образ матери утратил свой священный статус, ржа материализма породила ненасытную жадность, а всевозрастающее научное познание — безысходную тоску и печаль, застилающую людям глаза на первозданную прелесть окружающего их мира.

И все-таки борьба Света с Тьмой, Красоты с Уродством, Добра со Злом еще не окончена. Высокое людям потребно изначально. «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво». В этом слава художника и залог его бессмертия, пока будет зелено дерево жизни на земле.

РУБЛЁВА

АНДРЕЙ КУРАЕВ

«ТРОИЦА»

этюды об иконах

Всмотритесь в любую Богородичную икону. Одним из первых впечатлений откристаллизуется в сознании вопрос: почему взгляды Матери и Младенца не встречаются, не сливаются, не единятся? Через ответ на это вопрошание мы входим в одну из важнейших тайн иконы. Икона всегда обращена к молящемуся, всегда включает предстоящего человека в свое пространство, входит с ним в общение. Поэтому икона допускает нарушение внутренних сюжетных связей изображаемых лиц для того, чтобы подключить к ним предстоящего созерцателя. Ведь вся Священная История — это то, что происходит «нас ради человек и нашего ради спасения». Эти слова Православного Символа Веры *в первую очередь относятся* к *Рождеству* Бога во плоти. Сотериологический, обращенный к нам смысл Боговоплощения и подчеркивает «неестественная» обращенность взглядов и Марии и Иисуса к нам. Это — проявление того основного принципа иконописи, который можно сформулировать как изменение видимости вещей с целью обращения к внутреннему содержанию.

Зачем разговор о «Троице» начинать с особенности Богородичных икон? — Затем, что в «Троице» именно таких особенностей нет. Ни один из рублевских Ангелов не смотрит на нас.

Почему так? — Потому, что это Троица... Издавна христианское богословие имело два направления: учение о Боге Самом по Себе и учение о Боге в Его проявлениях в мире. Собственно богословием называлось только учение о Троице, о «Боге, Едином в существе и Троичном в Лицах». Лишь трех людей Православная Церковь сочла богословами: Иоанна Богослова, Григория Богослова и Симеона Нового Богослова.

А учение о Боге как Творце, Промыслителе, Спасителе называлось «домостроительным богословием», повествующим о том, как Бог совершает «домостроительство» (по-гречески — «икономию») нашего спасения.

Понятно, что икона на троическую тематику должна оттенять трансцедентность своего Первообраза, его неотмирность, запредельность.

Но сокровенное чудо христианства в том, что трансцедентное становится имманентным, беспредельно далекое приходит «внутрь нас». Сущность Того, о Ком Блез Паскаль говорил, что «разум человека не больше похож на разум Бога, чем пес на созвездие Пса», оказывается Любовь (I Ин. 4,8). Именно эта Любовь и стала содержанием рублевской «Троицы»: «Бог так возлюбил мир...»

Три Ангела вслушиваются друг в друга; Три Божественных Лица обращены друг к другу с вопрошанием и ответом. «Троический совет». О чем он? Во всей Библии лишь одно место говорит нам о Внутрибожественном Совете: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. I, 26). Традиционно это место рассматривается как одно из первых и важнейших ветхозаветных указаний на Троичность Бога, которой надлежит явно открыться лишь в Новом Завете.

Значит, это совет о создании человека. Так трансцедентная, «богословская» тайна Троицы сочетается о «домостроительной» тайной человека — «по образу Нашему». Важнейшей же чертой богообразности человека является его принципиальная свобода. «Как Бог свободен, так свободен и ты» — говорил св. Макарий Египетский. «Сотворим человека... и да владычествуют они». «Мы» сотворим — но владычествовать будут отныне «они». «Сотворим человека» — и свобода Бога отныне будет встречать для себя преграду в свободе человека. «Любовь Бога к человеку так велика, что она не может принуждать», — пишет русский православный богослов Владимир Лосский и добавляет, что в Боге надо почувствовать «просящего подаяние любви нищего, ждущего у дверей души и никогда не дерзающего их взломать».

То, что происходило до появления человека, не требовало от Бога самоумаления («кеносиса»). Все предшествующие дни творения проходят в едином ритме. «И сказал Бог... И стало так... И был вечер, и было утро». Этот ритм сбивается на шестой день. «Троический совет» — это «творческая пауза», если говорить языком экзегетики.

Но «откуда их печаль? Откуда эта кроткая грусть, пожалуй даже кроткий укор? — Только от склонения голов. Надо быть великим художником, чтобы одним течением линий наполнить вашу душу неизбывной печалью или радостью, надо обладать мощью гения, чтобы взволновать вас не страданием и слезами, но одним только тихим преклонением головы». Так писал о рублевском образе искусствовед Н. М. Щекотов.

Печаль и укор неразрывно связаны с тем даром богообразной свободы, которую Творец дал человеку Ведь эта свобода будет слишком часто оборачиваться богоборчеством, противостоянием Богу. Бог знает, творя человека, что его создание не преминет воспользоваться своей свободой для того, чтобы уйти от Бога, «скрыться» от Него (Быт. 3, 8). И вся история человечества станет, по слову Карла Барта, рассказом о том, «как Бог искал человека».

И печально-кроткие взоры рублевских Ангелов уже провидят Голгофский крест. От творения свободного человека до Голгофы — таков путь кенотического домостроительства, путь отказа Бога от своей Славы и Силы «нас ради человек».

...В центре иконы — чаша, в которой проступает голова ягненка — прообраза Новозаветного Агнца, «вземлющего грехи мира». Перед Логосом та Чаша, о которой Христу предстоит молиться в Гефсиманском саду. И все же чаша будет испита — ибо решение об этом Сын принимает уже сейчас. Центральный Ангел на иконе облачен в сине-коричневые одежды. В русской иконографии это — традиционные одежды именно Христа. Облаченный в одежды Новозаветного Агнца, Ангел «разрывает» круг Троицы и благословляющим жестом осеняет чашу: «Сотворим...»

Рублевская «Троица» — проникновенная проповедь веры в человека; она показывает, как Бог верит человеку, дорожит им и его свободой. Взаимное жертвенное служение Божественных Ипостасей раскрывает смысл христианской любви — «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Люди, приходившие в монастырь к преподобному Сергию, видели в нем на деле реализованную заповедь евангельской любви и святости.

Ту же «воплощенную» Любовь видели русские люди и в «Троице» преподобного Андрея. В ней они видели отсвет своей самой сокровенной жемчужины, вынесенной ими из евангельской сокровищницы: любовь всегда имеет жертвенный оттенок, сквозь нее всегда просвечивает крест. Спустя 400 лет митрополит Московский Филарет скажет о Троице: «Отец — Любовь Распинающая; Сын — Любовь распинаемая; Дух — Любовь торжествующая».

И опять мы вернемся к иконе Божией Матери. Сколько прекрасных ликов мы видим на этих образах: Владимирская, Донская, Касперовская... Но кто сможет вспомнить лик Младенца на этих иконах? Неброскость, умаленность Его лика по сравнению с ликом Матери — это все то же зримое (точнее «умозримое в красках») выражение идеи «кеносиса» — умаления Богом Своей Красоты и Славы «нашего ради спасения».

И вот по трем сторонам престола с Евхаристической жертвенной трапезой сидят Трое. Четвертая сторона престола пуста — она обращена к нам. «...И к отворившему Мне войду и вечерять с ним буду, и Он — со Мною» (Апок. 3, 20).

ЭРНЕСТ РЕНАН

ЖИЗНЬ ИИСУСА*

Впрочем, крещение было для Иоанна только символом, предназначенным к тому, чтобы произвести впечатление и приготовить умы к неведомому великому движению. Нет никакого сомнения, что Иоанном владела великая мессианская надежда, и что его главное дело носило этот характер. «Кайтесь, — говорил он, — ибо приближается царство божие». Он возвещал «великий гнев», т. е. наступление великих катастроф, и возвещал, что топор лежит уже у корня дерева, и что дерево вскоре будет брошено в огонь. Он представлял своего мессию с веялкой в руке, собирающего доброе зерно и сжигающего солому. Покаяние, образом которого было крещение, милостыня, перемена нравов, — было для Иоанна великим подготовительным средством к грядущим событиям. Неизвестно точно, в каком свете представлял он себе эти события. Достоверно, что он с большою силою проповедовал против тех же противников, как и Иисус: против богатых священников, фарисеев и книжников, словом, против официального иудейства, и что он, как и Иисус, особенно был любим презираемыми классами. Он свел к нулю титул «сын Авраама» и говорил, что Бог мог бы создать сыновей Авраама из дорожных камней. Не похоже на то, чтобы он хоть в зародыше сознавал великую идею, которая составила торжество Иисуса, именно идею чистой религии; но он мощно служил этой идее, заменяя частным обрядом законные церемонии, для которых требовались жрецы, почти так же, как средневековые флагелланты (бичующиеся), которые, отнимая у официального духовенства монополию таинств и отпущения грехов, являлись предшественниками реформации.

Общий тон речей Иоанна был суров и жесток, выражения, которыми он пользовался против своих противников, по-видимому, были необыкновенно дерзкими. Это была грубая и непрестанная брань. Вероятно, что он не был чужд политике. Иосиф[1] бывший очень близким к Иоанну, благодаря своему учителю Бану, дает понять это обиняками, а катастрофа, положившая конец его дням, по-видимому, это подтверждает. Его ученики вели суровую жизнь, часто постились и имели печальный и озабоченный вид. Заметно, что в школе Иоанна временами является общность имуществ и та мысль, что богатый должен разделить свою собственность[2]. Бедный уже является как человек, который должен получить выгоду при первом наступлении царства божия.

Хотя центром действий Иоанна была Иудея, слава о нем скоро проникла в Галилею и дошла до Иисуса, сформировавшего вокруг себя, своими первыми речами, небольшой круг слушателей и пользовавшегося еще незначительным авторитетом. Иисус, без сомнения, также побуждаемый желанием видеть учителя, чьи наставления имели много общего с его собственными идеями, покинул Галилею и отправился со своею небольшою школою к Иоанну. Новые пришельцы крестились, как и все. Иоанн очень хорошо принял эту толпу галилейских учеников и не нашел ничего дурного в том, что они отличались от его учеников. Оба учителя имели много общих идей; они любили друг друга и обменивались на глазах народа взаимными любезностями. Юность способна ко всякой самоотверженности, и можно допустить, что оба молодых энтузиаста, полные одинаковых надежд и одинаковой ненависти, делали общее дело и поддерживали друг друга. Эти добрые отношения сделались впоследствии исходным пунктом всей развитой евангелистами системы, заключавшейся в том, что в качестве первой основы божественной миссии Иисуса выставляли свидетельство Иоанна. Степень авторитета, завоеванного Крестителем, была так велика, что для людей не считали возможным найти лучшего ручательства. Но Креститель не только не отрекся от своих прав перед Иисусом, но Иисус все время, пока был возле него, даже признавал его высшим себя и развивал свой гений очень боязливо.

Кажется, что, на самом деле, Иисус, несмотря на свою глубокую оригинальность, в продолжение по крайней мере нескольких недель был подражателем Иоанна. Его дорога была еще темна перед ним. Иоанн придавал крещению очень большое значение; Иисус считал себя обязанным следовать его примеру: он крестил и его ученики крестили также. Без сомнения, они сопровождали эту церемонию проповедями, похожими на проповеди Иоанна. Таким образом, Иордан покрылся со всех сторон крестителями; их речи имели более или менее определенный успех.

Ученик вскоре сравнялся с учителем, и его крещения стали сильно добиваться. Относительно этого между учениками вышел некоторый раздор: ученики Иоанна явились жаловаться последнему на возрастающие успехи молодого Галилеянина, крещение которого должно было вскоре, по их мнению, вытеснить Иоанново крещение. Но оба учителя остались выше этих мелочей. Превосходство Иоанна, впрочем, было слишком бесспорно для того, чтобы еще мало известный Иисус задумал состязаться с ним. Он единственно желал расти в тени Иоанна и считал себя обязанным, для привлечения толпы, практиковать те же внешние средства, которые доставили Иоанну такой удивительный успех. Когда Иисус стал проповедовать после ареста Иоанна, то первые слова, влагаемые ему в уста, являются лишь повторением близких Крестителю фраз[3]. Некоторые другие выражения Иоанна находились, слово от слова, в его речах[4]. Кажется, что обе школы жили долго в добром со-

---

[1] Иудейский историк, которого постоянно цитирует Ренан, особенно когда дело касается географии Палестины.
[2] Лука, III, 11. — Перев.
[3] Матф., III, 2; IV, 17. — Перев.
[4] Матф., III, 4; XII, 34; XXIII, 33;

** Перевод с 69-го французского издания М. Синявского (Москва, 1906 г.). Продолжение. Начало в №№ 8—10, 12. Произведение публикуется впервые.*

гласии, и, после смерти Иоанна, Иисус, как надежный собрат, был извещен об этом событии одним из первых[1].

В самом деле, пророческая карьера Иоанна была вскоре остановлена. Как все древние иудейские пророки, Иоанн был величайшим порицателем предержащих власть. Крайняя пылкость, с которой он выражался относительно последних, не преминула создать ему преграды. В Иудее Пилат, как кажется, не беспокоил Иоанна, но в Перее, по ту сторону Иордана, он вступал уже на земли Антипы. Этот тиран обеспокоился политической закваской, плохо скрытой в проповедях Иоанна. Крупные союзы людей, созданные религиозным и патриотическим энтузиазмом около Крестителя, были несколько подозрительны. Сверх того, к этим государственным мотивам прибавилась чисто личная обида и сделала неизбежной гибель сурового цензора.

Одним из наиболее замечательных характеров в этой трагической фамилии Иродов была Иродиада. Жестокая, честолюбивая, страстная, она проклинала иудейство и презирала его законы. Она была выдана замуж, вероятно, против своей воли, за своего дядю, Ирода, сына Мариамны, лишенного Иродом Великим наследства и никогда не игравшего общественной роли. Низшее положение ее супруга, по отношению к другим членам его фамилии, не давало ей никакого покоя; она во что бы то ни стало хотела быть государыней. Антипа был орудием, которым она воспользовалась. Этот слабый человек, безумно влюбившись в нее, обещал жениться на ней и развестись со своей первой женой, дочерью Хорета, царя Петры и эмира племен, соседних с Персией. Арабская принцесса, разузнав об этом намерении, решила бежать. Скрывая свой план, она притворилась, что хочет сделать путешествие в Махеро, в земли своего отца, и приказала офицерам Антипы сопровождать себя.

Макор (Makaur), или Махеро была колоссальная крепость, выстроенная Александром Жанне и впоследствии подновленная Иродом, на одном из наиболее крупных утесов на востоке Мертвого моря. Это была дикая, странная область, полная причудливых легенд, и посещаемая, как верили в это, демонами. Крепость была как раз на границе владений Хорета и Антипы. А в данный момент она находилась во владении Хорета. Последний, будучи уведомлен, приготовил все для бегства своей дочери, которая, переходя из владений одного во владения другого, прибыла в Петру.

Тогда совершился почти кровосмесительный союз Антипы и Иродиады. Иудейские предписания относительно брака постоянно служили почвой столкновения между нечестивой фамилией Иродов и строгими иудеями. Члены эти многочисленной и довольно изолированной династии были принуждены вступать в браки между собою, вследствие чего происходили частые нарушения преград, установленных законом; Иоанн, энергично порицая Антипу, был лишь эхом общего настроения; этого было более чем достаточно, чтобы Антипа дал ход своим подозрениям. Он приказал задержать Крестителя и велел заключить его в крепость Махеро, которой он, вероятно, овладел после отъезда дочери Хорета.

Более робкий, чем жестокий, Антипа не желал убивать его. По некоторым слухам, он боялся народного мятежа. По другому рассказу, он имел удовольствие слушать пленника, и эти беседы повергли его в большое смущение. Достоверно лишь то, что заточение продолжалось, и что Иоанн продолжал в глубине своего плена обширную деятельность. Он находился в общении со своими учениками, и мы увидим еще его в сношениях с Иисусом. Его вера в грядущее пришествие Мессии только укрепилась; он со вниманием следил за движениями извне и стремился открыть в них благоприятные признаки для исполнения тех надежд, которые он питал в себе.

ГЛАВА VI

Развитие идей Иисуса относительно царства Божия

До ареста Иоанна, относимого нами приблизительно к лету 29-го года, Иисус не покидал окрестностей Мертвого моря и Иордана. Пребывание в пустыне Иудейской вообще рассматривалось как подготовка к великим делам, как бы «уединение» перед началом общественной деятельности. Иисус подчинился в данном случае примеру других и провел 40 дней в обществе одних диких зверей, соблюдая строгий пост. Воображение учеников много упражнялось относительно этого пребывания. По народным верованиям, пустыня считалась жилищем демонов. Мало существует на свете стран, более разоренных, более покинутых Богом, более закрытых для жизни, чем скалистый наклон (pente), образующий западный берег Мертвого моря. Верили, что, когда Иисус был в этой ужасной стране, он прошел через страшные испытания, что сатана пугал его своими призраками или убаюкивал пленительными обещаниями, что затем явились ангелы служить Иисусу, чтобы наградить его за победу.

Вероятно, Иисус узнал об аресте Иоанна при выходе из пустыни. Отныне у него не было основания продолжать пребывание в пустыне, бывшей ему наполовину чуждой. Он возвратился в Галилею, в свое настоящее отечество, уже зрелым, благодаря значительной опытности, и почерпнул из сношений с великим человеком, сильно отличавшимся от него, сознание своей собственной самобытности.

В общем, влияние Иоанна было скорее вредно, чем полезно для Иисуса. Оно было задержкой в его развитии; все заставляет думать, что у Иисуса, когда он спускался к Иордану, были более высокие идеи, чем идеи Иоанна, и что Иисус, как бы делая уступку, склонился на мгновение к баптизму. Быть может, если бы Креститель, от авторитета которого Иисусу было бы трудно избавиться, остался свободным, Иисус не сумел бы сбросить иго обрядов и грубых обычаев, но тогда он, без сомнения, остался бы неизвестным иудейским сектантом: ведь мир не оставил бы одних обрядов ради других. Благодаря привлекательности религии, свободной от всякой внешней формы, христианство пленило высокие умы. Как только Креститель был схвачен, школа его сильно поуменьшилась в числе и Иисус был предоставлен своему собственному движению. Единственно, чем он обязан Иоанну, это в некотором роде уроками проповеди и общественной деятельности. С этого времени он, действительно, проповедует с гораздо большей силой и облекает себя, по отношению к толпе, авторитетом.

Кажется также, что пребывание его близ Иоанна много содействовало зрелости его идеи о «небесном царстве». Впрочем, это произошло скорее вследствие естественного хода собственной мысли Иисуса, чем благодаря влиянию Крестителя. Отныне пароль Иисуса — «благовестие», возвещение, что царство Божие близко. Иисус более не будет лишь очаровательным моралистом, желающим заключить в нескольких живых и коротких афоризмах высокие уроки; это величайший революционер, пытающийся возродить мир в самых его основаниях и осуществить на земле задуманный им идеал. «Ожидать царства Божия» будет синонимом «быть учеником Иисуса».

Это понятие «царство Божие» или «царство небесное», как мы уже сказали, было давно знакомо иудеям. Но Иисус дал ему такой нравственный смысл и общественное значение, какое едва осмелился предвидеть в

[1] Матф., XIV, 12. — Перев.

своем апокалиптическом энтузиазме сам автор книги Даниила: в настоящем мире царствует зло, сатана — «князь мира сего», и все ему повинуется. Цари убивают пророков. Жрецы и книжники не делают сами того, что они приказывают делать другим. Праведных преследуют, и единственный удел добрых — слезы. Таким образом, мир — враг Бога и его святых; но Бог пробудится и отомстит за своих святых. День близок, ибо мерзость достигла *своего апогея; наступит черед царства добра. Наступление этого царства добра будет великой внезапной* революцией; мир будет казаться опрокинутым. Так как настоящее плохо, то для того, чтобы вообразить будущее, достаточно представить почти противоположное тому, что есть теперь. Первые будут последними. Человечеством будет править новый порядок. Теперь добро и зло смешаны, как плевелы и доброе зерно в поле. Господин позволяет им расти вместе; но наступит час жестокого разделения. Царство божие будет как бы великой тоней, приносящей добрую и дурную рыбу. Хорошую кладут в кувшины, а остальную выбрасывают. Зародыш этой великой революции сначала будет неузнаваем. Он будет, как горчичное зерно, которое меньше всех семян, но которое, будучи брошено в землю, делается деревом, и под его листвою отдыхают птицы. Или он будет закваскою, которая, будучи положена в тесто, заставляет его бродить. Ряд часто темных притч предназначался для выражения нечаянности и внезапности этого пришествия, его кажущихся несправедливостей и его неизбежного и решительного характера.

Кто создаст это царство божие? Вспомним, что первою мыслью Иисуса, мыслью очень глубокой и шедшей не извне, а коренившейся в самом его существе, было, что он — сын божий, близкий к своему отцу и исполнитель его хотений. Таким образом, ответ Иисуса на подобный вопрос не мог быть нерешительным. Убеждение, что он заставит царствовать Бога, бесповоротно охватило его существо. Он стал смотреть на себя, как на мирового реформатора. Небо, земля, вся природа, безумие, болезнь и смерть — только орудие для него. В приступе героического хотения Иисус считает себя всемогущим. Если земля не приготовит себя к этому верховному преобразованию, она будет истерзана, очищена огнем и дыханием божиим. Будет создано новое небо, и весь мир будет населен божиими ангелами.

Итак, коренная революция, обнимающая все до самой природы, — такова была основная мысль Иисуса. С этих пор, он, конечно, отказался от политики, пример Иуды Голонита показал ему бесполезность народных мятежей. Он никогда не помышлял о том, чтобы бунтовать против римлян и тетрархов. Необузданный и анархический принцип Голонита не был его принципом. Его, в сущности ироническая, покорность предержащим власть была полной по форме. Во избежание скандала он платит подать Цезарю. — В этом мире нет свободы и права, зачем же тревожить свою жизнь напрасными столкновениями. Презирая землю, убежденный, что настоящий мир не заслуживает того, чтобы о нем заботились, Иисус удалился в свое идеальное царство; он основал это великое учение высшего пренебрежения (transcendent dedain), истинное учение о свободе душ, которое только одно дает мир. Но он еще не сказал: «Царство мое не от мира сего». К его наиболее правильным воззрениям примешивалось много мрака. Иногда странные искушения овладевали его умом. В пустыне иудейской сатана предложил ему царства земные. Не зная силы римской империи, он мог, опираясь на громадный энтузиазм, существовавший в Иудее и завершившийся вскоре столь ужасным вооруженным восстанием, он мог, говорю я, мечтать об основании царства благодаря мужеству и численности своих партизанов. Быть может, несколько раз у него поднимался высший вопрос: «Осуществится ли царство божие, благодаря силе или кротости, путем ли восстания или терпения?» Говорят, что однажды простые галилейские люди захотели поднять его и провозгласить царем. Иисус убежал на гору и оставался там некоторое время один. Его прекрасная натура предохранила от ошибки, сделавшей бы из него агитатора или главаря недовольных, вроде Тедаса (Thendas), или Баркокебы.

Революция, которую хотел произвести Иисус, была исключительно нравственного характера; но он не дошел еще до того, чтобы ждать ее исполнения с помощью ангелов и последней трубы. Он желал действовать только на людей и посредством самих людей. Мечтатель, у которого не было бы никакой другой идеи, кроме близости последнего суда, не заботился бы об улучшении человека и не создал бы прекраснейшего нравственного учения для человечества. В его мысли, несомненно, оставалось еще много неопределенного; и к той величественной работе, которая осуществилась, хотя и далеко не тем способом, на который он рассчитывал, его побуждало значительно более благородное чувство, чем твердо установившееся решение.

В самом деле, он основал царство божие, — я хочу сказать, — царство духа, и если Иисус видит в лоне своего отца свое плодотворное создание, он вполне справедливо может сказать: «Вот то, чего я хотел». Что останется вечно неотъемлемым из созданного Иисусом, если исключить недостатки, которые примешиваются ко всякому делу, осуществляемому человечеством, — это учение о свободе душ. Уже в Греции относительно этого предмета существовали прекрасные идеи. Несколько стоиков нашли средство быть свободными под властью тирана. Но, в общем, древний мир представлял свободу как бы связанной с известными политическими формами. Друзьями свободы считались Гармодий и Аристогитон, Брут и Кассий. Истинный христианин гораздо более свободен от всяких цепей; он здесь — ссыльный; что ему за дело до кратковременного владыки этой земли, которая не его отечество? Свобода для него — это истина. Иисус не знал достаточно историю, так как тогда бы он понял, насколько хорошо такое учение достигало своей цели в момент, когда падала республиканская свобода, и маленькие муниципальные конституции древности умирали в единстве римской империи. Но удивительный здравый смысл и поистине пророческий инстинкт относительно своей миссии привели к этому Иисуса с чудесною верностью. Своим изречением «отдавайте кесарево Кесарю, божие Богу», он создал нечто странное в политике — убежище для людей среди владычества грубой силы. Конечно, такое учение представляло своего рода опасности. Утверждать принципиально, что для определения законной власти надо смотреть на монету; провозглашать, что совершенный человек платит налог с презрением, и кому придется — это значило разрушать республику древнего образца и покровительствовать всем тираниям. В этом отношении христианство много способствовало ослаблению чувства гражданского долга и отдало мир в абсолютную власть совершившихся фактов. Но, устраивая неизмеримую свободную ассоциацию, которая в продолжение 300 лет сумела обойтись без политики, христианство вполне вознаградило тот вред, который оно нанесло гражданским добродетелям. Государственная власть удовольствовалась земным; дух был освобожден; по крайней мере ужасная «связка» римского всемогущества была сломлена навеки.

Продолжение следует.



ИСТОРИЯ

Воспоминания. Очерки. Письма.

Подлинные страницы жизни Анны Вырубовой. Продолжение. Начало в № 9, 1989 г.

из первых уст

АННА ВЫРУБОВА

УЗНИЦА ТРУБЕЦКОГО БАСТИОНА

17 декабря утром ко мне позвонила одна из дочерей Распутина (которые учились в Петрограде и жили с отцом). Она сообщила с некоторым беспокойством, что отец не вернулся домой, уехав поздно вечером с Юсуповым. Известие это меня удивило, но особенного значения я ему не придала. Во дворце я рассказала об этом государыне. Выслушав меня, она выразила свое недоумение. Через час или два позвонил министр внутренних дел Протопопов, который сообщал, что ночью полицейский, стоявший на посту около дома Юсуповых, услышав выстрел в доме, позвонил. К нему выбежал пьяный Пуришкевич и заявил ему, что Распутин убит, и полицейский заметил военный мотор без огней, который отъехал от дома вскоре после выстрелов. Государыня приказала вызвать Лили Дэн (жену морского офицера, с которой я была очень дружна и которую государыня очень любила). Мы сидели вместе в кабинете императрицы, очень расстроенные, ожидая дальнейших известий. Сперва звонил великий князь Дмитрий Павлович, прося позволения приехать к чаю в пять часов. Императрица, бледная и задумчивая, отказала ему. Затем звонил Феликс Юсупов и просил позволения приехать с объяснением, то к государыне, то ко мне; звал меня несколько раз к телефону; но государыня не позволила мне подойти, а ему приказала передать, что объяснение он может прислать ей письменно. Вечером принесли государыне знаменитое письмо Юсупова, где он именем князей Юсуповых клянется, что Распутин в этот вечер не был у них. Распутина он действительно видал несколько раз, но не в этот вечер. Вчера у него была вечеринка, справляли новоселье и перепились, а уходя Дмитрий Павлович убил на дворе собаку. Государыня сейчас же послала это письмо министру юстиции. Кроме того, государыня приказала Протопопову продолжать расследование дела и вызвала военного министра, генерала Беляева (убитого впоследствии большевиками).

18 декабря.

Государыня и я причащались Св. Таин в походной церкви Александровского дворца, где по этому случаю была отслужена литургия. Государыня не пустила меня вернуться к себе, и я ночевала в одной из комнат на 4-м подъезде Александровского дворца.

19 декабря

Жуткие дни. Утром Протопопов дал знать, что тело Распутина найдено. Полиция в доме Юсуповых на следующее утро после убийства напала на широкий кровяной след у входа и на лестнице и на признаки того, что здесь происходило что-то необычайное. На дворе они в самом деле нашли убитую собаку, но рана на голове не могла дать такого количества крови... Вся полиция в Петрограде была поднята на ноги. Сперва у проруби на Крестовском острове нашли галошу Распутина, а потом водолазы наткнулись на его тело: руки и ноги были запутаны веревкой; правую руку он высвободил, когда его кидали в воду, пальцы были сложены крестом. Тело перевезли в Чесменскую богадельню, где было произведено вскрытие. Несмотря на многочисленные огнестрельные раны и огромную рваную рану в левом боку, сделанную ножом или шпорой, Григорий Ефимович был еще жив, когда его кинули в прорубь, так как легкие были полны водой.

Когда в столице узнали об убийстве Распутина, все сходили с ума от радости; ликованию общества не было пределов, друг друга поздравляли: «Зверь был раздавлен, — как выражались, — злого духа не стало». От восторга впадали в истерику.

Протопопов спрашивал совета ее величества по телефону, где Распутина похоронить. Впоследствии он надеялся отправить тело в Сибирь, но сейчас же сделать это не советовал, указывая на возможность по дороге беспорядков. Решили временно похоронить в Царском Селе, весной же перевезти на родину. Отпевали в Чесменской богадельне, и в 9 часов утра в тот же день, 21 декабря, одна сестра милосердия привезла на моторе гроб Распутина. Его похоронили около парка, на земле, где я намеревалась построить убежище для инвалидов. Приехали их величества с княжнами, я и два или три человека посторонних. Гроб был уже опущен в могилу, когда мы пришли; духовник их величеств отслужил краткую панихиду и стали засыпать могилу. Стояло туманное, холодное утро, и вся обстановка была ужасно тяжелая: хоронили даже не на кладбище. Сразу после панихиды мы уехали. Дочери Распутина, которые совсем одни присутствовали на отпевании, положили на грудь убитого икону, которую государыня привез из Новгорода. Государыня не плакала часами над его телом, и никто не дежурил у гроба из его поклонниц.

Государь, вернувшись из ставки 20-го числа, все повторял: «Мне стыдно перед Россией, что руки моих родственников обагрены кровью мужика».

Если они раньше чуждались великих князей, расходясь с ними во взглядах, то теперь их отношения совсем оборвались. Их величества ушли как бы в себя, не желая ни слышать о них, ни их видеть.

Но Юсуповы и компания не окончили своего дела. Когда все их превозносили, они чувствовали себя героями. Вел. кн. Александр Михайлович отправился к министру юстиции Добро-

вольскому и, накричав на него, стал требовать от имени великих князей, чтобы дело это было прекращено. В день приезда государя в Царское Село сей великий князь заявился со старшим сыном во Дворец. Оставив сына в приемной, он вошел в кабинет государя и также от имени семьи требовал прекращения следствия по делу убийства Распутина; в противном случае оба раза он грозил чуть ли не падением престола. Великий князь говорил так громко и дерзко, что голос его слышали посторонние, так как он почему-то и дверь не притворил в соседнюю комнату, где ожидал его сын. Государь передавал, что он не мог сам оставаться спокойным, так его возмутило поведение великого князя; но в минуту разговора он безмолвствовал. Государь выслал великих князей Дмитрия Павловича и Николая Михайловича, а также Юсупова из Петрограда. Несмотря на мягкое наказание, среди великих князей поднялась целая буря озлобления. Государь получил письмо, подписанное всеми членами императорского дома, с просьбой оставить вел. кн. Дмитрия Павловича в Петрограде по причине его слабого здоровья. Государь написал на нем: «Никому не дано право убивать». До этого государь получил письмо от вел. кн. Дмитрия Павловича, в котором он, вроде Юсупова, клялся, что он ничего не имел общего с убийством.

Расстроенный, бледный и молчаливый, государь почти не разговаривал, и мы никто не смели беспокоить его. Через несколько дней государь принес в комнату императрицы перехваченное Министерством внутренних дел письмо княгини Юсуповой, адресованное великой княжне Ксении Александровне. Вкратце содержание письма было следующее. Она (Юсупова), как мать, конечно, грустит о положении своего сына, но «Сандро» (вел. князь Александр Михайлович) спас все положение; она только сожалела, что в этот день они не довели своего дела до конца и не убрали всех, кого следует... Теперь остается только «Ее» (большими буквами) запереть. По окончании этого дела, вероятно, вышлют Николашу и Стану (вел. князя Николая Николаевича и Анастасию Николаевну) в Першино, их имение... Как глупо, что выслали бедного Николая Михайловича!

Государь сказал, что все это так низко, что ему противно этим заниматься. Императрица же сидела бледная, смотря перед собой широко раскрытыми глазами... Принесли еще две телеграммы их величествам. Близкая их родственница «благословляла» Феликса на патриотическое дело. Это постыдное сообщение совсем убило государыню; она плакала горько и безутешно, и я ничем не могла успокоить ее.

Я ежедневно получала грязные анонимные письма, грозившие мне убийством и т. п. Императрица немедленно велела мне переехать во дворец, и я с грустью покинула свой домик, не зная, что уже никогда туда не возвращусь. По приказанию их величеств с этого дня каждый шаг мой оберегался; даже по дворцу меня не пускали ходить одной, не разрешили присутствовать и на свадьбе дорогого брата.

Мало-помалу жизнь во дворце вошла в свою колею. Государь читал по вечерам нам вслух. На рождество были обычные елки во дворце и в лазаретах; их величества дарили подарки окружающей свите и прислуге; но великим князьям в этот год они не посылали подарков. Несмотря на праздник, их величества были очень грустны: они переживали глубокое разочарование в близких и родственниках, которым ранее доверяли и любили, и никогда, кажется, государь и государыня всероссийские не были так одиноки. Преданные их же родственниками, оклеветанные людьми, которые в глазах всего мира назывались представителями России, их величества имели около себя только несколько преданных друзей, да министров, ими назначенных, которые все были осуждены общественным мнением. Всем им ставилось в вину, что они были назначены Распутиным. Но это сущая неправда.

Штюрмер, назначенный премьером, был рекомендован государю еще после убийства Плеве (см. гр. Витте, стр. 288). Он принадлежал к старому дворянству Тверской губернии, а не был из немецких выходцев.

Протопопов был назначен лично государем под влиянием хорошего впечатления, которое он произвел на его величество после его поездки за границу в должности товарища председателя Государственной Думы. «Тем более, — писал государь, — что я всегда мечтал о министре внутренних дел, который будет работать совместно с Думой...»

Протопопов, выбранный земствами, товарищ Родзянко. Я не могу забыть удивление и возмущение государя, когда начались интриги; однажды, за чаем, ударив рукою по столу, государь воскликнул: «Протопопов был хорош и даже был выбран Думой и Родзянко делегатом за границу; но стоило мне назначить его министром, как он считается сумасшедшим!» Под влиянием интриг, Протопопов стал очень нервным, а мне казался кроме того очень слабохарактерным. Во время революции он сам пришел в Думу, где его и арестовали по приказанию Родзянко.

Маклаковым государь был очарован и говорил: «Наконец я нашел человека, который понимает меня и с которым я могу работать». Но настало время, когда великий князь Николай Николаевич и другие стали требовать его удаления, и по рассказам самого Маклакова, которые мне передавали, государь лично ему об этом сообщил на докладе. Маклаков расплакался... Он был один из тех, которые горячо любили государя, не только как царя, но и как человека, и был ему беззаветно предан.

Генерала Сухомлинова государь уважал и любил еще до его назначения военным министром. Блестяще проведенная мобилизация в 1914 году доказывает, что Сухомлинов не бездействовал. Главными его врагами были: вел. князь Николай Николаевич, генерал Поливанов и знаменитый Гучков. Сухомлинову приписывалось бесконечное множество злодеяний. Английский писатель Вильтон говорит о нем: «Зачем гнали армию на южном фронте так отчаянно вперед, когда не было надежды получить достаточное количество снарядов. Ответ можно найти в полном несогласии между штабом верховного главнокомандующего и военным министерством». Генерала Сухомлинова арестовали еще при государе и заключили в крепость. Затем, во время революции, судили и приговорили к пожизненной каторге.

Я просидела 4 месяца в Петропавловской крепости рядом с г-жей Сухомлиновой, которую раньше не знала. В страшные длинные ночи, когда мы всецело были в руках караула, ее стойкость и самообладание не раз спасали нас от самого худшего: солдаты уважали ее и боялись безобразничать. Она всегда занималась, читала, писала, когда позволяли, и из черного хлеба лепила прелестные цветы, краску брала с синей полосы на стене и кусочка красной бумаги, в которой был завернут чай. Суд оправдал ее и она вышла при рукоплескании всего зала. Во время амнистии г-же Сухомлиновой удалось освободить ее престарелого мужа, перевезти его в Финляндию. После стольких несчастий, которые они перенесли вместе, г-жа Сухомлинова оставила своего мужа, и вышла замуж за молодого грузина. Их обоих расстреляли большевики.

Много было разговоров и о митрополите Питириме, будто бы назначенном Распутиным. Государь познакомился с ним в 1914 году во время посещения Кавказа. Митрополит Питирим был тогда экзархом Грузии. Государь и свита были очарованы им, и когда мы в декабре встретились с государем в Воронеже, я помню, как государь говорил, что предназначает его при первой перемене митрополитом Петроградским.

Митрополит Питирим был очень осторожен и умен. Их величества его уважали, но никогда не приближали его к себе. Когда он раз или два был у их величеств, темой разговора, как они рассказывали мне, была грузинская церковь, которая, по его словам, недостаточно поддерживалась Синодом, хотя в сущности была первой по времени христианской церковью в России. Митрополит Питирим, видимо, всей душой любил Грузию, где и он был очень любим. Он же первый завел речь о «приходах». Эти вопросы очень интересовали их величества, но они откладывали все вопросы до окончания войны.

После моего ареста временным правительством, одним из тяжелых оскорблений, которое вынесла моя бедная мать от Керенского, была клевета, что «все бриллианты, которые я имею, это подарки митрополита Питирима!»

Во время этих тяжких переживаний пришло известие об отречении государя. Я не могла быть с государыней в эту ужасную минуту и увидела ее только на следующее утро. Лили Дэн рассказывала мне, как великий князь Павел Александрович приехал с этим страшным известием и как после разговора с ним императрица, убитая горем, вернулась к себе и г-жа Дэн кинулась ее поддержать, так как она чуть не упала. Опираясь на письменный стол, государыня повторяла: «abdiqué» (Лиля не говорила тогда по-английски). «Мой бедный, дорогой, страдает совсем один... Боже, как он должен страдать!» Все сердце и душа государыни были с ее супругом; она опасалась за его жизнь и боялась, что отнимут у нее сына. Вся надежда ее была на скорое возвращение государя: она посылала ему телеграмму за телеграммой, умоляя его вернуться как можно скорее. Но телеграммы эти возвращались ей с телеграфа с надписью синим карандашом, что «местопребывание адресата неизвестно». Но и эта дерзость не поколебала ее душевного равновесия. Войдя ко мне, она с грустной улыбкой показала мне телеграмму, но, посмотрев на меня, пришла в раздражение, что я, узнав об отречении государя от моих родителей, обливалась слезами, раздражалась не тем, что я плакала, а тем, что родители не исполнили ее волю, так как накануне она просила их не говорить об этом, думая сама подготовить меня. Но, оставшись одна, императрица ужасно плакала. «Мама убивалась, — говорила Мария Николаевна, — и я тоже плакала, но после, ради мамы, я старалась улыбаться за чаем».

Никогда я не видела и, вероятно, никогда не увижу подобной нравственной выдержки, как у ее величества и ее детей. «Ты знаешь, Аня, с отречением государя все кончено для России, — сказала государыня, — но мы не должны винить ни русский народ, ни солдат: они не виноваты».

Ольга и Татьяна и Алексей Николаевич стали поправляться, как заболела последняя — Мария Николаевна. Императрица распорядилась, чтобы меня перенести наверх, в бывшую детскую государя, так как не хотела проходить по пустым залам, откуда все караулы и слуги ушли. Фактически мы были арестованы. Уехали и мои родители, так как от моего отца требовали, чтобы он сдал канцелярию, и князь Львов дал ему отставку.

Дни проходили, и не было известия от государя, ее величество приходила в отчаяние. Одна скромная жена офицера вызвалась доставить государю письмо в Могилев и провезла благополучно; как она проехала и прошла к государю, — не знаю. Императрица спала совсем одна во всем нижнем этаже; с трудом удалось г-же Дэн испросить разрешение ложиться рядом в кабинете. Пока младшие княжны не заболели, одна из них ложилась на кровать государя, другая на кушетку, чтобы не оставлять мать совсем одну.

В первый вечер после перехода дворца в руки революционных солдат мы услышали стрельбу под окнами. Камердинер Волков пришел с докладом, что солдаты забавляются охотою в парке на любимых диких коз государя. Жуткие часы мы переживали. Пока кучки пьяных и дерзких солдат расхаживали по дворцу, императрица уничтожала все дорогие ей письма и дневники и собственноручно сожгла у меня в комнате шесть ящиков своих писем ко мне, не желая, чтобы они попали в руки злодеев.

Наше беспокойство о государе окончилось утром 9-го марта. Я лежала еще больная, доктор Боткин (расстрелян большевиками в Екатеринбурге вместе с царской семьей) только что посетил меня, как дверь быстро отворилась, и в комнату влетела г-жа Дэн, вся раскрасневшаяся от волнения. «Он вернулся!» — воскликнула она и, запыхавшись, начала мне описывать приезд государя, без обычной охраны, но в сопровождении вооруженных солдат. Государыня находилась в это время у Алексея Николаевича. Когда мотор подъехал к дворцу, она, по словам г-жи Дэн, радостная выбежала навстречу царю; как пятнадцатилетняя девочка, она быстро спустилась с лестницы и бежала по длинным коридорам. В эту первую минуту радостного свидания, казалось, было позабыто все пережитое и неизвестное будущее... Но потом, как я впоследствии узнала, когда их величества остались одни, государь, всеми оставленный и со всех сторон окруженный изменой, не мог не дать воли своему горю и своему волнению, и как ребенок рыдал перед своей женой.

Только в 4 часа дня пришла государыня, и я тотчас поняла по ее бледному лицу и сдержанному выражению все, что она в эти часы вынесла. Гордо и спокойно она рассказала мне о всем, что было. Я была глубоко потрясена ее рассказом, так как за все 12 лет моего пребывания при дворе я только три раза видела слезы в глазах государя. «Он теперь успокоился, — сказала она, — и гуляет в саду; посмотри в окно!» Она подвела меня к окну. Я никогда не забуду того, что увидела, когда мы обе, прижавшись друг к другу, в горе и смущении выглянули в окно. Мы были готовы сгореть от стыда за нашу бедную родину. В саду, около самого дворца, стоял царь всея Руси и с ним преданный друг его, князь Долгорукий. Их окружало 6 солдат, вернее, 6 вооруженных хулиганов, которые все время толкали государя, то кулаками, то прикладами, как будто бы он был какой-то преступник, прикрикивая: «Туда нельзя ходить, г. полковник, вернитесь, когда вам говорят!» Государь совершенно спокойно на них посмотрел и вернулся во дворец.

У меня потемнело в глазах, и я лишилась чувства. Но государыня не потеряла самообладания. Она уложила меня в постель, принесла холодной воды, и, когда я открыла глаза, я увидала перед собой ее и чувствовала, как она нежно мочила мне голову холодной водой. Нельзя было вообразить, видя ее такой спокойной, как глубоко была она потрясена всем виденным в окно. Перед тем, как меня покинуть, она сказала мне, как ребенку: «Если ты обещаешь быть умницей и не будешь плакать, то мы придем оба к тебе вечером».

И в самом деле, они оба пришли после обеда, вместе с г-жей Дэн. Государыня и г-жа Дэн сели к столу с рукоделием, а государь сел около меня и начал мне рассказывать. Государь Николай II был доступен, конечно, как человек, всем человеческим слабостям и горестям, но в эту тяжелую минуту его глубокой обиды и унижения я все же не могла убедить себя в том, что восторжествуют его враги; мне не верилось, что государь, самый великодушный и честный из всей семьи Романовых, будет осужден стать невинной жертвой своих родственников и подданных. Но царь с совершенно спокойным выражением глаз подтвердил все это, добавив еще, что «если бы вся Россия на коленях просила его вернуться на престол, он бы никогда не вернулся». Слезы звучали в его голосе, когда он говорил о своих друзьях и родных, которым он больше всех доверял и которые оказались соучастниками в низвержении его с престола. Он показал мне телеграммы Брусилова, Алексеева и других генералов, членов его семьи, в том числе и Николая Николаевича: все просили его величество на коленях: для спасения России отречься от престола. Но отречься в пользу кого? В пользу слабой и равнодушной Думы? Нет, в собственную их пользу, дабы, пользуясь именем и царственным престижем Алексея Николаевича, правило бы и обогащалось выбранное им регентство!.. Но, по крайней мере, этого государь не допустил! «Я не дам им моего сына, — сказал он с волнением. — Пусть они выбирают кого-нибудь другого, например, Михаила, если он почтет себя достаточно сильным!»

Я жалею, что не запомнила каждое слово государя, все же я помню, как мне государь сказал, что, когда депутаты отбыли, он сказал своим конвойным казакам: «Теперь вы должны сорвать с себя мои вензеля». На это оба казака, став во фронт, ответили: «Ваше величество, прикажите их убить». На что государь ответил: «Теперь поздно!» Говорил государь также и о том, насколько его утешил приезд из Киева государыни императрицы Марии Феодоровны, но что он не мог выносить великого князя Александра Михайловича.

Когда государь с государыней Марией Феодоровной уезжали из Могилева, взорам его представилась поразительная картина: народ стоял на коленях на всем протяжении от дворца до вокзала. Группа институток прорвала кордон и окружила царя, прося его дать им последнюю памятку — платок, автограф, пуговицу с мундира и т. д. Голос его задрожал, когда он об этом говорил. «Зачем вы не обратитесь с воззванием к народу, к солдатам», — спросила я. Государь ответил спокойно: «Народ сознавал свое бессилие, а ведь тем временем могли бы умертвить мою семью. Жена и дети — это все, что у меня осталось! Их злость направлена против государыни, но ее никто не тронет, разве только перешагнув через мой труп»... Дав волю своему горю, государь тихо проговорил: «Нет правосудия среди людей. Видите ли, это все меня очень взволновало, так что все последующие дни я не мог даже вести своего дневника».

Я поняла, что для России теперь все кончено. Армия разложилась, народ нравственно совсем упал, и моему взору уже предносились те ужасы, которые нас всех ожидали. Я спросила государя, не думает ли он, что все эти беспорядки непродолжительны. «Едва ли раньше двух лет все успокоится», — было его ответ. Но что ожидает его, государыню и детей? Этого он не знал. Единственно, что он желал и о чем был готов просить своих врагов, не теряя своего достоинства, — это не быть изгнанным из России. «Дайте мне здесь жить с моей семьей самым простым крестьянином, зарабатывающим свой хлеб, — говорил он. — Пошлите нас в самый укромный уголок нашей родины, но оставьте нас в России». Это был единственный раз, когда я видела русского царя подавленным случившимся: все последующие дни он был спокоен.

Ежедневно смотрела из окна, как он сгребал снег с дорожки, как раз против моего окна. Дорожка шла вокруг лужайки; и князь Долгорукий, и государь разгребали снег навстречу друг другу; солдаты и какие-то прапорщики ходили вокруг них. Часто государь оглядывался на окно, где сидели императрица и я, незаметно для других улыбался нам или махал рукой. Я же в одиночестве невыносимо страдала, предчувствуя новое унижение для царственных узников. Императрица приходила ежедневно днем; и я с ней отдыхала, она была всегда спокойна. Вечером же их величества приходили вместе. Государь привозил государыню в кресле, к вечеру она утомлялась. Я начала вставать; мы сидели у круглого стола; императрица работала, государь курил и разговаривал, болел душой о гибели армии с уничтожением дисциплины.

Многое вместе вспоминали...

Раз он с усмешкой рассказывал, как один из прапорщиков во время прогулки держал себя очень нахально, стараясь оскорбить государя, и как он был ошеломлен, когда после прогулки государь, как бы не заметив протянутую им руку, не подал ему своей руки.

Каждый вечер от меня их величества заходили к оставшейся свите. При их величествах остались граф и графиня Бенкендорф (графиня пришла во дворец, когда его уже окружили революционные солдаты), фрейлина баронесса Буксгевден, графиня Гендрикова, госпожа Шнейдер и граф Фредерикс; генерал Воейков и генерал Гротен были уже арестованы, единственные флигель-адъютанты Линевич и граф Замойский, которые до последней минуты не покидали государыню, вынуждены были уйти, и вернуться им не разрешали. Н. Саблина, самого их близкого друга, ее величество и дети все время ожидали, но он не появлялся, и другие все тоже бежали. Остались преданные учителя Алексея Николаевича, Жиллиард и Гиббс, некоторые из слуг, все няни, которые заявили, что они служили в хорошее время и никогда не покинут семью теперь, оба доктора, Е. Боткин и В. Деревенко. Вообще все личные государыни, так называемая половина ее величества, все до одного человека, начиная с камердинеров и кончая низшими служащими, все остались. У государя же, кроме верного камердинера Чемодурова, почти никого не осталось.

Комендантом дворца был назначен П. Коцебу, бывший офицер Уланского ее величества полка, за некрасивые истории оттуда прогнанный. Я знала его с детства и была рада, что он,

а не другой, был назначен, так как у него было доброе сердце и он любил их величества. Он часто заходил ко мне, отвез даже письма моим родителям в Петроград и первый предупредил, что меня увезут, как только я поправлюсь. Ее величество умоляла Коцебу оказать содействие, указав, что разлука со мной в эту тяжелую минуту была бы равносильна разлуке с одним из ее детей. Коцебу отвечал уклончиво, — да он ничего и не мог сделать. Фельдшерица из моего лазарета, которая одна осталась при мне, кинулась перед их величествами на колени, умоляя их взять меня в комнату их детей и не отдавать: «Теперь, — говорила она сквозь слезы, — минута показать вашу любовь к Анне Александровне». Государь, улыбнувшись, сказал ей, что напрасно она беспокоится. Граф Бенкендорф сказал государю, что надо скорее отдавать меня, так как это лучше для государыни; что меня будут держать только в министерском помещении Думы, где очень хорошо.

19 марта утром я получила записку от государыни, что Мария Николаевна умирает и зовет меня. Посланный передал, что очень плоха и Анастасия Николаевна; у обеих было воспаление легких, а последняя, кроме того, оглохла по причине воспаления уха. Коцебу предупредил меня, что, если я встану, меня сейчас же уведут. Одну минуту во мне боролись чувства жалости к умирающей Марии Николаевне и страх за себя, но первое взяло верх, я встала, оделась, и Коцебу в кресле повез меня верхним коридором на половину детей, которых я целый месяц не видала. Радостный крик Алексея Николаевича и старших девочек заставил меня все забыть. Мы кинулись друг к другу, обнимались и плакали. Потом на цыпочках пошли к Марии Николаевне. Она лежала белая, как полотно; глаза ее, огромные от природы, казались еще больше, температура была 40,9, она дышала кислородом. Когда она увидела меня, то стала делать попытки приподнять голову и заплакала, повторяя: «Аня, Аня». Я осталась с ней, пока она не заснула. Когда меня везли обратно мимо детской Алексея Николаевича, я увидела матроса Деревенько, который, развалившись на кресле, приказывал наследнику подать ему то то, то другое. Алексей Николаевич с грустными и удивленными глазками бегал, исполняя его приказания. Этот Деревенько пользовался любовью их величеств: столько лет они баловали его и семью его, засыпая их подарками. Я умоляла, чтобы меня скорее увезли.

На другой день, мой последний день в Царском Селе, я опять пошла к детям, и мы были счастливы быть вместе. Их величества завтракали в детской и были спокойнее, так как Мария Николаевна и Анастасия Николаевна чувствовали себя лучше. Вечером, когда их величества пришли ко мне, в первый раз настроение у всех было хорошее; государь подтрунивал надо мною, мы вспоминали пережитое и надеялись, что господь не оставит нас, лишь бы нам всем быть вместе.

21 марта я с утра очень нервничала, я узнала, что Коцебу не пропускают солдаты во дворец, вероятно, за его гуманное отношение к арестованным, а тут еще доктора принесли мне из ряду вон выходящую газетную статью, в которой говорилось, что я, с доктором Бадмаевым, которого, между прочим, не знала, «отравляю государя и наследника». Императрица вначале сердилась на грязные и глупые статьи в газетах, но потом с усмешкой мне сказала: «Собирай их для своей коллекции».

Стоял сумрачный, холодный день, завывал ветер. Я написала утром государыне записку, прося ее, не дожидаясь наступления дня, зайти ко мне утром. Она ответила мне, чтобы я к двум часам пришла в детскую, а сейчас у них доктора. Лили Дэн позавтракала со мной. Я лежала в постели. Около часу вдруг поднялась суматоха в коридоре, слышны были быстрые шаги. Я вся похолодела и почувствовала, что это идут за мной. Перво-наперво прибежал наш человек Евсеев с запиской от государыни: «Керенский обходит наши комнаты, — с нами Бог». Через минуту Лили, которая меня успокаивала, сорвалась с места и убежала. Скороход доложил, что идет Керенский. Окруженный офицерами, в комнату вошел с нахальным видом маленького роста бритый человек, крикнув, что он министр юстиции и чтобы я собралась ехать с ним сейчас в Петроград. Увидав меня в кровати, он немного смягчился и дал распоряжение, чтобы спросили доктора, можно ли мне ехать; в противном случае обещал изолировать меня здесь еще на несколько дней. Граф Бенкендорф послал спросить доктора Боткина. Тот, заразившись общей паникой, ответил: «Конечно, можно». Я узнала после, что государыня, обливаясь слезами, сказала ему: «Ведь у вас тоже есть дети, как вам не стыдно!» Через минуту какие-то военные столпились у дверей, я быстро оделась с помощью фельдшерицы и, написав записку государыне, послала ей мой большой образ Спасителя. Мне, в свою очередь, передали две иконы на шнурке от государя и государыни с их подписями на обратной стороне. Я обратилась с слезной просьбой к коменданту Коровиченко дозволить мне проститься с государыней. Государя я видела в окно, как он шел с прогулки, почти бежал, спешил, но его больше не пустили. Коровиченко (который во время большевиков погиб ужасной смертью) и Кобылинский проводили меня в комнату Е. Шнейдер, которая, увы, встретила меня улыбкой и... улыбаясь, вышла. Я старалась ничего не замечать и не слыхать, а все внимание устремила на мою возлюбленную государыню, которую камердинер Волков вез на кресле. Ее сопровождала Татьяна Николаевна. Я издали увидела, что государыня и Татьяна Николаевна обливаются слезами; рыдал и добрый Волков. Одно длинное объятие, мы успели поменяться кольцами, а Татьяна Николаевна взяла мое обручальное кольцо. Императрица сквозь рыдания сказала, указывая на небо: «Там и в Боге мы всегда вместе». Я почти не помню, как меня от нее оторвали. Волков все повторял: «Анна Александровна, никто — как Бог!»

Посмотрев на лица наших палачей, я увидела, что и они в слезах. Меня почти на руках снесли к мотору; на подъезде собралась масса дворцовой челяди и солдат, и я была тронута, когда увидела среди них несколько лиц плакавших. В моторе, к моему удивлению, я встретила Лили Дэн, которая мне шепнула, что ее тоже арестовали. К нам вскочили несколько солдат с винтовками. Дверцы затворял лакей Седнев, прекрасный человек из матросов «Штандарта» (впоследствии был убит в Екатеринбурге). Я успела шепнуть ему: «Берегите их величества!» В окнах детских стояли государыня и дети: их белые фигуры были едва заметны.

У меня кружилась голова от слабости и волнения. Через несколько минут мы очутились в царском павильоне*, в комнате, где я так часто встречала их величества. Нас ожидал министерский поезд, — поезд Керенского. У дверей купе встали часовые. Участливые взгляды некоторых солдат железнодорожного полка, и то, как они бережно помогли мне войти, чуть не заставило меня потерять самообладание. Влетел Керенский с каким-то солдатом и крикнул на меня и на мою подругу, чтобы мы назвали свои фамилии. Лили не сразу к нему повернулась. «Отвечайте, когда я с вами говорю», — закричал он. Мы в недоумении на него смотрели. «Ну, что, вы довольны теперь?» — спросил Керенский солдата, когда мы, наконец, назвали наши фамилии. Затем они вышли, и мы к счастью остались одни; мне было дурно, и я боялась упасть в обморок и тем доставить лишнее удовольствие моим мучителям. Лили поила меня каплями. По приезде в город нас заставили пройти мимо Керенского, который сидел с каким-то господином и иронически на нас смотрел; нас посадили в придворное ландо, которое теперь обслуживает членов Временного правительства. С нами сели какие-то офицеры; мы просили их открыть окно, но они не разрешили.

Мрачным нам показался город; везде беспорядочная толпа солдат, у лавок длинные очереди, а на домах везде грязные красные тряпки. Подъехали к министерству юстиции. Там высокая, крутая лестница, — было трудно подыматься на костылях. Ноги тряслись от слабости. Офицеры привели нас в комнату на третьем этаже без мебели, с окном во двор; после внесли два дивана; грязные солдаты встали у двери. Я легла, усталая и убитая горем. Темнело...

Вечером влетел Керенский и спросил Лили, став спиной ко мне, топили ли печь. Он вышел. Нам принесли чай и яйца и затопили печь. Конвойный солдат Преображенского полка оказался добрым и участливым. Он жалел нас и, когда не было посторонних, бранил новые порядки, говоря, что ничего доброго не выйдет. Мы не спали, ночь тянулась, нам было холодно и страшно.

Начало рассветать. Я так устала и настолько плохо себя чувствовала, что Лили попросила доктора. Но пришел офицер от Керенского с заявлением, что доктор занят с военным министром Гучковым, но что меня отвезут в лазарет, где будет хорошее помещение, врач и сестра. Что же касается Лили, то ее ожидает приятная новость (и в самом деле Лили отпустили через день). Я отдала Лили Дэн некоторые золотые вещи; она же дала мне полотенце и пару чулок, которые я носила все время в крепости. Солдатские чулки я не могла надевать на свои больные ноги и за неимением платка или тряпки мочила эти грубые чулки и прикладывала на сердце, когда бывали припадки. Чулки Лили совершенно изорвались, но штопать их я не могла, так как иметь при себе нитки и иголки не разрешалось.

Продолжение следует.

* На Царскосельском вокзале (примеч. ред.).

МИХАИЛ ВОСТРЫШЕВ

ЗАГОВОР ПРОТИВ ОТЦА

современная историческая повесть

«Апоплексический удар» — вторая повесть Михаила Вострышева. Первая («Юродивый доктор») показывает жизнь униженных и оскорбленных царской России первой половины XIX века, *вторая* («Апоплексический удар»; журнальный вариант названия — «Заговор против отца») — высшую знать во главе с императрицей Екатериной, императорами Павлом I и Александром I. Этот своеобразный взгляд по *вертикали, достаточно пристальный, приметливый,* заставляет о многом задуматься и меня, современного читателя, загруженного совсем другими заботами.

Повесть «Юродивый доктор» предваряет на редкость точный и емкий эпиграф из А. Герцена: «Когда бы люди захотели вместо того, чтобы спасать мир, спасать себя; вместо того, чтобы освобождать человечество, себя освобождать, — как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человека!»

Главный герой этой повести — Федор Петрович Гааз, доктор московских тюремных больниц, действительный статский советник, жил именно так, как размышлял об этом Герцен. Одно только уточнение: Федор Петрович «спасал» себя деятельно, защищая отверженных, жил бессребреником и умер, оставив после себя только подзорную трубу.

А жил он всегда в трудах и заботах о других. Строил больницы, хлопотал за невинно осужденных, выпрашивал пожертвования на арестантов, добивался пересмотров и т. д. Благородный и самоотверженный, этот человек был к тому же и примером высокой нравственности, особенно целительным для преступников, среди которых он жил и работал.

«Апоплексический удар» — повесть о жизни русских императоров *и придворной знати, о сложных и подчас судьбоносных* интригах при императорском дворе, о фаворитах властителей... У Екатерины это сперва Орловы, потом Потемкин, еще кто-то, а в конце жизни Платон Зубов, ничтожный и претенциозный. *У Павла — камердинер и парикмахер,* возведенный в графское достоинство Кутайсов, здесь же мелькает зловещая фигура Аракчеева, деятельность которого развернется позднее. Александр I в повести только начинает царствовать, но и вокруг него уже образовалась плотная свита во главе с генерал-губернатором графом Паленом, руководителем заговорщиков, которые привели Александра к власти.

Действие повести идет двумя потоками: один представляет Петербург и *жизнь императорского двора, второй* — провинцию и Москву, дворян и их челядь, толпу. В первом потоке выделяются несколько ведущих фигур: императрица и два императора, Платон Зубов, Алексей Орлов, хитрый царедворец и *воспитатель наследника Салтыков,* вице-канцлер граф Остерман, «фактотум» граф Безбородко, гофмаршал граф Федор Барятинский, уже упоминавшиеся граф Кутайсов, Пален, придворная дама Уланова и др. Во втором, провинциальном потоке запоминаются русские дворяне Анненков и его сын Иван, уехавший служить в Петербург, друг этого дома дворянин Обрезков, граф Струйский с его дворовым гаремом, опальный Суворов, лавочник немец Иоанн Рихтер и его племянник Карл, крепостная *девка Парашка... Много народу, но перенаселенности* не чувствуешь, каждому в повести нашлось сюжетное дело, каждому определена социальная роль.

Иван Анненков, приехав в Петербург, быстро возвысился благодаря тому, что его *сделала своим любовником* придворная генеральша Варвара Уланова — это одна тема. Затем молодой Иван протрезвел в столичной жизни и только стал что-то соображать, попробовал действовать самостоятельно, как попал в опалу и на четыре года угодил в Петропавловскую крепость — вторая *тема.*

Опальный Суворов живет в деревенской глуши, вроде бы всеми забытый, старый, чудаковатый, но когда России потребовался настоящий полководец, о нем вспоминает капризный *Павел,* и Суворов, *забыв обиды,* идет к войскам и выполняет свой долг. Это уже третья тема.

Сентиментальный граф Струйский пишет восторженные стихи об императрице Екатерине, и он же — владелец пыточных орудий, садист, истязающий *дворовых девок* и жестоко пытающий своего псаря Ивашку за то, что он якобы заговорил кушанья барину, отчего целую неделю у него было помрачение головы. Этот же граф продает своих крепостных любовниц, при этом торгуется, как на базаре. *Тема четвертая.*

Всевластная Екатерина лежит, агонизируя, на ковре в своей комнате, слуги уже не испытывают никакого трепета, с пальца императрицы кто-то стащил дорогой перстень, *фавориты, графы и князья уже хлопочут о новом* императоре и т. д. Это пятая и, может, самая серьезная тема — суетности и тщеты человеческой жизни.

Много тут затронуто тем и серьезных, социально важных вопросов, которые пронизывают, как нервные *волокна,* живое тело повести. И люди живые, разные, запоминающиеся. И думаю, что они будут интересны читателю...

АНАТОЛИЙ ЖУКОВ



Фото СЕМЕНА ФУРМАНА

ВОСТРЫШЕВ Михаил Иванович родился в Москве в 1950 году. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Работал грузчиком, учителем сельской школы, корреспондентом «Литературной газеты». Сейчас — редактор издательства «Современник».

В 1988 году вышла первая книга — «Старомосковские жители» (М.: Советский писатель).

ОТЪЕЗД ИЗ МОСКВЫ

1

Москва, как по множеству жителей, так и по пространству, почитается одним из знатнейших и величайших городов Европы. В пыльное летнее время здесь насчитаешь то ли двести, то ли триста тысяч жителей (считать-то поточнее лень да и ненадобно), а зимой, когда понаедут помещики с дворней и притащатся оброчные крестьяне, народу тысяч на сто поприбавится.

Это несметное число дворян, священнослужителей и простолюдинов не без труда размещается в двух тысячах каменных и восьми тысячах деревянных домов, молится в трехстах православных и полусотне иноверческих храмов, ест и пьет в семистах харчевнях и кабаках, стрижется в ста десяти цирюльнях, лечится в десяти аптеках.

Среднее годовое пропитание обходится жителю города в тридцать рублей. Но больно уж опасное это словцо — *среднее.* Десять тысяч московских дворян оскорбились бы до дуэли с равными себе, узнав, что их не выделили в особую графу, а смешали с *подлым* народом, который и жить-то *по-благородному* не умеет, и существует лишь для вечного труда.

Простолюдин привычно несет свое рабство и не завидует богатому житью высшего сословия: не нами заведено, не нам

и менять. Но однажды глаза его наливаются кровью, и тогда нет пощады никому, кто одёжей и манерами отделил себя от народа. Все же остатнее время он покорно трудится на ткацкой фабрике, перепродает сено и дрова, перевозит дикий камень для мостовой из села Хорошево, содержит харчевню на большой дороге.

Всякие люди нужны Москве: плотники, литейщики, повара, лакеи, печники, извозчики. Но особо жалуют в Первопрестольном городе каменных дел мастеров, умельцев возводить вековечные храмы, класть крепкие стены, украшать царские и господские дворцы.

Если посмотреть на Москву с холма перед Дорогомиловской заставой, взору предстанет удивительный, неповторимый город. Весь горизонт покрыт домами, и ни один не похож на соседа. Бедная бревенчатая хижина соседствует с узорчатыми каменными палатами, а недалеко от вознесшегося к Богу храма расположился вбитый в землю по окна кабак.

На возвышенном левом берегу Москвы-реки, при впадении в нее Неглинки, поднимается величаво-суровый Кремль. Его бурые стены окружили Царский и Потешный дворцы, Красное крыльцо, Грановитую и Оружейную палаты, Чудов и Вознесенский монастыри, колокольню Ивана Великого, Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы.

Ныне Кремль тих и спокоен, сохраняет в себе прах давно почивших царей и патриархов. Лишь изредка его наполняет торжественный гул — в дни народных праздников и горестей. Да еще звонят по нескольку дней кряду, когда коронуют нового императора. Последний раз отзвонили тридцать с гаком лет назад, надев корону на вдову убиенного русского императора Петра III. Екатерина тогда не поскупилась и угостила москвичей на славу. А они, неблагодарные, упившись даровым вином, злословили, что муж не без ее участия ушел в могилу и что по закону корона принадлежит Павлу Петровичу, но мамаша, за малолетством сына, смуклевала.

С тех пор Екатерина не жалует свою *азиатскую* столицу, питая ненависть к ее злым сплетням, непонятному непокорному духу и многопудовым колоколам, в один миг разносящим медную весть о кровавом бунте. Императрица с ужасом признавалась в своих тайных записках: «Я вовсе не люблю Москвы, Москва — столица безделия... Никогда народ не имел перед глазами больше предметов фанатизма, как чудотворные иконы на каждом шагу, церкви, попы, монастыри, богомольцы, нищие, воры, бесполезные слуги в домах, площади которых огромны, а дворы — грязные болота. Обыкновенно каждый дворянин имеет в городе не дом, а маленькое имение. И вот такой сброд разношерстной толпы, которая всегда готова сопротивляться доброму порядку с незапамятных времен, возмущается по малейшему поводу».

И даже то, что дорожки в ее московских дворцах посыпали песком, а фонарные столбы красили в темно-серый цвет, Екатерина считала предвозвестником ее похорон. Что ж, она в конце концов оказалась права.

Но не следует докучать москвичам долгими разговорами об императрице. Ведь не Москва царям, а цари Москве кланяются.

По правую сторону от Кремля через Москву-реку перекинулся каменный мост, а по левую — деревянный. С них хорошо видны старинные русские монастыри, в давние времена вставшие полукругом на стороже центра Московии от западных, южных и восточных соседей, время от времени любивших пополнить свою казну русскими рабами и русским хлебом. Когда же Россия окрепла и отпала нужда в толстых крепостных стенах, в монастырях расположились богадельни, инвалидные дома и даже *места заключения*, изрядно потеснив ворчливых монастырских служителей.

Но прошлое и посейчас продолжает жить за монастырскими стенами. Любопытным иноземцам и московской праздношатающейся публике в Новодевичьем с гордостью отворят келью, где у своей сестры жил отрекавшийся до поры до времени от престола боярин Борис Годунов. В Андрониковом поведут в храм Покрова, расписанный великим Рублевым. В Симоновом укажут на Старую обитель, где покоится прах иноков — героев Куликовской битвы Пересвета и Осляби.

В Москве нередки чудаки, свято хранящие память о прошлом, по камням минувших веков читающие стародавние были о славных подвигах и подлых деяниях своих предков. И удивительно: слушая предания о минувшем, нет-нет, да и вспомнится нынешний день, и не всегда в пользу последнего. Случается и еще дивнее: государи во всем своем могуществе набрасываются на прошлое, учуяв в нем крамолу, — сжигают архивы, увечат камень, рвут языки, — но не в силах уморить начисто старушку Историю, она каждый раз помаленьку поправляется и вновь набирает силу.

Так, в гордом Петербурге приказано предать забвению стрелецкие буйства столетней давности, дабы подданные невзначай не задумались: «А не попробовать ли вновь?..» Пусть лучше ходят в новоустроенный цирк, где уроженец Сардинии Доминних Ферранд забавляется со своими зверями.

Так и послушается Москва Петербурга! Да москвичи назло часами будут беседовать о милой старине. Один поведет вас в Кремль, на Соборную площадь, и будет вспоминать, что на этом месте стояли когда-то его прадед с другими стрельцами, а с Красного крыльца с криками «Любо вам, братья?!», раскачав, бросали им первых царских советников. «Любо!» — ревели в ответ стрельцы, подхватывая на пики очередного боярина. Другой укажет из окон своего дома на Сретенке на Сухареву башню, построенную Петром Великим в честь стрелецкого полковника, не изменившего в трудную для царя минуту. Третий, двуперстно крестясь, расскажет о благолепии староверческих часовен, где казненные *Петром-крокодилом* стрельцы почитаются за святых. Мученическую приняли они смерть и после нее не нашли успокоения, ибо головы их понатыкали на стенах Белого и Земляного города. «Что не зубец, то стрелец», — сложил печальную поговорку народ, и, затаив лютую обиду на власть, жаждал вновь услышать набатный гул колоколов, сзывающий московский люд на мятеж.

Но не вечно же кровушку лить. Ныне времена стали чуток подобрее, народ валом валит в Китай-город — шумный, деловой центр Москвы, примыкающий к Кремлю со стороны Красной площади. С незапамятных времен протянулись здесь торговые ряды и лавки, разместились подворья главных русских городов, Посольский, Монетный, Мытный, Гостиный дворы. По Китай-городу с раннего утра снуют люди всех сословий и наций, движутся кареты и телеги, висит неумолчный гуд.

Многое знают о народе с виду простодушные московские купцы, но таят от соседей, помня, как *за слова* драли кожу с их отцов и дедов. Ныне повеселее стало житью, насмерть забивают все реже, да и то большей частью за худые дела, а коль ненароком обмолвишься об унылом житье-бытье, побранишь начальство, то от переносчика и откупиться можно. Если же денег жалко, что ж, снимешь штаны, вкусишь гибкой лозы и, потирая седалище, воротишься в лавку.

Не жизнь настала — малина!

В последнее время пошумнее стало и в Белом городе. Граница его идет по остаткам стены, обоими концами спускавшейся к Москве-реке, а ныне за ветхостью разломанной. На ее месте, по высочайше конфирмованному плану, ныне ровными рядами высаживают тенистые липы и красавицы-березы. Скоро, очень скоро о стене из белого камня останется лишь воспоминание да площади вместо свесенных и рухнувших без посторонней помощи Никитских, Петровских, Пречистенских, Яузских ворот.

Но камень разобранной стены Белого города еще долго будет служить людям. Ведь он пошел на строительство одного из любимейших москвичами здания, их народной гордости — рассчитанного на восемь тысяч детей Воспитательного дома. Гордость эта незыблема, ведь не надменному послу, не богатому вельможе, не царскому министру отдано красивейшее здание города — незаконнорожденным, брошенным гулящими матерями младенцам. Малюток отдают привратнику без всяких допросов и рекомендаций, переодевают во все казенное и препоручают кормилице. Не только *зачатые в грехе*, но и дети замужних крепостных баб нередко попадают в Воспитательный дом. И причина расставания навеки с любимым дитятей бывает удивительной — желание, чтобы ребенок не повторил несчастной жизни в неволе своих родителей, чтобы рос свободным человеком. Ведь устав Воспитательного дома гласит: «Все воспитанные в сем доме обоего пола и дети их и потомки в вечные роды останутся вольными и никому из партикулярных людей ни под каким видом закабалены или укреплены быть не могут».

Петербургские умники, конечно же, возмущаются *безнравственностью* москвичей, решивших позаботиться о детях, *зачатых в блуде*, но жители Первопрестольной оттого еще пуще гордятся своей благотворительностью, доброхотными подаяниями.

Наперекор петербургскому двору они беспрестанно осыпают деньгами и другую народную достопримечательность, хуже зубной боли досаждающую Северной столице — Павловскую больницу для бедных. Ее построили москвичи в память об излечении от тяжелой болезни цесаревича Павла Петровича. «Освобождаяся сам от болезни о больных помышляет», — было выбито на медали с изображением Павла Петровича, отлитой москвичами в честь выздоровления сына императрицы.

Известный английский путешественник и историк Уильям Кокс, посетивший Россию в 1778 году, оставил обстоятельное описание московской больницы, удивившей бережной заботой о бедных даже чистоплотного лондонца: «...Это деревянное одноэтажное здание содержит двенадцать палат, лабораторию, аптеку и две комнаты для аптекаря, доктор и хирург помещаются в отдельных зданиях. Эта больница рассчитана на пятьдесят два человека, в самой большой палате, длиною в сорок семь футов и шириною двадцать два фута, стоит десять кроватей, смотря по величине комнаты, в каждом окне сделаны маленькие вентиляторы. Все комнаты оклеены обоями, у постелей — холщовые занавеси; занавеси и одеяла стираются раз

в месяц, белье сменяется каждую неделю, каждому больному дается рубашка, подштанники, туфли, халат, носки, ночной колпак; подле каждой кровати стоит столик, накрытый скатертью, и висит полотенце, которое сменяется раз в неделю; больным дается оловянная тарелка, ложка, нож и вилка, оловянная кружка и чашка, они получают отличный белый и черный хлеб, те, которым прописана одинаковая диета, обедают вместе, прочие обедают отдельно, в каждой комнате висит на стене оловянный умывальник с подставленным под ним медным ведром. В больнице было сорок пять мужчин и пятнадцать женщин, последние помещаются отдельно. На каждые пять человек полагается две сиделки».

До чего только не додумается московская благотворительность!

Громаду Белого города вобрало в себя большее кольцо — Земляной вал, насыпанный в древние времена ради защиты от опустошительных набегов крымских татар. А за ним, через огороды и перелески, — заставы и заборы уже Камер-Коллежского вала, выдуманного винными откупщиками, дабы никто самовольно не ввозил в Москву их прибыльный товар.

Но все же знатнейшие поместья умещаются в Земляном городе, а дальше — деревеньки возле больших дорог да покрытые снегом поля, бойни, кирпичные заводы, кладбища.

2

Перед выездом из Земляного города по Троицкой дороге, где стоит высокая готическая башня, прозываемая Сухаревой, одна из изб принадлежала Степану Ивановичу Анненкову, помещику Можайского уезда.

Стояло тихое морозное утро пятого ноября 1796 года. Минуло уже два дня, как стал зимний путь, и Степан Иванович велел, наконец, закладывать лошадей. Он отправлял на службу в Петербург сына. Ивану бы еще подождать годок — только-только шестнадцать исполнилось, но соседи одолели: убери да убери с глаз долой озорника. Купец Петр Михеев даже на исповеди отцу Исидору пожаловался: Ванька ему в карету подложил корзинку с желтопузыми ужиками; купчиха-то села, змеенышей сразу не заметила, а в дороге так напужалась, что водой отливали.

Да и что ж, пора ему, дураку, государыне послужить. В Петербурге, небось, не побалуешь — там порядок чтут. Здесь как его накажешь? Розог всыпать вроде неудобно — ввек холопа, и того Степан Иванович не тронул, а тут детинушка — родная кровинушка. А там провинился — под арест. Пора парню свой разум на добрые дела направлять. Глядишь, и толк выйдет, бог его ни силенкой, ни рассудком не обидел. Одно плохо — доверчив, людей по себе мерит. С его душой в родной семье жить хорошо, а среди чужих — ох, тяжко. Но ничего не поделаешь: каким родился, таким и пригодился.

Сам Степан Иванович дослужился только до поручика, ему минул двадцатый год, когда на престол взошел Петр III и в чаду своего полупьяного правления издал долгожданный указ, что дворяне отныне могут вовсе не служить Отечеству и жить, как им заблагорассудится. Степан Иванович тотчас подал в отставку и уехал в свою деревню — заменить старого отца в хозяйстве. Но до сих пор в душе остались юношеские восторженные воспоминания о блеске высочайшего двора, о ярких заморских нарядах бледных фрейлин, лентах и звездах величавых царедворцев.

Анненков потаенно мечтал, что императрица приметит его статного сына, выделит среди других и испробует в важном деле. Ванька не подведет, Анненковы никогда не отступались, коли решались на что. И пойдут ему чины, будет чем побахвалиться на старости лет перед соседями, а в полиции можно намекнуть: при высочайшем дворе, мол, были бы довольны, когда б Михеева поприжали.

— Степан, что стоишь? Посмотрел бы, как добро уложили. Дорога дальняя, Ванюша все бока обобьет, — запричитала с порога жена Анна, маленькая юркая женщина, закутанная в салоп.

Степан Иванович выждал малость, дабы не подумали, что он спешит исполнять волю жены, и пошел к возку, вокруг которого копошились домочадцы и переминались любопытные соседи.

Возок неопытному глазу мог показаться неуклюжим чудищем, неспособным к долгой езде. Это был поставленный на полозья дощатый ящик с окном и дверкой. Сверху он был покрыт двумя истертыми салопами, с боков — разноцветными драными одеялами, сзади громоздились накрепко прикрученные веревками колеса и тележные оси — на случай оттепели. Зато внутри было уютно — пол и сиденье, вернее лежанку для двух человек, устлали старыми шубами, скрывавшими под собою бесчисленный дорожный скарб.

Степан Иванович влез в возок, потряс его изнутри, попрыгал, согнувшись, на шубах, выругался в сердцах и приказал все вытряхивать вон.

Из дома выбежал двухметровый богатырь с широким нежным лицом, нежным, наверное, из-за больших черных ресниц и белизны кожи.

— Папенька, так уже трогаться пора! — чуть не плача от отчаяния, завопил он.

— Как обедни отзвонят, тронешься. Тыща верст впереди, тут одни дураки спешат.

— Так ведь уложили все точно так, как вы сказали, чего ж еще ворошить?

Иван со слезами на глазах наблюдал, как из возка вытряхивали утварь, разместить которую стоило немалого труда и времени. Когда возок опустошили до дна, Степан Иванович сам принялся укладывать пожитки, а прислуга — ровесник хозяину по годам Филипп, его жена Марфа и сын Петро — все трое стояли рядком, вслушиваясь в команды и торопливо подавая нужную вещь.

— Самовар! Сундук с малым замком! Топор!..

Соседи подшучивали:

— Ты ему соску еще положи.

— Не-е, девку Ваньке упакуй. Как же в дороге без женского обогреву...

Иван от обиды на соседей, а главное — папеньку, расстроился до уныния, ему стало казаться, что он уже никогда не тронется в путь. А тут еще мамонька пристала — надень да надень шубу. А зачем, когда на нем новенький мундир вахмистра? Должны же все увидеть, что он отныне не Ванька, а защитник Отечества. С минуты на минуту и папенькин сосед по Можайскому имению подъедет — секунд-майор Обрезков. И не один, а с дочкой, нареченной невестой Ивана. Как мамонька не поймет, что Оленьке приятнее будет проститься с военным, а не с мужиком в шубе.

— Мороз на дворе, а он затвердил: не холодно, не холодно, — Анна попыталась хоть закинуть шубу сыну на плечи, но он увернулся. — Степан! — взмолилась она. — Помоги.

— Чего? — Степан Иванович высунул голову из занавешенного окна возка.

Внезапное появление его настороженного лица в обрамлении драных одеял вызвало смех у столпившихся соседей.

— Ваня простынет, заставь его шубу надеть.

— Тьфу ты, оглашенная баба, — Анненков, рассерженный, скрылся в возке, и вновь послышались его немногословные команды: — Овечий тулуп! Бутыль с маслом! Лагун с дегтем! Сухари! Кулебяку! Бурав! Веревки!..

Но вот, наконец, внутри все было готово, и Степан Иванович принялся украшать возок снаружи. С боков он подвесил по четыре кисы с жареными курами и утками, сзади, к тележным осям, приторочил большое ведро замороженных щей и парочку дородных жареных гусей.

— Петька! — крикнул Степан Иванович, любуясь своей работою. — Тащи его тулуп. Тот, что без рукавов, на печке.

— Куда ж еще, папенька? Почитай, десяток уложили, — удивленно хлопнул глазами Иван.

— Петька, чего стал? — рассердился Анненков на слугу. — Кому сказано: тащи тулуп. Перину старую с чердака тоже снимай.

Лишь когда малый скрылся, отец обернулся к сыну и снисходительно пояснил:

— Под ноги, дурья башка, под ноги. Тебе две недели по морозу тащиться. Тут с одной только скуки кровь застынет.

Анна ударилась в слезы:

— Да куда же ты, дитятко мое, уезжаешь, да зачем ты меня, старую, покидаешь...

— Заверещала, — с гордостью за жену обратился Степан Иванович к соседям. — Мастерица что лаяться, что прощаться.

Соседи дружно закивали в ответ. О том, что Анна мастерица лаяться, они-то уж доподлинно знают — на себе испробовали. Но обиды не держали — русское сердце отходчиво.

— А ты что, лешак, разулыбился! — вдруг взъярился отец на сына. — Мать по нем убивается, а ему, поганцу, смешки.

Иван обиженно насупился:

— Чего ж раньше времени слезы лить. Ты и до вечера укладываться не кончишь — успеет наплакаться.

— Вам, молодым, все бы — тяп-ляп, и готово. — Степан Иванович бросил ласковый взгляд на возок. — Тихий воз на горе будет. Скоро только блох ловят. — И, обернувшись к жене: — А ты, Анна, и впрямь погодила бы, из-за твоей мокроты обязательно что-нибудь забудем.

Анна привыкла, что, когда муж при деле, да еще на людях, надобно ревностно исполнять его волю, и упрятала рыданья поглубже в себя.

— Филипп, — кликнул Степан Иванович старого слугу. — Уложи перину и запрягай.

Сам же Анненков, широко улыбаясь и растопырив руки для объятий, пошел навстречу вылезавшему из коляски другу.

Алексей Васильевич Обрезков служил при императрице Елизавете капитаном гвардии и пользовался милостью наследника, ставшего затем императором Петром III. По внезапной кончине государя, Обрезкова перевели в армейский полк тем же чином, хоть, по обычаю, должны были повысить. Но кто ж

будет повышать офицера, оставшегося преданным свергнутому императору?! Через год Обрезков оставил службу секунд-майором, оставил с сожалением, ведь мог бы дослужить до генерала. Но, как честный человек, считал не вправе преклоняться перед императрицей, виновной в злодейской смерти венценосного мужа.

Алексей Васильевич был в родственной связи со светлейшим князем Платоном Зубовым, но никогда не напоминал о себе всемогущему фавориту: «Без заслуг не хочу наград, да еще от мальчишки. Лучше, как прежде, — землю со своими мужиками пахать буду и тем кормиться».

Обрезков имел сто душ и образцовое хозяйство. Но не меньше, чем урожаями, он гордился дочерью Ольгой двенадцати лет от роду. Он рано овдовел, и дочь стала для него единственным родным существом, чуть ли не божеством. Год назад он просватал ее за Ивана Анненкова и сегодня взял с собой — пусть попрощается с нареченным.

Старые друзья обнялись и степенно расцеловались.

— Аннушка, а ты никак уже слезы льешь? Ты бы накормила сначала нас, а потом хоть залейся, — Обрезков чмокнул в щеку жену друга. — Ну, да я тебе помощницу привез, вы на пару окиян должны нареветь.

— Вам бы все шутки шутить, Алексей Васильевич, — вздохнула Анна, — а я с Ванюшей не знаю, как и расстанусь — никогда еще меня с ним не разлучали. — И добавила уже для мужа, но без надежды: — Мальчику всего-то семнадцатый год пошел... Неужто хотя бы годок нельзя погодить?

— Пусть послужит, хватит за маменькиной юбкой прятаться. Вон он у тебя каков богатырь вымахал! Не нам же со Степаном саблей махать — из нас труха сыпется. Я нынче на лошадь-то забыл с какой стороны садиться. Кажись, спереди, с головы? Так, Оленька? — Обрезков хитро улыбнулся. — Да ты никак уже нюни собралась распустить? Рано. А вот с Иваном Степановичем ты напрасно не здоровкаешься: он, может, ради тебя вырядился.

— А он сам от меня отворачивается, — покраснела от смущения дочка.

— Как же ему не отворачиваться, — громко, чтобы все слышали и полюбовались его дочкой, балагурил отец, — у тебя же нос крючком и глаз кривой.

— Ничего я и не отворачивался, — покраснел в свою очередь Иван, — а осмотр делал: хорошо ли груз держится — дорога-то дальняя. Вон-вон, поглядите, дядь Леш, она сама отворачивается.

Оля надула губы и опустила глаза, готовясь заплакать от несправедливости — она очень хотела поговорить с Иваном Степановичем перед дорогой, но не могла встретиться с ним взглядами.

— Никак заплакала? — заверещала, суетясь вокруг невестушки, Анна. — Пойдем в дом, доченька, чайку попьем, повздыхаем. Им-то, мужикам-грубиянам, хоть что, им бы только на войне друг дружку лупцевать, а опосля похваляться. Тьфу на них, непутевый народ. Нечего им потрафлять, пусть-ка за нами побегают, а мы еще посмотрим: хороши ли.

— Растет Ольга. Красавица! — похвалил будущую невестку Степан Иванович, когда женщины скрылись.

Настал черед смутиться Обрезкову — он не отделял свою жизнь от дочкиной, и похвалы ей воспринимал, как себе.

— Танцует уже, шитье освоила. Нынче на зиму мусье наняли — над французским бьемся. Растет невеста. Жалко даже за Ваньку отдавать, — опять забалагурил Алексей Васильевич. — Слышь, Вань? Ты чего меня стороной все обходишь? Не люб стал? Али барышню краше моей Ольги нашел?

Иван справился со смущением, которое его внезапно охватило с приездом Ольги, и задорно рассмеялся, запрыгнув на передок возка:

— А меня в Петербурге еще три тестя дожидаются.

— Смотри у меня, не балуй там, — Обрезков погрозил кулаком. — Моей дочке вертопрах не нужен.

Далее он, на всякий случай, произнес наставленьице будущему зятю, не забыв, конечно, упомянуть *о сраме и падении нравов* нынешнего петербургского двора в сравнении с прежним, во времена его молодости. Наконец, заметив, что Иван его не слушает, перешел на разговор со старшим Анненковым, тем более что сам лишь вчера прибыл из деревни и не успел обрасти новостями:

— Как нынче с ценами-то?

Степан Иванович расстроенно махнул рукой, но оживился и стал перечислять:

— Сено нынче дешево — двенадцать копеек за пуд. Зато пшеница час от часу дорожает...

— Надо хлебушек вывозить по первопутью. А то, помнишь, в прошлую зиму в декабре морозцы приударили, а весь январь распута держалась?..

— Как не помнить, у меня вся рыба тогда попортилась. И хлеб из деревни вывезти не успел. А цены-то по Москве поднялись — локотки себе кусал. Хоть в эту зиму не оплошать бы с хлебом.

— Вывози, пока дорога есть.

— Да вот Ваньку спроважу и поеду.

— И я следом. Не нравится мне все больше город — суетно. Про чуму что слышно?

— В Херсоне застряла. Раз за лето до нас не дошла, зима ее прихлопнет.

— Дай-то Бог, — перекрестился Алексей Васильевич, у которого в страшный 1771 год чума унесла мать с отцом и двух старших братьев. — А что, Безногий в Персии? — с пренебрежением упомянул он о Валерьяне Зубове, хромом полководце на персидской войне. — Не нарвал себе лавров?

— Сказывают, его девка заколола. Да врут, кажись. Зато офицер один в отпуск прибыл оттуда, так он божится, что половину солдат голодом уже переморили. Каждый генерал себе тянет, запустили руки, бесстыжие, в казенный карман.

— Да, нет у Безногого ни характеру, ни таланту тестя. Вот к кому бы Ивана приставить. Не знаешь, где нынче-то Александр Васильевич?

— Суворов-то? Как же, в Москву днями ждем. Надо думать, к югу едет: либо турку, либо перса бить.

— Может, Ивана к нему приставят?

— Навряд, тогда бы бумагу отписали, чтобы тут его дожидался. А то в Петербург зовут.

— У них всяко бывает. Что в голову забредет, то и исполнят, а бумаги другим чередом идут. Одно слово — канцелярия. Деньги-то у них там несчитанные. И все с нас дерут — разоряют народ. В Зимнем дворце для самоваров одного угля на пятьдесят тысяч рублей в год уходит. А для кофия деньги на миллионы считают. Казна совсем опустела. Хотели у шведов занять, а тут новый конфуз — ихний король от Александры отказался. Москва-то что толкует?

— Сказывают, ночью к шведу приехал курьер от прусского короля. Шесть миллионов дал от себя, восемь — от турок и десять — от французов, чтобы он на русской княжне не женился, а объявил нам войну. Шведский король немного поупрямился — больно хороша Александра, да золото смутило, особенно его дядю — а он ему заместо родителя. Государыня наша увидела, что они на сговор пришли смущенные — про миллионы ей уже донесли, и говорит: «Можете вертаться домой, в свой поганый Стокгольм. Но знайте, что за обиду я все в вашей Швеции переворошу, камня на камне не оставлю».

— Туда, видать, Ивана погонят, — решил Обрезков.

— Мал еще, — не согласился Анненков. — Сначала учить будут, а там, может, и при дворе приглянется.

— Нашел, чего сыну пожелать, — рассердился Обрезков и обратился к новобранцу: — Ты, Ванька, отца не слушай, в армию просись. Поверь старику: ты для двора ни рылом, ни мошной не вышел. Там же надо где схитрить, где поподличать, где деньгой отделить — и так осторожненько к власти на брюхе ползти.

— А давайте, дядь Леш, потягаемся: я вас с папенькой в охапку возьму и по улице до церкви допру?

— Дуралей ты, Ванька. Сила-то нужна землю пахать, а в Петербурге спиной чины добывают. Государыня наша любит, чтобы гнулись и ласкались, — презрительно усмехнулся Обрезков, но тотчас осекся, поняв, что болтает лишнее при мальчишке.

— А мы и согнемся, нам спины не жалко, — Иван отпустил дурашливый поклон.

— Нет, гнуться ты не сможешь — к этому с малолетству привыкают, а отец тебя другому учил. Да что говорить, послужишь — увидишь.

Тем временем Степан Иванович дотошно осмотрел возок, потряс его за каждый угол — ничего не брякнуло. Обе лошади удивленно посмотрели на хозяина: и чего это он их тревожит?

За возком стояла груженая телега, запряженная в третью лошадь. Анненков подозвал Филиппа и Петра, уже готовых к отъезду. Очень не хотелось Степану Ивановичу отпускать старого слугу, дом оставался без помощников — какой прок от баб, одна суета. А хозяйство, хоть и невелико, но требовало постоянного мужицкого труда. Да еще четыре дочки, одна другой меньше — за ними тоже глаз нужен.

— Филипп, все уместил в телегу?

— Как не все: десять ведер водки, восемь баранов и холста три куска.

— Как распродашь товар в Петербурге, Ваньке пятьдесят рублей дай, еще на пятьдесят подарков купи и назад поспешай. Петьке накажи, чтобы в Петербурге не дурил, а за Ванькой присматривал...

— Да я его, паршивца, вожжами, если что... — повернулся Филипп к сыну. — Только все ж боязно, Степан Иванович, их одних оставлять там. Дети еще — за ними присмотр нужен.

— Что ж теперь делать, мусье нынче дороги, да и глупость все это. Век на печке не просидишь. Ничего, чай, не за морем будут — возле государыни. Там, сказывают, строгости — не побалуешь.

Степан Иванович хотел лично дать наставление Петьке, как

присматривать за барином и отписывать в Москву: не пьет ли вина, не блудит ли, не бездельничает — но не успел.

— Добрый день, Степан! — приподнял шляпу пожилой немец и слегка поклонился.

— Наконец-то, — обрадовался Анненков, — а то чуть без твоего мальца не уехали.

— Я знаю: если русские хотят ехать утром, они едут в полдень.

— А ты бы хотел: тяп-ляп, сели и поехали. Нет, брат, это тебе не Германия, — обиделся Степан Иванович догадливости немца.

Иоанн Рихтер, полноватый приземистый бюргер, пешком отшагал вместе с племянником Карлом добрых три версты — от Покровки, где держал лавку с москательным товаром — красильными и аптечными припасами. А жил он еще дальше, на Басманной, в купленном еще отцом двухэтажном бревенчатом пятистенке. Семья его состояла всего-навсего из русской жены Варвары и племянника, прибывшего в Россию два года назад. Своих детей у них не было, и Карла супруги баловали сверх меры. Но только до поры до времени, сейчас же решились послать его в Петербург поработать на фабрике родственника, чтобы потом открыл в Москве самостоятельное дело.

Иоанн Рихтер загодя, за неделю до отъезда, договорился со Степаном Анненковым, что тот возьмет Карла в попутчики Ивану, за что и было уплачено пятнадцать рублей.

— Ну, показывай молодца. — Степан Иванович, не церемонясь, взял Карла за локоть и подвел к возку — на обозрение столпившегося народа.

Карл, двадцатилетний, худощавый, с тонким красивым лицом, растягивая по сторонам полы шубы, с улыбочкой поклонился на все стороны, как бы желая подчеркнуть комичность ситуации, в которую попал из-за хозяина этого чудовищного короба на полозьях.

— Хорош! — одобрил Анненков юношу. — Вот только некормленный. Ты, Карла, в Петербурге не скупись — мясо на теле наращивай, а то девкам и ущипнуть не за что.

— О! Они найдут. Им только дайся в руки... — оживился Карл. За год жизни в Москве он, благодаря цепкой памяти, любопытству и трудолюбию, научился говорить по-русски лучше дяди.

— Ладно уж, не хорохорься, — перебил его дядя, знавший за племянничком грешок болтать лишнее о женщинах, что простительно в немецкой семье, может смутить благонравного Степана Ивановича.

На крыльцо вышла Анна и, чинно поклонясь гостям в пояс, пропела:

— Пожалуйте, откушайте, чем богаты, на путь-дороженьку, гости дорогие, желанные.

Все почему-то вслед за Степаном Ивановичем кинули взгляд на возок и потянулись за хозяином в дом.

В одной половине избы была светлица с «каморкой» — семейное помещение. В другой — светлица для гостей. Здесь стоял дубовый стол, покрытый ковровой скатертью и уставленный снедью и напитками.

Карл, почти не бывавший в русских избах, с любопытством осмотрел печь, изукрашенную зелеными изразцами, пол, выстланный каменной лещадью, и громадные посудины с жирным обедом.

— Кушайте, хлеб-соль на столе, — пригласил гостей рассаживаться по лавкам Степан Иванович.

Ольгу Анна усадила рядом с Иваном, наказав ухаживать за новобранцем. Иван настроился взять в разговоре с соседкой шутливый покровительственный тон, но, когда она, потупив стыдливо глазки, спросила: «Вам, Иван Степанович, грибков пододвинуть?», чуть не раскис от столь уважительного обращения к своей персоне и, мотнув согласно головой, заспешил наполнять гостям чарки.

— Ванька, — расхохотался Обрезков, — ты зачем моей дочке водку льешь?

Иван замер с бутылкой в руке, бормоча извинения и не зная, как поступить дальше.

Филипп подошел сзади, забрал бутылку и обнес всех сам. Тем временем Карл разместился посреди сестренок Ивана и веселил их до буйного хохота незатейливыми фокусами. Все четыре девчонки — от трехлетней Натальи до десятилетней Насти — требовали еще и еще, колотя друг дружку локтями и кулаками, чтобы пробраться поближе к потешному немцу.

Анна отказалась сесть за стол и вместе с Филиппом и Марфой следила: кому что подать.

Трое мужчин заняли дальний конец стола и, выпив по чарке, разговорились.

— Хорош у тебя парень, — отметил Обрезков, глядя, как сестренки прилипли к Карлу. — Кого дети любят — на того всегда положиться можно.

— Ах, с ним одни мучения, — отмахнулся, смущенный похвалой, Рихтер. — Двадцать годков, а все дитя малое, лишь бы повеселиться. Не хочет в лавке работать. Вот посылаю к свояку в Петербург, у него ткацкая фабрика, может, приучит Карла к машинам. Его отец — мой брат, царство ему небесное, умер и просил меня быть наставником сыну.

— Ныне молодежь трудиться не хочет, — поддержал любимую тему Анненков. — Я своего как только не приучал к хозяйству, а он все нос воротит. Пусть его теперь в армии обкатывают.

— Какая ныне армия, — пренебрежительно отмахнулся Обрезков. — Один треск, а делу нет. Офицеришки от материной соски оторвутся — и сразу в гвардию. А там какая служба: на балах умеешь приседать, значит герой. То ли дело раньше, при Потемкине. Тогда, пока в бою не отличишься, никакой награды не жди.

— Вы бы, дядь Лексей, еще Петра III вспомнили, — встрял со смешком в разговор взрослых Иван.

— А что, и вспомню, — Обрезкову наступили на старую, ноющую рану. — Характеру ему недоставало, это правда. Доверчив больно был и людей любил, вот его и объегорили.

— Хорош был царек, — рассмеялся Анненков, порой до крепкой обиды спорившиий с Обрезковым о русском прошлом, после чего друзья неделями не появлялись друг у друга. — Русскую гвардию распустил и голштинских оборванцев набрал. Папу римского хотел над нами верховодить поставить, а сам вроде министра состоял на службе у Фридриха. Где ж это видано, чтобы русский император прусский мундир носил?..

— Вот она, российская темнота: по одежке человека мерить, по навету судить. А кто «слово и дело» отменил? Раскольникам грехи их простил? Петр Федорович, царство ему небесное, был прост, не то что со мной, с мужиком мог запросто заговорить. По Петербургу пешком ходил, не боялся, что зарежут.

— И дождался, — кивнул с ухмылкой Рихтер.

— Не стоит старое ворошить, — решил уйти от политики Анненков. — Лучше на нынешнюю жизнь взгляните. Мужик работать стал хуже, ленится, а наш брат, помещик, нет бы его заставить, приказчиков в деревнях заводит, а сам в каретах по столицам разъезжает, помаду и пудру из-за границы возами везет.

— Разорили Россию, — кивнул в согласие Обрезков. — Бумаг наплодили, чтобы дела все запутать и казенное своим назвать.

Все трое горько вздохнули, размечтавшись, что настанет ведь пора, когда бумажную ложь и путаницу законов заменит древняя старушка честь.

Но пора и в путь. Анненков встал с чаркой в руке, следом поднялись все.

— За государыню великую Екатерину Алексеевну и за наследника престола Павла Петровича! Долгие годы им здравствовать и о нас, сирых, заботиться. А тебе, Иван, и тебе, Карл, служить им верно, совестью своей не торговать, законы и старших почитать, чтобы нам, старикам, утешение от вас было.

Мужчины сдвинули чарки, в один дых опрокинули их и стали выбираться из-за стола.

Когда вышли на двор, зазвонили колокола, все стали креститься и прощаться. Степан Иванович обнял старого слугу, и они расцеловались. Филипп, сокрушенно качая головой, полез на козлы возка. Петро — на телегу. Степан Иванович подозвал сына. Грозно глянул на его веселое лицо, но не удержал в себе строгость, размяк.

— Ты, Вань, поберегись там. Нас с матушкой вспоминай. Награде радуйся, когда за дело дадена. О Боге думай, но не усердствуй. И паче всякого гони от себя гордость. Служи честно, трудись, во всем повинуясь государыне. А мы от тебя весточки ждать будем. На вот...

Анненков снял с себя фамильный серебряный крест и надел на сына, поцеловал присмиревшего Ивана в лоб и подтолкнул к матери.

Анна, всхлипывая, аккуратно упрятала крест сыну на грудь, запахнула мундир и протянула конверт с адресом своей петербургской подруги.

— Наши дома рядышком стояли, батюшки наши дружили меж собой, а мы вместе на гулянки бегали. Я, конечно, тогда не ведала, что она генеральшей станет, и обращалась без почтения. Да все ж не выгонит, а то и поможет чем. Ты, Вань, как представишься, стишат ей в альбом напиши, да польсти в них, вот она и станет твоей заступой.

Анна перекрестила сына и, поднявшись на цыпочки, рыдая, уткнулась ему в грудь. Иван ласково погладил мать и бережно подвел к отцу. А сам подбежал к сестричкам, по очереди подбросил каждую вверх, хохоча и целуя. Они в ответ визжали от радости. Наконец, он стремительно подбежал к невесте, чмокнул ее в щеку и, прошептав: «Жди», юркнул в возок.

Возок, за ним и телега тронулись. Провожавшие замахали вслед, заулюлюкали. Одна Ольга осталась безучастной, она завороженно слушала удары своего сердца, говорившего голосом возлюбленного: «Жди, жди, жди».

Продолжение следует.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Человек. Прогресс. Личность.



Открытие новой рубрики. Глава из книги Н. Бердяева «Смысл истории» (Берлин, 1923 г.). Стр. 57.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Николай Бердяев и «Русский идеализм»

Наша духовная ситуация второй половины 80-х годов не похожа ни на один из предшествующих периодов в истории советской культуры и литературы. Гласность стала источником бурного прорыва в современную печать запрещенных и «забытых», официально отторгнутых от общества произведений искусства, публицистики и философии. Наступил момент возвращения сразу многих общезначимых явлений отечественной и мировой культуры. Даже для гуманитарной интеллигенции, которая немало помнила, знала и читала, имея доступ в спецхраны, эта ситуация возвращения произведений из идеологической ссылки оказалась достаточно неожиданной, потребовала заняться переосмыслением истории, сокрушением закоснелых абстракций и т. п. А для широкого «среднего» читателя эта ситуация обернулась чуть ли не откровенным взрывом привычных воззрений, переоценкой будничных канонов. Правда, многие возвращенные тексты лишь аккумулировали плоды живой народной самокритики, здравого смысла и реального самочувствия.

Волна возвращений подняла на поверхность жизни «залежи» не только литературной, но и философской мысли. Среди прочего право на возвращение в общедоступную печать получил так называемый русский философский идеализм конца XIX — первой половины XX века. На страницах не только журнальных изданий разного уровня, но и на страницах газет замелькали портреты, имена и тексты В. Соловьева, К. Леонтьева, П. Флоренского, В. Розанова, С. Франка, Г. Федотова, Л. Карсавина... Возникает ощущение некоего переоткрытия мощной и важной духовной традиции.

Возвращение русского идеализма — это запоздалая попытка возместить одну из невосполнимых потерь отечественной культуры. Но именно вследствие запоздания тут сами собой возникают новые противоречия. Во-первых, печатание фундаментальных текстов по кусочкам и в массовых изданиях грозит исказить читательское восприятие философских построений. Однако тут нам остается принять как данное возникшие обстоятельства и читать фрагменты с надеждой на выход полных и комментированных собраний. Во-вторых, возвращение традиции сопровождается появлением эпигонов, которые начинают наружно подражать стилю первоисточников. Вместо позиции у подражателей зачастую остается лишь поза. Но это в свою очередь естественно для любых течений и традиций. В культуре всегда много людей, идущих по готовой лыжне. Главное, чтобы культура свободно жила, чтобы было кому и где прокладывать лыжни новые. Жизнеспособная культура, как правило, сочетает демократизм с духовным «аристократизмом», о чем не раз говорил Н. Бердяев.

Н. А. Бердяева часто называют вторым по влиятельности представителем русской религиозно-идеалистической философии конца XIX — первой половины XX века. Н. А. Бердяев родился в 1874 году в дворянской семье, в Киеве. «Философские книги я читал еще мальчиком», — вспоминает он в этюде «О противоречиях в моей мысли», давая тонкую и трезвую самохарактеристику своего творчества. Испытав воздействие Канта, Шопенгауэра, Л. Толстого и Ницше, Бердяев интенсивно осваивал опыт разных философских школ, но стремился сохранить самостоятельность собственного миропонимания. Ему от природы чужды философическое школярство и теоретическая «ортодоксия», он овладевает техникой гегелевской диалектики, не становясь, однако, гегельянцем. «В студенческие годы, — сообщает он, — я испытал влияние Маркса. При этом отношение к социальным проблемам очень конкретизировалось. Я никогда не мог быть сторонником какой-либо «ортодоксии» и всегда против ортодоксий боролся. Никогда не был я и «ортодоксальным марксистом»...

Тем не менее влияние Маркса привело Бердяева к «легальному марксизму» и к участию в киевском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». В 1898 г. он был арестован и отпущен под залог. В марте 1900-го его выслали на три года в Вологду. В 1900—1901-м появляются первые монографические публикации Н. Бердяева. Особенно заметной была его работа «Субъективизм и идеализм в общественной философии», поскольку в тот период разгорелась борьба между народнической и марксистской социологией. Но он не хочет останавливаться на позициях последней. Критически анализируя «ортодоксальные», «тоталитарные» тенденции в русском марксизме, Н. Бердяев все больше сближается с представителями новейшего философского «богоискательства». Оно получило мощный толчок благодаря философским исканиям В. Соловьева.

В 1903 г. Н. Бердяев принял участие в известном сборнике «Проблемы идеализма», а в 1907 г. — после ряда публикаций — выходит его работа «Новое религиозное сознание и общественность», отразившая окончательное мировоззренческое самоопределение автора. События революции 1905—1907 гг. глубоко затронули Н. Бердяева, как, впрочем, всю русскую интеллигенцию. Именно вопросы духовного развития русской интеллигенции занимают центральное место в его книгах и статьях предоктябрьского десятилетия.

Сильно повлияло на философскую репутацию Н. Бердяева его участие в известном сборнике «Вехи» (1909), посвященном как раз критическому анализу идеологии русской леворадикальной интеллигенции и вызвавшем соответственно резко отрицательную реакцию «слева».

В политике Н. Бердяев после 1905 г. был близок к кадетам, хотя сохранял за собой право на некоторую дистанцию и формальную независимость.

В период революции 1917 года и гражданской войны Н. Бердяев продолжал философскую деятельность. Он был одним из инициаторов религиозно-философского общества «Вольная Академия Духовной культуры». В мучительные для России годы, когда последствия мировой войны и социальный разлом не оставляли, казалось бы, никакой почвы для философских занятий, Н. Бердяев сохраняет верность своему призванию. Он стремится глобально, в духе «религиозного реализма» осмыслить судьбу России и всей современной цивилизации. Так родились книги «Судьба России» (1918) и «Смысл истории» (1923).

Наиболее конкретной, социально и публицистически злободневной оказалась в этот период его работа «Интернационализм, национализм и империализм» (1917). Советские историки до последнего времени настаивали на том, что в этом произведении проявились «феодальные симпатии» Н. Бердяева, поскольку он пытался обосновать идею «народного», «дворянско-крестьянского империализма» (то есть имперского государства).

В 1922 г. Н. Бердяев был выслан в числе других представителей «старой» русской интеллигенции в Германию. Вскоре он переехал в Париж, где и жил до конца своих дней (умер в 1948 г.). В эмиграции Н. Бердяев остался далеким от практической политики, он сосредоточился на философско-литературной и издательской работе. В зрелых трудах он стремился обобщить свои взгляды, предпринял исследования основных проблем русской мысли XIX и начала XX века, проецируя свои размышления на современную историю России и Европы (см: «Русская идея», «Истоки и смысл русского коммунизма», «Царство духа и царство кесаря», «О рабстве и свободе человека» и т. д.).

Наша официальная наука неизменно оценивала Н. Бердяева негативно и узкополитически, перемежая самые разнокалиберные оценки: «ренегат», «либерал», «идеалист», «консерватор», «реакционер», «антикоммунист», «сторонник реставрации»... Но сегодня, я думаю, мы понимаем, что многое в этих оценках идет не от сути, а от догмы и конъюнктуры, от идейного сектантства, сделавшего саму официальную науку неплодотворной.

Верно понять книги Н. Бердяева... Готовы ли мы к этому, читатель? Тут начинать надо, пожалуй, просто со стиля, поскольку бердяевский способ изложения есть вызов нашей сегодняшней философской рутине, считающей себя, как водится, последним достижением материализма и плодящей на практике плоский, наивный реализм и обыденные штампы типа «материя первична, сознание вторично».

Но проблема в том, что и от людей в высшей степени серьезных и духовно самостоятельных мне приходилось слышать: Бердяев раздражает. Да вот еще и в книге В. Кувакина «Религиозная философия в России» несколько страниц посвящено стилю Бердяева, который раскритикован за алогизм, за произвольное сочетание категорий и «хитрость» описаний, выполненных в форме «потока сознания». Правда, при этом констатируется литературная изощренность изложения, его энергичность и эмоциональная наполненность. Однако я думаю, что философа, как и писателя, следует судить и воспринимать в согласии с законом, им самим над собою признанным. Если Н. Бердяев говорит о своей нелюбви к рационалистическому теоретизму и систематике, если он ставит на первое место самовыражение своего духовного опыта, то согласимся на это, коль скоро автор отстоял себя как личность. Согласие не мешает нам со своей стороны самостоятельно анализировать размышления Н. Бердяева и находить здесь как целостно емкие характеристики бытийных явлений, так и логические перескоки, понятийные склейки и т. п. Но отталкиваться надо, повторяю, от общей картины мира и внутренних установок бердяевской прозы. А это действительно во многом — проза в духе философского эссе, этюда, интеллектуальной импровизации. Стоит удивиться, как порой из недр бердяевской эрудиции, поджигаемой на лету, словно горючая смесь идей, вдруг выплавляется мысль истинная и нравственно убедительная.

Умонастроение Н. Бердяева по типу своему романтично. Он и сформировался на почве русской неоромантической традиции начала века, которую порой слишком односторонне сводят к «декадансу». Но что такое декаданс? Это выражение настроений упадка и разложения, отчуждения личности, пораженной эгоцентризмом, одиночеством и нежеланием с этим отчуждением бороться. Однако если человек пытается превозмочь декаданс, то он обращается к иным началам, кроме собственного Я. И один из путей в подобной ситуации — религиозно-романтический.

Не думайте, что Н. Бердяев совсем уж витает в облаках. Как философ светский, он, напоминаю, приемлет относительную и очевидную правду либерализма и даже социализма, он за правое государство, растворяемое посредством демократии в обществе; он поддерживает централистские, федеративные начала; он оценивает конституционно-демократическую партию как наименьшее зло в современной России. Но как религиозный философ, как романтик-максималист, он настаивает, что без высшего божественного ориентира материалисты не создадут свободной общественности с личностью в центре. Насильничество, властолюбие, безличность, идолопоклонство он предвидит и в государстве «социалистическом». И заранее призывает преодолеть духовный кризис, ориентироваться в жизни на «новый универсализм», «религиозную соборность», внутренне преображенный индивидуализм...

Сходное мироощущение охватило целую группу русских идеалистов. Так родился едва ли не самый известный плод их дореволюционного творчества — сборник «Вехи» (1909 г.). (Более подробно о «Вехах» читайте статью в одном из ближайших номеров журнала — ред.)

Я думаю, что именно спор вокруг «Вех» сказался на дальнейшем творчестве Н. Бердяева. От общефилософских построений, от сомнений по поводу духовного кризиса интеллигенции он обратился к темам историко-философским и культурологическим. Его книги «Судьба России» и «Смысл истории» написаны в эпоху Первой мировой войны и последующих революций, когда катастрофические предчувствия декадентов и идеалистов начала XX века обернулись явью «невиданных мятежей» (А. Блок).

Не поразительно ли, что в дни разлома Н. Бердяев сохранил интерес к вселенским проблемам. Его книга о смысле истории носит подзаголовок «опыт философии человеческой судьбы». Она возникла из лекций, прочитанных в Москве, в Вольной Академии духовной культуры (1919—1920 гг.). Но вышла книга в 1923 г. уже в Берлине, с приложением статьи «Воля к жизни и воля к культуре» (1922). Высылка после окончания гражданской войны крупнейших деятелей русской интеллигенции явилась печальным знаком того, что слабые ростки демократии и либерализма на российской почве не привились, а закон социальной поляризации продолжал свою сокрушительную работу...

Само заглавие книги «Смысл истории» звучит интригующе. Неужто у истории есть смысл? Для философа, воспитанного в «позитивной» традиции, этот вопрос либо проблематичен, либо... предрешен представлениями о прогрессе, эволюции, историческом детерминизме и проч. Н. Бердяев вроде бы чужд этой традиции. Он не приемлет учения о самодвижущемся прогрессе, отрицает наличие непрерывных линий в эмпирической истории человечества. Для Н. Бердяева очевидно, что существуют социальные организмы разного типа, что цивилизации самостоятельно рождаются, цветут и умирают, обнаруживая при этом некоторое подобие жизненных циклов. В данном случае он не скрывает своей солидарности с Д. Вико, К. Леонтьевым, Н. Данилевским и О. Шпенглером. Соразмышление с последним налицо в статье «Воля к жизни и воля к культуре».

Можно ли в таком случае вообще говорить об истории? Можно, считает Н. Бердяев. Смысл истории скрыт, по его мнению, в духовной культуре человечества, в развитии бытования общезначимых религиозно-нравственных ценностей. Ключом же к пониманию культуры остается у Н. Бердяева христианская, библейски ориентированная картина мира и высший смысл самого христианства.

Все эмпирические, объективно мыслимые формы жизнедеятельности людей Н. Бердяев как бы выносит за скобку. Зато формы мировоззрения и социальной психики обретают автономию, сливаются в единый сюжет, вызревающий из вечной коллизии земли и неба, добра и зла, божественного и природного. История просвечивается образом Христа, судьба мира со всеми его парадоксальными метаморфозами встраивается в хронику грехопадения, искупления и спасительного воскресения. Н. Бердяев разъяснял, что для него «историческое» есть производное от христианской телеологии, апокалиптики и эсхатологии, то есть представления о грядущем конце мира.

Идея конца витает в трудах Н. Бердяева, но, разумеется, не в виде наивно, по-детски воспринятого мифа. Идея конца предполагает субъективное ожидание религиозного преображения жизни и таинственного, потустороннего разрешения вечных конфликтов бытия, открытых мудрому взору философа-богоискателя, предвосхищенных его первичной интуицией и религиозным воображением. Ожидание конца мистично. Если личность помнит о наступлении конца света, Страшном суде и втором пришествии Христа, то она находит опору для подлинной свободы духа и избавляется от отвлеченных, преходящих соблазнов земного пути.

Бесконечные хронические коллизии истории в концепции Н. Бердяева заведомо трагичны. Но реальный трагизм исторической судьбы парадоксальным образом просветляет дух личности, сумевшей подняться до свободного приятия истины и увидеть небо.

Естественно, что, постулируя веру, Н. Бердяев не занимается теоретическими доказательствами, не апеллирует к строгим научным фактам. Его первоисточник — убеждение. Его метод — личностное погружение в культуру разных эпох, вживание в них как в свое духовное достояние. Каждая культура — это урок истории челове-

чества, его взлетов и падений, его метаморфоз.

Только погрузившись в идеи античности, древнееврейской и первохристианской религий, ренессансного гуманизма, просвещения, экономического материализма и позитивизма, Н. Бердяев начинает интерпретировать их как особую идеальную конструкцию, как вариант исторических исканий высшего идеала. Путь к этому идеалу лежит, по его мнению, через «новый христианский Ренессанс» и «новое Средневековье», которые постулируются как духовно-историческая возможность.

С позиций христианского максимализма Н. Бердяев критикует и разбирает все виды прошедших мировоззрений, воспринимая их как своего рода великие мифы. Само христианство выступает здесь как супермиф, поглощающий и объясняющий все остальные.

Разбирает Н. Бердяев и марксизм. Я не думаю, что сегодня мы должны в страхе шарахаться от этой критики. Лучше приглядимся к тому, каким образом она опирается на религиозно-нравственные предпосылки, как добирается до конечных следствий учения. Между тем остается неиспользованной возможность критики и самокритики марксизма изнутри — как научной по замыслу концепции, рассчитанной на логическую и фактическую проверку. Разумеется, при этом необходимо отказаться от отношения к марксизму как идеологической догматике религиозного типа. То есть именно того, что нашел в нем Н. Бердяев.

Независимо от того, примет или нет читатель библейскую метафизику Н. Бердяева, а также его переживание и толкование культурных эпох, бердяевские экскурсы увлекают, содержат множество фактов и тонких наблюдений. Бесспорно, автор сердцем перечувствовал роковую диалектику мировых идей.

В своих культурологических работах Н. Бердяев вновь и вновь раскрывается как своеобразный, скрытый реалист, исследователь, светский мыслитель. Пока он прокламирует верования, с ним можно либо соглашаться, либо не соглашаться. Когда он исследует, необходимо с ним соразмышлять, учась или споря.

Бердяев-философ при всем его эссеизме не свободен от конкретных концептуальных построений, достойных углубленного обсуждения. К числу таких построений относится и мысль о чередовании варварства, культуры, цивилизации и религиозного преображения (статья «Воля к жизни и воля к культуре»).

По-своему употребляет Н. Бердяев понятие «культура». Это «осуществление новых ценностей», пик духовного творчества светских сил. Это религия, возведенная в ранг сознания. Поэтому «культура» у Н. Бердяева противопоставлена «цивилизации», которую он также рисует как особое духовное состояние мира, а не форму его конкретно-исторической организации.

Для ясности напомню, что в системной социологии культуру рассматривают иначе — как совокупность любых социальных норм, устойчивых ценностей и традиций, как социальную память, связующую историческую жизнь человеческого сообщества. Мне кажется, что Н. Бердяев соотносит «культуру» с ролью творцов культуры в том или ином обществе, смотрит на «культуру» сквозь призму судеб интеллигенции. Не потому ли он, например, решительно утверждает, что высший подъем «культуры» в русской судьбе — это александровская эпоха и Пушкин. Мысль о цикличности и волнообразности бытия тут почему-то исчезает. Видимо, причиной тому именно религиозная телеология как фундамент философии Н. Бердяева.

В книгах Н. Бердяева постоянно встречается одно характерное понятие, которое он настойчиво использует для обозначения негативных явлений духовной жизни: «манихейство». Как известно, манихейство — одна из древних религий. Она включала в качестве одного из исходных пунктов учение об изначальном, абсолютном противостоянии Света и Тьмы. Для Н. Бердяева «манихейство» — это символ механической односторонности и нравственной слепоты ума; это двухцветное, черно-белое мышление, не способное к этическому диалогу и внутренней диалектике, к преодолению парадоксов жизни и духа; это — болезнь культуры и социальной психики; это — знак нетерпимости и политического сектантства. Россию XX века эта болезнь поразила глубоко и надолго, и до сих пор мы от нее не вылечились...

Обращаясь к судьбе России и «русской идеи», Н. Бердяев отыскивал в отечественной истории явные и скрытые запасы духовности, соборности, коммюнотарности. При этом у него не было иллюзий относительно реальной российской трагедии XX века. Тонкий слой аристократически-либеральной и высокой культуры, столь близкой Н. Бердяеву, был взбаламучен и истощен катастрофическими войнами, гражданскими разломами, «великими переломами», которые он по-своему предвидел в начале века. Но бердяевский анализ истоков и отчасти воплощений «русского коммунизма» не имеет ничего общего с оголтелым злопыхательством.

Сегодня мы открыто отметаем и критикуем в советской истории то, что при жизни Н. Бердяева считалось невозможным и подсудным критиковать. И мы по-прежнему слышим его предупреждающий голос, вникаем в его мысль о законах социальной поляризации, делающих обратимыми политические крайности, порождающих разительные парадоксы революций, властвования, человеческой борьбы за существование и ложных прельщений этой борьбы. А прельщений — множество. Тут и «рабство царства», и война, и национализм, и «рабство у собственности и денег», и рабство революции, коллективизма, эротики, эстетизма. Наконец, это прельщение и рабство истории с ее бесконечной диалектикой «старого» и «нового». Н. Бердяев понимал это так: «Все, что не вечно, непереносимо; все ценное в жизни, если оно не вечно, теряет свою ценность. Но во времени космическом и историческом, в природе и истории, все преходит, все исчезает. Поэтому время это должно кончиться. Рабство человека у времени, у необходимости, у смерти, у иллюзий сознания, исчезнет. Все пойдет в подлинную реальность субъективности и духовности, в божественную, или, вернее, богочеловеческую жизнь. Но предстоит суровая. борьба, требующая жертв и страданий. Другого пути нет». («О рабстве и свободе человека», с. 222).

Последнюю главу одной из своих итоговых книг Н. Бердяев назвал «Трагедия человеческого существования и утопия». Его характеристика мистики и парадоксов утопизма, как всегда, отточена и афористична. Но тут неизбежно возникает встречный вопрос: разве не являются философские идеалы «коммюнотарности», «соборности», «персоналистического социализма», предложенные в качества символа веры, но даже отдаленно не напоминающие конкретный социальный проект, также всего лишь утопией? Религиозной, романтической утопией, от которой нет мостов в нашу изломанную катастрофами и катаклизмами действительность, где образ конца света становится вполне материальным и немистическим по мере военных, экологических и прочих сотрясений цивилизации.

Что ж, объявить Н. Бердяева утопистом проще простого, пользуясь его собственными приемами мышления. Но только давайте еще раз осознаем, что он предлагал каждому принять «подлинную реальность субъективности и духовности» как абсолют. Принять прежде попыток решения всех заведомо больных, двойственных вопросов обыденности. У этой утопии есть одно чудесное качество: она не грозит насилием на практике, не готовит господство нового Кесаря. Это утопия веры, рассчитанная на то, чтобы человек, осознавший себя подлинной личностью, сохранил на земле свободу духа и сумел выстоять в царстве Кесаря.

В тех же заметках Н. Бердяева о себе читаем:

«За последнее десятилетие я окончательно изжил последние остатки исторического романтизма, связанного с эстетизирующим отношением к религии и политике, с идеализацией исторического величия и силы. Этот исторический романтизм никогда не был во мне глубок, никогда не был оригинально моим. Я опять почувствовал изначальную правду толстовского отношения к ложной романтике исторических ценностей. Ценность человека, человеческой личности выше исторических ценностей могущественного государства и национальности, цветущей цивилизации и пр., и пр.».

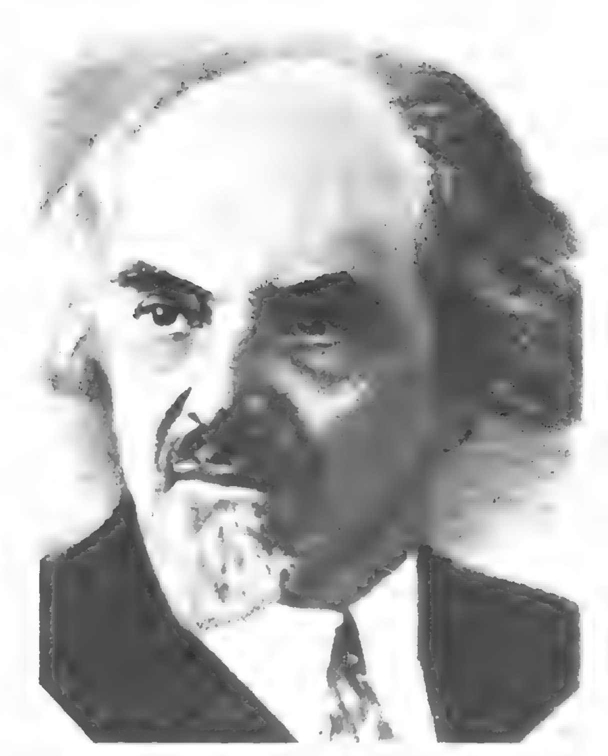
Чтобы говорить так в 1939 году, надо было действительно оставаться смелым «идеалистом», человеком стойкой духовной ориентации. Наверное, поэтому русский идеализм сегодня возвращается в Россию.

АЛЕКСАНДР ПАНКОВ

*Александр Викторович ПАНКОВ — критик, литературовед, кандидат филологических наук, доцент Института русского языка имени А. С. Пушкина.
Автор книг «На острие конфликта» (1980), «Вечное и злободневное» (1981), «Время и книги» (1988) и многих статей о русской и советской литературе.
Живет в Москве. В нашем журнале печатается впервые.*

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ

ВОЛЯ К ЖИЗНИ И ВОЛЯ К КУЛЬТУРЕ



глава из книги

1

В нашу эпоху нет более острой темы и для познания и для жизни, чем тема о культуре и цивилизации, о их реализации, о их различии и взаимности. Это — тема об ожидающей нас судьбе. А ничто не волнует так человека, как судьба его. Исключительный успех книги Шпенглера о закате Европы объясняется тем, что он так остро поставил перед сознанием культурного человечества вопрос о его судьбе. На исторических перевалах, в эпохи кризисов и катастроф приходится серьезно задуматься над движением исторической судьбы народов и культур. Стрелка часов мировой истории показывает час роковой, час наступающих сумерек, когда пора зажигать огни и готовиться к ночи. Шпенглер признал цивилизацию роком всякой культуры. Цивилизация же кончается смертью. Тема эта не новая; она давно нам знакома. Тема эта особенно близка русской мысли, русской философии истории. Наиболее значительные русские мыслители давно уже познали различие между типом культуры и типом цивилизации и связали эту тему со взаимоотношением России и Европы. Все наше славянофильское сознание было проникнуто враждой не к европейской культуре, а к европейской цивилизации. Тезис, что «Запад гниет», и означал, что умирает великая европейская культура и торжествует европейская цивилизация, бездушная и безбожная. Хомяков, Достоевский и К. Леонтьев относились с настоящим энтузиазмом к великому прошлому Европы, к этой «стране святых чудес», к священным ее памятникам, к ее старым камням. Но старая Европа изменила своему прошлому, отреклась от него. Безрелигиозная мещанская цивилизация победила в ней старую священную культуру. Борьба России и Европы, Востока и Запада представлялась борьбой духа с бездушием, религиозной культуры с безрелигиозной цивилизацией. Хотели верить, что Россия не пойдет путем цивилизации, что у нее будет свой путь, своя судьба, что в России только и возможна еще культура на религиозной основе, подлинная духовная культура. В русском сознании очень остро ставилась эта тема.

Но чужда ли она сознанию западному, не возвышалась ли и сама европейская мысль до ее постановки; один ли Шпенглер подошел к ней? Явление Ницше связано с острым сознанием этой роковой для западной культуры темы. Тоска Ницше по трагической — дионисической культуре — есть тоска, возникающая в эпоху торжествующей цивилизации. Лучшие люди Запада ощущали эту смертельную тоску от торжества мамонизма в старой Европе, от смерти духовной культуры, — священной и символической, в бездушной, технической цивилизации. Все романтики Запада были людьми раненными, почти смертельно, торжествующей цивилизацией, столь чуждой их духу. Карлейль, с пророческой силой, восставал против угашающей дух цивилизации. Пламенное восстание Леона Блуа против «буржуа» в его гениальных исследованиях «буржуазной» мудрости было восстанием против цивилизации. Все французские католики — символисты и романтики — бежали в средневековье, на далекую духовную родину, чтобы спастись от смертельной тоски торжествующей цивилизации. Устремленность людей Запада к былым культурным эпохам или экзотическим культурам Востока означает восстание духа против окончательного перехода культуры в цивилизацию, но восстание слишком утонченного, упадочного, ослабленного духа. От надвигающегося небытия цивилизации люди поздней, закатной культуры бессильны перейти к подлинному бытию, бытию вечному, они спасаются бегством в мир далекого прошлого, которого нельзя уже вернуть к жизни, или чуждого им бытия застывших культурных миров Востока.

Так подрываются основы банальной теории прогресса, в силу которой верилось, что будущее всегда совершеннее прошедшего, что человечество восходит по прямой линии к высшим формам жизни. Культура не развивается бесконечно. Она несет в себе семя смерти. В ней заключены начала, которые неотвратимо влекут ее к цивилизации. Цивилизация же есть смерть духа культуры, есть явление совсем иного бытия или небытия. Но нужно осмыслить этот феномен, столь типичный для философии истории, для осмысления истории. Шпенглер ничего не дает для проникновения в смысл этого первофеномена истории.

2

Во всякой культуре после расцвета, усложнения и утончения начинается иссякание творческих сил, удаление и угашение духа, убыль духа. Меняется все направление культуры. Она направляется к практическому осуществлению могущества, к практической организации жизни в сторону все большего ее расширения по поверхности земли. Цветение «наук и искусств», углубленность и утонченность мысли, высшие подъемы художественного творчества, созерцание святых и гениев — все это перестает ощущаться, как подлинная, реальная «жизнь», все это уже не вдохновляет. Рождается напря-

женная воля к самой «жизни», к практике «жизни», к могуществу «жизни», к наслаждению «жизнью», к господству над «жизнью». И эта, слишком напряженная, воля к «жизни» губит культуру, несет за собой смерть культуры... Слишком хотят «жить», строить «жизнь», организовать «жизнь» в эпоху культурного заката. Эпоха культурного расцвета предполагает ограничение воли к «жизни», жертвенное преодоление жадности к жизни. Когда в массах человеческих слишком распространяется жадность к «жизни», тогда цель перестает полагаться в высшей духовной культуре, которая всегда аристократична, всегда в качествах, а не в количествах. Цель начинают полагать в самой «жизни», в ее практике, в ее силе и счастье. Культура перестает быть самоценной, и потому умирает воля к культуре. Нет более воли к гениальности, не рождаются более гении. Не хотят уже незаинтересованного созерцания, познания и творчества. Культура не может оставаться на высоте, она неизбежно должна спускаться вниз, должна падать. Она бессильна удержать свою высшую качественность. Начало количественное должно ее одолеть. Происходит социальная энтропия, рассеяние творческой энергии культуры. Культура срывается и падает, она не может вечно развиваться потому, что не осуществляет целей и задач, зародившихся в духе творцов ее.

Культура не есть осуществление новой жизни, нового бытия, она есть осуществление новых ценностей. Все достижения культуры символичны, а не реалистичны. Культура не есть осуществление, реализация истины жизни, добра жизни, красоты жизни, могущества жизни, божественности жизни. Она осуществляет лишь истину в познании, в философских и научных книгах; добро — в нравах, бытие — в общественных установлениях; красоту — в книгах стихов и картинах, в статуях и архитектурных памятниках, в концертах и театральных представлениях; божественное — лишь в культе и религиозной символике. Творческий акт притягивается в культуре вниз и отяжелевает. Новая жизнь, высшее бытие дается лишь в подобиях, образах, символах. Творческий акт познания создает научную книгу; творческий художественный акт создает нравы и общественные учреждения; творческий религиозный акт создает культ, догматы и символический церковный строй, в котором дано лишь подобие небесной иерархии. Где же самая «жизнь»? Реальное преображение как будто бы не достигается в культуре. И динамическое движение внутри культуры с ее кристаллизованными формами неотвратимо влечет к выходу за пределы культуры, к «жизни», к практике, к силе. На этих путях совершается переход культуры к цивилизации.

Высший подъем и высшее цветение культуры мы видим в Германии конца XVIII и начала XIX века, когда Германия стала прославленной страной «поэтов и философов». Трудно встретить эпоху, в которой была бы осуществлена такая воля к гениальности. На протяжении нескольких десятилетий мир увидал Лессинга и Гердера, Гете и Шиллера, Канта и Фихте, Гегеля и Шеллинга, Шлейермахера и Шопенгауэра, Новалиса и всех романтиков. Последующие эпохи с завистью будут вспоминать об этой великой эпохе. Виндельбанд, философ эпохи культурного заката, вспоминает об этом времени духовной цельности и духовной гениальности, как об утерянном рае. Но была ли подлинная высшая «жизнь» в эпоху Гете и Канта, Гегеля и Новалиса? Все люди той замечательной эпохи свидетельствуют, что тогда в Германии «жизнь» была бедной, мещанской, сдавленной. Германское государство было слабым, жалким, раздробленным на мелкие части, ни в чем и нигде не было осуществлено могущество «жизни», культурное цветение было лишь на самых вершинах германского народа, который пребывал в довольно низком состоянии. А эпоха Ренессанса, эпоха небывалого творческого подъема — была ли в ней действительно высшая, подлинная «жизнь»? Пусть романтик Ницше, окруженный ненавистной ему цивилизацией, влюбленно влечется к эпохе Ренессанса, как к подлинной, могущественной «жизни», — этой «жизни» там не было; «жизнь» там была ужасной, злой жизнью, в ней никогда не была осуществлена красота в земном ее совершенстве. Жизнь Леонардо и Микеланджело была сплошной трагедией и мукой. И так всегда, всегда бывало. *Культура всегда бывала великой неудачей жизни*. Существует как бы противоположность между культурой и «жизнью». Цивилизация пытается осуществлять «жизнь». Она создает могущественное германское государство, могущественный капитализм и связанный с ним социализм; она осуществляет волю к мировому могуществу и мировой организации. Но в этой могущественной Германии, империалистической и социалистической, не будет уже Гете, не будет великих германских идеалистов, не будет великих романтиков, не будет великой философии и великого искусства, — все станет в ней техническим, технической будет и философская мысль (в гносеологических течениях). Метод завоевания во всем возобладает над интуитивно-целостным проникновением в бытие. Невозможны уже Шекспир и Байрон в могущественной цивилизации Британской империи. В Италии, где создан раздавивший Рим памятник Виктора Эммануила, в Италии социалистического движения, невозможны уже Данте и Микеланджело. В этом — трагедия культуры и трагедия цивилизации.

3

Во всякой культуре, на известной ступени ее развития, начинают обнаруживаться начала, которые подрывают духовные культуры. Культура развивается, она есть результат дифференциации культа, разворачивания его содержания в разные стороны. Философская мысль, научное познание, архитектура, живопись, скульптура, музыка, поэзия, мораль — все заключено органически целостно в церковном культе, в форме еще не развернутой и не дифференцированной. Древнейшая из культур — культура Египта — началась в храме, и первыми ее творцами были жрецы. Культура связана с культом предков, с преданием и традицией. Она полна священной символики, в ней даны знаки и подобия иной, духовной действительности. Всякая культура (даже материальная культура) есть культура духа; всякая культура имеет духовную основу — она есть продукт творческой работы духа над природными стихиями. Но в самой культуре обнаруживается тенденция к разложению своих религиозных и духовных основ, к низвержению своей символики. И культура античная, и культура западноевропейская переходит через процесс «просвещения», которое порывает с религиозными истинами культуры и разлагает символику культуры. В этом обнаруживается роковая диалектика культуры. Культуре свойственно, на известной стадии своего пути, как бы сомневаться в своих основах и разлагать эти основы. Она сама готовит себе гибель, истощает себя, рассеивает свою энергию. Из стадии «органической» она переходит в стадию «критическую».

Чтобы понять судьбу культуры, нужно рассматривать ее динамически и проникнуть в ее роковую диалектику. Культура есть живой процесс, живая судьба народов. И вот обнаруживается, что культура не может удержаться на той серединной высоте, которой она достигнет в период своего цветения, ее устойчивость не вечна. Во всяком сложившемся историческом типе культуры обнаруживаются срыв, спуск, неотвратимый переход в такое состояние, которое не может уже быть наименовано «культурой». Внутри культуры обнаруживается слишком большая воля к новой жизни, к власти и мощи, к практике, к счастью и наслаждению. Воля к могуществу во что бы то ни стало есть цивилизаторская тенденция в культуре. Культура бескорыстна в своих высших достижениях, цивилизация же всегда заинтересованна. Когда «просвещенный» разум сметает духовные препятствия для использования «жизни» и наслаждения «жизнью», когда воля к могуществу и организованному овладению жизнью достигает высшего напряжения, тогда кончается культура и начинается цивилизация. Цивилизация есть переход от культуры, от созерцания, от творчества ценностей к самой «жиз-

ни», искание «жизни», отдание себя ее стремительному потоку, организация «жизни», упоение силой жизни. В культуре обнаруживается практически утилитарный, «реалистический», т. е. цивилизаторский уклон. Большая философия и большое искусство, как и религиозная символика, не нужны более, не представляются «жизнью». Происходит изобличение того, что представлялось высшим в культуре, верховным ее достижением. Разнообразными путями вскрывают не священный и не символический характер культуры. Перед судом реальнейшей «жизни» в эпоху цивилизации духовная культура признается иллюзией, самообманом еще неосвобожденного, зависимого сознания, призрачным плодом социальной неорганизованности. Организованная техника жизни должна окончательно освободить человечество от иллюзии и обманов культуры; она должна создать вполне «реальную» цивилизацию. Духовные иллюзии культуры поражены были неорганизованностью жизни, слабостью ее техники. Эти духовные иллюзии исчезают, преодолеваются, когда цивилизация овладевает техникой и организует жизнь. Экономический материализм — очень характерная и типичная философия эпохи цивилизации. Это учение выдает тайну цивилизации, обнаруживает внутренний ее пафос. Не экономический материализм выдумал господство экономизма, не учение это виновно в принижении духовной жизни. В самой действительности обнаружилось господство экономизма, в ней вся духовная культура превратилась в «надстройку» и разложились все духовные реальности раньше, чем экономический материализм отразил это в своем учении. Сама идеология экономического материализма имеет лишь рефлекторный характер по отношению к действительности. Это — характерная идеология эпохи цивилизации, наиболее радикальная идеология этой цивилизации. В цивилизации неизбежно господствует экономизм; цивилизация по природе своей технична, в цивилизации всякая идеология, всякая духовная культура есть лишь надстройка, иллюзия, нереальность. Призрачный характер всякой идеологии и всякой духовности изобличен. Цивилизация переходит к «жизни», к организации могущества, к технике, как подлинному осуществлению этой «жизни». Цивилизация, в противоположность культуре, не религиозна уже по своей основе, в ней побеждает разум «просвещения», но разум этот уже не отвлеченный, а прагматический разум. Цивилизация, в противоположность культуре, не символична, не иерархична, не органична. Она — реалистична, демократична, механична. Она хочет не символистических, а «реалистических» достижений жизни, хочет самой реальной жизни, а не подобий и знаков, не символов иных миров. В цивилизации, и в капитализме, как и в социализме, коллективный труд вытесняет индивидуальное творчество. Цивилизация обезличивает. Освобождение личности, которое как будто бы цивилизация должна нести с собой, смертельно для личной оригинальности. Личное начало раскрывалось лишь в культуре. Воля к мощи «жизни» уничтожает личность. Таков парадокс истории.

4

Переход культуры в цивилизацию связан с радикальным изменением отношения человека к природе. Все социальные перемены в судьбе человечества связаны ведь с новым отношением человека к природе. Экономический материализм подметил эту истину в форме, доступной созданию цивилизации. Эра цивилизации началась с победного вхождения машин в человеческую жизнь. Жизнь перестает быть органической, теряет связь с ритмом природы. Между человеком и природой становится искусственная среда орудий, которыми он пытается подчинить себе природу. В этом обнаруживается воля к власти, к реальному использованию жизни в противоположность аскетическому сознанию средневековья. От резиньяции и созерцания человек переходит к овладению природой, к организации жизни, к повышению силы жизни. Это не приближает человека к природе, к внутренней ее жизни, к ее душе. Человек окончательно удаляется от природы в процессе технического овладения природой и организованного властвования над ее силами. Организованность убивает органичность. Жизнь делается все более и более технической. Машина налагает печать своего образа на дух человека, на все стороны его деятельности. Цивилизация имеет не природную и не духовную основу, а машинную основу. Она, прежде всего, технична, в ней торжествует техника над духом, над организмом. В цивилизации само мышление становится техническим, всякое творчество и всякое искусство приобретает все более и более технический характер. Футуристическое искусство так же характерно для цивилизации, как символическое искусство — для культуры. Господство гносеологизма, методологизма или прагматизма так же характерно для цивилизации. Самая идея «научной» философии порождена цивилизаторской волей к могуществу, желанием приобрести метод, дающий силу. В цивилизации побеждает начало специализации, в ней нет духовной цельности культуры. Все делается специалистами, от всех требуется специальность.

Машина и техника порождены еще умственным движением культуры, великими ее открытиями. Но эти плоды культуры, подрывают ее органические основы, умерщвляют ее дух. Культура обездушивается и переходит в цивилизацию. Дух идет на убыль. Качества заменяются количеством. Человечество духовное падает в своем утверждении воли к «жизни», к мощи, к организации, к счастью, ибо без аскезы и резиньяции не может быть высшей духовной жизни. Такова трагедия исторических судеб, таков рок. Познание, наука превращаются в средство для осуществления воли к могуществу и счастью, в исключительное средство для торжества техники жизни, для наслаждения процессом жизни. Искусство превращается в средство для той же техники жизни, в украшение организации жизни. Вся красота культуры, связанная с храмами, дворцами и усадьбами, переходит в музеи, наполняемые лишь трупами красоты. Цивилизация — музейна, в этом единственная связь ее с прошлым. Начинается культ жизни вне ее смысла. Ничто уже не представляется самоценным. Ни одно мгновение жизни, ни одно переживание жизни не имеет глубины, не приобщено к вечности. Всякое мгновение, всякое переживание есть лишь средство для ускоряющихся жизненных процессов, устремленных к дурной бесконечности, обращено к всепожирающему вампиру грядущего, грядущей мощи и грядущего счастья. В быстром, все ускоряющемся, темпе цивилизации нет прошлого и нет настоящего, нет выхода к вечности, есть лишь будущее. — Цивилизация — футуристична. Культура же пыталась созерцать вечность. Это ускорение, эта исключительная устремленность к будущему созданы машиной и техникой. Жизнь организма более медлительна, темп не столь стремительный. В цивилизации жизнь выбрасывается изнутри вовне, переходит на поверхность. Цивилизация эксцентрична. Цивилизация есть подмена целей жизни средствами жизни, орудиями жизни. Цели жизни меркнут, закрываются. Сознание людей цивилизации направлено исключительно на средства жизни, на технику жизни. Цели жизни представляются иллюзорными, средства признаются реальными. Техника, организация, производственный процесс — реальны. Духовная культура нереальна. Культура есть лишь средство для техники жизни. Соотношение между целями и средствами жизни перемешивается и извращается. Все для «жизни», для ее нарастающей мощи, для ее организации, для наслаждения жизнью. Но для чего сама «жизнь»? Имеет ли она цель и смысль? На этих путях умирает душа культуры, гаснет смысл ее. Машина получила магическую власть над человеком, она окутала его магическими токами. Но бессильно романтическое отрицание машины, простое отвержение цивилизации, как момент человеческой судьбы, как опыт, умудряющий дух. Невозможна простая реставрация культуры. Культура в эпоху цивилизации романтична, всегда обращена к былым религиозно-органическим эпохам. Это — закон. Классический стиль культуры невозможен среди цивилизации. И все лучшие люди

культуры в XIX веке были романтиками. Но реальный путь преодоления культуры лишь один — путь религиозного преображения.

5

Цивилизация «буржуазна» по своей природе в глубочайшем, духовном смысле слова. «Буржуазность» и есть цивилизованное царство мира сего, цивилизаторская воля к организованному могуществу и наслаждению жизнью. Дух цивилизации — мещанский дух, он внедряется, прикрепляется к тленным и переходящим вещам; он не любит вечности. «Буржуазность» и есть рабство у тлена, ненависть к вечному. Цивилизация Европы и Америки, самая совершенная цивилизация в мире, создала индустриально-капиталистическую систему. Эта индустриально-капиталистическая система не была только могущественным экономическим развитием, она была и явлением духовным, явлением истребления духовности. Индустриальный капитализм цивилизации был истребителем духа вечности, истребителем святынь. Капиталистическая цивилизация новейших времен убивала Бога, она была самой безбожной цивилизацией. Ответственность за преступление богоубийства лежит на ней, а не на революционном социализме, который лишь усвоил себе дух «буржуазной» цивилизации и принял отрицательное ее наследие. Правда, индустриально-капиталистическая цивилизация не совсем отвергла религию: она готова была признать прагматическую полезность и нужность религии. В культуре религия была символической, в цивилизации религия стала прагматической. И религия может оказаться полезной и действенной для организации жизни, для нарастания мощи жизни. Цивилизация вообще ведь прагматична. Не случайно прагматизм так популярен в классической стране цивилизации — в Америке. Социализм отверг этот прагматизм религии; он прагматически защищает атеизм, как более полезный для развития жизненного могущества и жизненного наслаждения больших масс человечества. Но прагматически-утилитарное отношение к религии в мире капиталистическом было уже настоящим источником безбожия и духовной опустошенности. Бог, полезный и действенно нужный для успехов цивилизации, для индустриально-капиталистического развития, не может быть истинным Богом. Его легко разоблачить. Социализм отрицательно прав. Бог религиозных откровений, Бог символической культуры давно уже ушел из капиталистической цивилизации, и она ушла от него. Индустриально-капиталистическая цивилизация далеко ушла от всего онтологического, она антионтологична, она механична, она создает лишь царство фикций. Механичность, техничность и машинность этой цивилизации противоположны органичности, космичности и духовности всякого бытия. Не хозяйство, не экономика механичны и фиктивны, хозяйство имеет бытийственные, божественные основы, и есть у человека долг хозяйствования, императив экономического развития. Но отрыв хозяйства от духа, возведение экономики в верховный принцип жизни, предание всей жизни вместо органического, характер технический, превращает хозяйство и экономику в фиктивное, механическое царство. Похоть, лежащая в основе капиталистической цивилизации, создает механически фиктивное царство. Индустриально-капиталистическая система цивилизации разрушает духовные основы хозяйства и этим готовит себе гибель. Труд перестает быть духовно осмысленным и духовно оправданным и восстает против всей системы. Капиталистическая цивилизация находит себе заслуженную кару в социализме. Но социализм продолжает дело цивилизации, он есть другой образ той же «буржуазной» цивилизации, он пытается дальше развивать цивилизацию, не внося в нее нового духа. Индустриализм цивилизации, порождающей фикции и призраки, неизбежно подрывает духовную дисциплину и духовную мотивизацию труда и этим готовит себе крах.

Цивилизация бессильна осуществлять свою мечту о бесконечно возрастающем мировом могуществе. Вавилонская башня не будет достроена. В мировой войне мы видим уже падение европейской цивилизации, крушение индустриальной системы, изобличение фикций, которыми жил «буржуазный» мир. Такова трагическая диалектика исторической судьбы. Ее имеет культура, ее имеет цивилизация. Ничего нельзя понять статически, все должно быть понято динамически. И лишь тогда обнаруживается, как все в исторической судьбе имеет тенденцию переходить в свою противоположность, как все чревато внутренними противоречиями и несет в себе семя гибели. Империализм — техническое порождение цивилизации. Империализм не есть культура. Он есть оголенная воля к мировому могуществу, к мировой организации жизни. Он связан с индустриально-капиталистической системой, он техничен по своей природе. Таков «буржуазный» империализм XIX и XX века, империализм английский и германский. Но его нужно отличать от священного империализма былых времен, от священной Римской империи, от священной Византийской империи, которые символичны и принадлежат культуре, а не цивилизации. В империализме видна непреодолимая диалектика исторической судьбы. В империалистической воле к мировому могуществу разлагаются и распыляются исторические тела национальных государств, принадлежащих эпохе культуры. Британская империя есть конец Англии, как национального государства. Но в пожирающей империалистической воле есть семя смерти. Империализм в безудержном своем развитии подрывает свои основы и готовит себе переход в социализм, который также одержим волей к мировому могуществу и мировой организации жизни, который означает лишь дальнейшую ступень цивилизации, явление нового ее образа. Но и империализм и социализм, столь родственные по духу, означают глубокий кризис культуры. В индустриально-капиталистическую эпоху саморазлагающегося империализма и возникающего социализма торжествует цивилизация, но культура склоняется к закату. Это не значит, что культура умирает. В более глубоком смысле — культура вечна. Античная культура пала и как бы умерла. Но она продолжает жить в нас, как глубокое наслоение нашего существа. В эпоху цивилизации культура продолжает жить в качествах, а не в количествах, она уходит в глубину. В цивилизации начинают обнаруживаться процессы варваризации, огрубения, утраты совершенных форм, выработанных культурой. Эта варваризация может принимать разные формы. После эллинской культуры, после римской мировой цивилизации началась эпоха варварского раннего средневековья. Это было варварство, связанное с природными стихиями, варварство от прилива новых человеческих масс со свежей кровью, принесших с собой запах северных лесов. Не таково варварство, которое может возникнуть на вершине европейской и мировой цивилизации. Это будет варварство от самой цивилизации, варварство с запахом машин, а не лесов — варварство, заложенное в самой технике цивилизации. Такова диалектика самой цивилизации. В цивилизации иссякает духовная энергия, угашается дух — источник культуры. Тогда начинается господство над человеческими душами не природных сил, сил варварских в благородном смысле этого слова, а магического царства машинности и механичности, подменяющей подлинное бытие. Цивилизация родилась из воли человека к реальной «жизни», к реальному могуществу, к реальному счастью в противоположность символическому и созерцательному характеру культуры. Таков один из путей, ведущих от культуры к «жизни», к преображению жизни, путь технического преображения жизни. Человек должен был пойти этим путем и раскрыть до конца все технические силы. Но на пути этом не достигнется подлинное бытие, на пути этом погибает образ человека.

6

Внутри культуры может возгореться и иная воля к «жизни», к преображению «жизни». Цивилизация не

есть единственный путь перехода от культуры, с ее трагической противоположностью «жизни», к преображению самой «жизни». Есть еще путь религиозного преображения жизни, путь достижения подлинного бытия. В исторической судьбе человечества можно установить четыре эпохи, четыре состояния: варварство, культура, цивилизация и религиозное преображение. Эти четыре состояния нельзя брать исключительно во временной последовательности; они могут сосуществовать, это – разные направленности человеческого духа. Но одно из этих состояний в ту или иную эпоху преобладает. В эллинистическую эпоху, в эпоху господства римской мировой цивилизации, должна была родиться из глубины воля к религиозному преображению. И тогда в мир явилось христианство. Оно явилось в мир, прежде всего, как преображение жизни, оно окружено было чудом и совершало чудеса. Воля к чуду всегда связана с волей к реальному преображению жизни. Но в исторической судьбе своей христианство прошло через варварство, через культуру и через цивилизацию. Не во все периоды своей исторической судьбы христианство было религиозным преображениием. В культуре христианство было, по преимуществу, символично, оно давало лишь подобия, знаки и образы преображения жизни; в цивилизации оно стало, по преимуществу, прагматичным, превратилось в средство для возрастания процессов жизни, в технику духовной дисциплины. Но воля к чуду ослабела и начала совсем угасать на вершине цивилизации. Христиане эпохи цивилизации продолжают еще исповедовать тепло-прохладную веру и былые чудеса, но чудес более не ждут, не имеют верующей воли к чуду преображения жизни. Но эта верующая воля в чудо преображения, не механико-технического преображения, а органически-духовного, должна явиться и определить иной путь от угасающей культуры к самой «жизни», чем тот, который испробован цивилизацией. Религия не может быть частью жизни, загнанной в далекий угол. Она должна достигать того онитологически-реального преображения жизни, которого, лишь символически, достигает культура и, лишь технически, достигает цивилизация. Но нам предстоит еще, быть может, пройти через период воздушной цивилизации.

Россия была страной загадочной, непонятой еще в судьбе своей, страной, в которой таилась страстная мечта о религиозном преображении жизни. Воля к культуре всегда имела две направленности, которые нередко смешивались, — направленность к социальному преображению жизни в цивилизации и направленность к религиозному преображению жизни, к явлению чуда в судьбе человеческого общества, в судьбе народа. Мы начали переживать кризис культуры, не изведав до конца самой культуры. У русских всегда было недовольство культурой, нежелание создавать серединную культуру, удерживаться на серединной культуре. Пушкин и александровская эпоха — вот где вершина русской культуры. Уже великая русская литература и русская мысль XIX века не были культурой; они устремлены к «жизни», к религиозному преображению. Таков Гоголь, Толстой, Достоевский, таков В. Соловьев, К. Леонтьев, Н. Федоров, таковы новейшие религиозно-философские течения. Предания культуры у нас всегда были слишком слабы. Цивилизацию мы создаем безобразную. Варварская стихия всегда была слишком сильна. Воля же наша к религиозному преображению была поражена какой-то болезненной мечтательностью.. Но русскому сознанию дано понять кризис культуры и трагедию исторической судьбы более остро и углубленно, чем более благополучным людям Запада. В душе русского народа, быть может, сохранилась большая способность обнаруживать волю к чуду религиозного преображения жизни. Мы нуждаемся в культуре, как и все народы мира, и нам придется пройти путь цивилизации. Но мы никогда не будем так скованы символикой культуры и прагматизмом цивилизации, как народы Запада. Воля русского народа нуждается в очищении и укреплении, и народ наш должен пройти через великое покаяние. Только тогда воля его к преображению жизни даст ему право определить свое призвание в мире.

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

ЦЕННЫЙ СПРАВОЧНИК

Вышел в свет последний выпуск фундаментального библиографического указателя «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях». В тринадцати выпусках указателя (с тома 1, часть 1, до тома 5, часть 2) описаны публикации дневников и воспоминаний в книгах и журналах, связанные с историей России с XV века по 1 марта 1917 года. В издании в целом насчитывается около 26 тысяч аннотированных библиографических записей (число же учтенных публикаций в несколько раз больше, что позволяет проводить сравнение публикаций одних и тех же материалов), имеются именные и географические указатели. В томе 5, часть 1 помещен систематический указатель ко всему изданию.

Работа над указателем была начата в 1971 году по инициативе крупнейшего советского историка, профессора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктора исторических наук П. А. Зайончковского (1904—1983), который, как отмечается в предисловии к книге «был не только организатором и научным руководителем авторского коллектива шести крупнейших библиотек Москвы и Ленинграда, он был душой издания, человеком, сумевшим заинтересовать и увлечь этой работой каждого, кто был рядом». В работе над изданием принял участие большой коллектив сотрудников Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Библиотеки Академии наук СССР, Научной библиотеки имени А. М. Горького МГУ, Государственной публичной исторической библиотеки РСФСР, Государственной центральной театральной библиотеки.

При остром недостатке в нашей стране справочных изданий — энциклопедий, словарей, библиографических пособий и т. д. (в дореволюционной России они выходили в изобилии) — данное издание, не имеющее аналогов в мировой библиографической и издательской практике, представляет собой своего рода «прорыв в будущее» и свидетельствует о том, что наши ученые, библиографы, издатели способны в этой области проводить работу мирового класса. Указатель построен таким образом, что имеет не только прикладную (собственно как указатель), но и самостоятельную ценность. Он может служить биографическим справочником, так как в него включено около 50 тысяч имен авторов и лиц, о которых упоминается в мемуарах, многие из которых не зафиксированы ни в каких других изданиях, его аннотации позволяют получить исчерпывающие сведения о содержании описываемых публикаций и о множестве фактов, в них отраженных. Весь же указатель может читаться как своеобразное произведение исторического жанра. Тираж издания, к сожалению, невелик (от 8 до 5,5 тысячи экз.), что объясняется низкой библиографической культурой нашего общества и непониманием значения и ценности такого рода изданий.

Поскольку в последнее время начали открываться спецхраны, то авторскому коллективу, видимо, следует подумать о том, чтобы дополнить указатель еще одним выпуском, в котором были бы учтены не описанные (не по вине авторского коллектива) издания, а также издания, вышедшие за рубежом. Необходимо также подготовить и издать сводные именной и предметный указатели ко всему изданию.

Ю. Ч.

ИСТОРИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ В ДНЕВНИКАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ. Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах. Т. 5. Ч. 2. — М.: Книжная палата, 1989.

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

Максимов С. В. НЕЧИСТАЯ, НЕВЕДОМАЯ И КРЕСТНАЯ СИЛА. — М.: Книга, 1989. — 176 с. — 2 р. 90 к. 100 000 экз. — При участии кооп. «Глагол».

ОПИСАНИЕ МОСКВЫ: В 2-х кн. — М.: Книга, 1989. — 8 р. 50 к. (в суперобложке). 20 000 экз.

Кн. 1. Факсимил. воспроизведение изд., вышедшего в 1782 г. — —159 с.

Кн. 2. Прил. к факсимил. изд. / Науч. аппарат Ю. Н. Александрова. — 127 с., ил.

Толочко П. П. ДРЕВНЕРУССКИЙ ФЕОДАЛЬНЫЙ ГОРОД. — Киев: Наук. думка, 1989. — 256 с. — 2 р. 4 100 экз.

Радлов В. В. ИЗ СИБИРИ: Страницы дневника / Пер. с нем. — М.: Наука, 1989. — 749 с. — (Этногр. б-ка), — 5 р. 90 к. 6 400 экз.

ЛИТЕРАТУРА

Стихи.
Рассказ.
Портрет.

**О Маяковском.
В СССР
публикуются
впервые.**





«Мама спрашивает — зачем ты пишешь? Оттого, что время от времени мне кажется, что это моя профессия. И на вопрос в газете — «для кого вы пишете?» я ответила — «Для тех, которые не знают того, что я случайно узнала и что я считаю нужным знать всем».

Так писала Эльза Триоле в 1934 году своей сестре Лиле Брик.

Известная французская писательница по рождению — москвичка. В юности, выйдя замуж за француза, она уехала в Париж, а в начале двадцатых годов они жили на Таити. Одно ее яркое, интересное письмо, написанное с Таити Виктору Шкловскому, тот показал Максиму Горькому. Два письма Алексея Максимовича — одно Шкловскому, другое Эльзе Юрьевне — побудили ее всерьез заняться литературой. В частности, Горький писал: «...Мне кажется, что автор мог бы дать очень яркое изображение своих впечатлений, если б удалось сохранить тон, взятый в письме».

«На Таити» — первая книга Э. Триоле. Она вышла в СССР в 1925 году в издательстве «Атеней». За ней появились еще две — «Земляничка» (1926 г.) и «Защитный цвет» (1928 г.). В парижской вечерней газете «Се суар» стали печататься ее театральные обзоры. В журнале «Красная новь» в Москве (1933 г.) опубликован ее очерк «Бусы» — рассказ о тех, кто творит французскую моду. В нем Триоле впервые описала труд манекенщиц, конкуренцию знаменитых кутюрье и повадки хозяев модных домов.

...Первые переводы Маяковского во Франции появились после того, как за них взялась Эльза Юрьевна. А дело это было трудное даже для нее, знавшей поэта лучше, чем кто-либо иной во Франции. И все же в 1939 году выходит ее книга о поэте — переводы стихов и статей, воспоминания. Сегодня это библиографическая редкость, ибо весь тираж в 1939 году полиция выбросила из окна типографии — вместе с книгами Ленина, Энгельса... «В этот почетный ряд попала и моя книга о Маяковском», — вспоминала писательница.

После войны книгу вновь напечатали, переводы поэта раскупали на огромных книжных базарах, а стихи декламировали на многолюдных митингах. Не один писатель потом будет переводить Маяковского, но Эльза Триоле была первой. Французы это помнят и ценят.

Вообще, если подумать, какую роль во взаимосвязи двух культур сыграла эта женщина, выросшая в России и творившая во Франции... Дни, годы, а в результате вся жизнь ее была заполнена творчеством до отказа.

...Сегодня она пишет роман и театральную рецензию, а завтра хлопочет об иллюстрациях к своему переводу «Капитана Федотова» Виктора Шкловского. Я видел ее на репетиции «Дяди Вани», где она помогала режиссеру ценными советами, почерпнутыми из своей московской юности. Кстати, она познакомила Францию со многими пьесами Чехова, и у нее в изголовье висела засушенная роза, привезенная из Ялты, из палисадника дома ее любимого русского писателя. По ее инициативе — активной участницы Сопротивления — был поставлен фильм «Нормандия — Неман» и вот они с Константином Симоновым (одним из соавторов сценария) просматривают материал и спорят, спорят с продюсером, добиваясь своего. Или я вижу, как, утопая в книгах и гранках, она редактирует «Антологию русской поэзии» — толстенный том, где лучшие стихи от Ломоносова до Ахмадулиной отобраны ею и переводчики выбраны ею, и Хлебников, Маяковский, Цветаева, Слуцкий, Вознесенский переведены ею, и «премьера» книги в огромном зале, куда были приглашены советские поэты, тоже устроена ею!

Это она — среди организаторов выставки Пиросманишвили в Лувре и Фернана Леже в Музее им. Пушкина. Это она организовала и прокомментировала выставку Маяковского в Монтре и повезла ее по другим префектурам Франции. Это она перевела специально для Любови Орловой «Милого лжеца» Килти, который с неизменным аншлагом шел в театре Моссовета. Это она на страницах «Леттр Франсез» представляла парижанам юную Майю Плисецкую, первую повесть Чингиза Айтматова, новую роль Николая Черкасова и только что законченный фильм Сергея Юткевича...

До последних своих дней в 1970 году она пишет книги, которые не раз переиздавались у нас — взять хотя бы ее романы из серии «Нейлоновый век».

«Воспоминания», которые вы будете сейчас читать, написаны Эльзой Триоле в пятидесятых годах для 56-го тома «Литературного наследства». В силу обстоятельств, от автора не зависящих, они не увидели света, как, впрочем, и весь 56-й том. Время кое-где покрыло туманом даты и имена, но в незначительной степени и несущественно. Главное же высвечено писательницей точно — это чисто человеческие черты поэта и те грани его характера, которые знали столь немногие. Это, мне думается, основное, чем интересен рассказ Эльзы Триоле.

ВАСИЛИЙ КАТАНЯН,
кинорежиссер,
лауреат Ленинской премии

I

Время ложится на воспоминания, как могильная плита. С каждым днем плита тяжелеет, все труднее становится ее приподнять, а под нею прошлое превращается в прах. Не дать ускользнуть тому, что осталось от живого Маяковского... Поздно я взялась за это дело. То, что я писала о нем на французском языке, та небольшая книга, вышедшая в Париже в 1939 году, предназначалась для французского читателя, которому я пыталась дать представление о русском поэте Владимире Маяковском. Здесь же мои воспоминания вольются в общее дело современников Маяковского: оживить его для будущих поколений.

Я познакомилась с Маяковским, если не ошибаюсь, осенью 1913 года, в семействе Хвас. Хвасов, родителей и двух девочек, Иду и Алю, я знала с детских лет, жили они на Каретной-Садовой, почти на углу Триумфальной, ныне площади Маяковского. А мы — мать, отец, сестра Лиля и я — жили на Маросейке. Каретная-Садовая казалась мне краем света, и ехать туда было действительно далеко, а так как телефона тогда не было и ехали на авось, то можно было и не застать, проездить зря. Долго тряслись на извозчике, Лиля и я на коленях у родителей. Чем занимался отец Хвас, не помню, а мать была портнихой, и звали ее Минной, что я запомнила оттого, что вокруг крыльца, со всех трех сторон висело по большущей вывеске: «Минна». Квартира у Хвасов была большая и старая, вся перекошенная, с кривыми половицами. В гостиной стоял рояль и пальмы, в примерочной — зеркальный шкаф, но самое интересное в квартире были ее недра, мастерские. Вечером или в праздник, когда там не работали, то в самой большой из мастерских, за очень длинным столом, пили чай и обедали.

Старшая девочка, Ида, дружила с Лилей, а я была мала и для Али, младшей, — ей было обидно играть с

маленькой. Из развлечений я помню только, как Ида, Лиля и Аля, все сообща, запирали меня в уборную, и я там кричала истошным голосом, оттого, что ничего на свете я так не боялась, как запертой снаружи двери.

И, сразу, после этих детских лет всплывает тот вечер первой встречи с Маяковским, осенью 13-го года. Мне было уже шестнадцать лет, я кончила гимназию, семь классов, и поступила в восьмой, так называемый педагогический. Лиля, после кратковременного увлечения скульптурой, вышла замуж. Ида стала незаурядной пианисткой, Аля — художницей. Я тоже собиралась учиться живописи, у Машкова, разница лет начинала стираться, и когда я вернулась с летних каникул, из Финляндии, я пошла к Хвасам уже самостоятельно, без старших.

В хвасовской гостиной, там, где стоял рояль и пальмы, было много чужих людей. Все шумели, говорили, Ида[1] сидела у рояля, играла, напевала. Почему-то запомнился художник Осьмеркин[2] с бледным, прозрачным носом, и болезненного вида человек по фамилии Фриденсон[3]. Кто-то необычайно большой, в черной бархатной блузе, размашисто ходил взад и вперед, смотрел мимо всех невидящими глазами и что-то бормотал про себя. Потом, как мне сейчас кажется — внезапно, он также мимо всех загремел огромным голосом. И в этот первый раз на меня произвели впечатление не стихи, не человек, который их читал, а все это вместе взятое, как явление природы, как гроза... Маяковский читал «Бунт вещей», впоследствии переименованный в трагедию «Владимир Маяковский».

Ужинали все в той же мастерской за длинным столом, но родителей с нами не было, не знаю, где они скрывались, может быть, спали. Сидели, пили чай... Эти, двадцатилетние, были тогда в разгаре боя за такое или эдакое искусство, я же ничего не понимала, сидела девчонка девчонкой, слушала и теребила бусы на шее... нитка разорвалась, бусы посыпались, покатились во все стороны. Я под стол, собирать, а Маяковский за мной, помогать. На всю долгую жизнь запомнились полутьма, портняжий сор, булавки, нитки, скользкие бусы и рука Маяковского, легшая на мою руку.

Маяковский пошел меня провожать на далекую Маросейку. На его площади стояли лихачи. Мы сели на лихача.

* * *

Начались занятия в гимназии. Училась я у Валицкой, только что переехавшей с Покровки, из особняка князя Голицына, на Земляной вал, в дом Хлудова, за которым был большой старый сад. Во время перемены, гуляя по саду, я рассказывала подруге Наде про эту необычайную встречу.

Маяковский звонил мне по телефону, но я не хотела его видеть, и встретилась с ним случайно. Он шел по Кузнецкому мосту, на нем был цилиндр, черное пальто, и он помахивал тростью. Повел бровями, улыбнулся и спросил, может ли прийти в гости. Начиная с этой встречи, воспоминания встают кадрами, налезают друг на друга, и я не знаю, ни какой срок их отделяет, ни в каком порядке они располагаются.

Это было в 13-м году, до войны, т. к. тогда мой отец был еще юрисконсультом австрийского посольства, и, между прочим, к нему иногда обращались за советом приезжавшие на гастроли и не поладившие с антрепренером австрийские актеры, акробаты, эксцентрично одетые шантанные певицы, тирольцы с голыми коленками... но первое появление Маяковского в цилиндре и черном пальто, а под ним желтой кофте-распашонке, привело открывшую ему горничную в такое смятение, что она шарахнулась от него в комнаты за помощью.

Летом 14-го года мама и я отвезли в Берлин заболевшего отца. Там ему сделали операцию, наступило временное улучшение, он поправился, встал, ходил. Объявление войны застало нас в санатории под Берлином. Пришлось спешно бежать оттуда, в объезд, через Скандинавию. По возвращении в Москву как будто поправившийся отец начал по-прежнему работать.

В это время Маяковский бывал у меня часто, может быть, ежедневно. Вижу его у меня в комнате, он сидит, размалевывает свои лубки военных дней (очевидно, то было в августе-сентябре 14-го года):

Едут этим месяцем
Турки с полумесяцем.

С криком Дейчланд юбер аллес
Немцы с поля убирались.

Австрияки у Карпат
Поднимали благой мат.

Возможно, что именно эти лубки были сделаны у меня, уж очень крепко засели в голове подписи к ним. Володя малюет, а я рядом что-нибудь зубрю, случалось правлю ему орфографические ошибки.

Вижу себя в гостиной, у рояля (я тогда училась в музыкальной школе Гнесиных, у Ольги Фабиановны), а Володя ходит за моей спиной и бурчит: стихи пишет. Он любил, под музыку.

А еще помню его за ужином: за столом папа, мама, Володя и я. Володя вежливо молчит, изредка обращаясь к моей матери с фразами, вроде: «Простите, Елена Юльевна, я у вас все котлеты сжевал...», и категорически избегая вступать в разговоры с моим отцом. Под конец вечера, когда родители шли спать, мы с Володей переезжали в отцовский кабинет, с большим письменным столом, с ковровым диваном и креслами на персидском ковре, книжным шкафом... Но мать не спала, ждала, когда же Володя, наконец, уйдет, и по нескольку раз, уже в халате, приходила его выгонять: «Владимир Владимирович, вам пора уходить!» Но Володя, нисколько не обижаясь, упирался и не уходил. Наконец, мы в передней, Володя влезает в пальто и тут же попутно вспоминает о существовании в доме швейцара, которого придется будить и для которого у него даже гривенника на чай не найдется. Здесь кадр такой: я даю Володе двугривенный для швейцара, а в володиной душе разыгрывается борьба между так называемым принципом, согласно которому порядочный человек не берет денег у женщины, и неприятным представлением о встрече с разбуженным швейцаром. Володя берет серебряную монетку, потом кладет ее на подзеркальник, опять берет, опять кладет... и наконец уходит навстречу презрительному гневу швейцара, но с незапятнанной честью.

А на следующий день все начиналось сызнова: появлялся Володя, с изысканной вежливостью здоровался с моей матерью и серьезно говорил ей: «Вчера, только вы легли спать, Елена Юльевна, как я вернулся по веревочной лестнице...» И мама, несмотря на присущее ей чувство юмора, и на то, что мы жили на третьем этаже, с беспокойством смотрела на Маяковского: может быть, он действительно вернулся, не по веревочной, а по обыкновенной лестнице.

Я же относилась к Маяковскому ласково и равнодушно, ни ему, ни себе не задавала никаких вопросов, присутствие его в доме считала вполне естественным, училась, читала книги и, случалось, задерживалась где-нибудь, несмотря на то, что он должен был прийти. Не застав меня, Володя оставлял свою визитную карточку, сантиметров в пятнадцать ширины, на которой желтым по белому во всю ширину и высоту было напечатано: ВЛАДИМИР *Маяковский*. Моя мать неизменно ее ему возвращала и неизменно ему говорила: «Владимир Владимирович, вы забыли вашу вывеску». Володя расшаркивался, ухмылялся и клал вывеску в карман.

Удивительно то, что меня ничего в Маяковском не удивляло, что мне все казалось вполне естественным — и визитные карточки, и желтая кофта, и постоянное бормотанье. Когда мы бывали где-нибудь вместе, меня нисколько не смущало, что на него весь честной народ таращит глаза, я на этом как-то не останавливалась, и его странное иной раз поведение, необычную внешность и костюм воспринимала с полным равнодушием. Выступления, пресса, «футуризм», шум и скандал до меня не доходили.

Таково было положение вещей, когда в Москву из Петрограда приехала Лиля. Здоровье отца опять ухудшилось. Как-то, мимоходом, она мне сказала: «К тебе тут

какой-то Маяковский ходит... Мама из-за него плачет». Я необычайно удивилась и ужаснулась: мама плачет! И когда Володя позвонил мне по телефону, я тут же сказала ему: «Больше не приходите, мама плачет».

К лету 15-го года отец уже больше не вставал. Мама была при нем безотлучно, и я не хотела, чтобы мама плакала из-за меня.

* * *

Отца перевезли в Малаховку на дачу, которую мы занимали с теткой, маминой сестрой. Не знаю, не помню, каким образом Володя меня там нашел. Просил встретиться, назначал мне свидания на малаховской станции. Я же то не приходила, то приводила с собой тетку и видела Володю только издали, стоящего раздвинув ноги, спиной к дачному вокзалу... В который-то раз, все-таки, почему-то пришла одна: он так же стоял, с папиросой в зубах и мутным от ярости взглядом. Должно быть, то было вечером, оттого что, отойдя от вокзала, Володя мне вспоминается как тень, бредущая рядом со мной по пустой дачной улице. Злобствуя на меня, Володя шел на расстоянии, и в темноте, не обращаясь ко мне, скользил вдоль заборов его голос, стихами. К тому, что Володя постоянно пишет стихи, про себя или голосом, я давно привыкла и не обращала на то внимания. Я не обращала никакого внимания на то, что он поэт. И внезапно, в тот вечер, меня как будто разбудили, как будто зажгли яркий свет, меня озарило, и вдруг я услышала негромкие слова:

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?

И дальше... Я остановилась и взволнованно спросила:
— Чьи это стихи?
— Ага! Нравится?.. То-то! — сказал Володя, торжествуя.

Мы пошли дальше, потом сели где-то, и на одинокой скамейке, под звездным небом, Владимир Маяковский долго читал мне свои стихи. Должно быть, «Облако» и только «Облако».

Сознательная моя дружба с Маяковским началась буквально с этой строчки:

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?

В эту ночь зажглось во мне великолепное, огромное, беспредельное чувство восхищения и преданнейшей дружбы, и так по сей день мною владеет.

Поэзию я всегда любила, органически, сама того не зная, и с детских лет помню живущую со мной тяжесть коричневого однотомника Пушкина и красного — Лермонтова. И так, как иной раз целая эпоха вспоминается только оттого, что повеет сиренью или талым снегом, как напоминает о чем-нибудь песня, так какая-то сторона прошлого вспоминается мне только стихами... Когда в уголочке памяти оказываются, как невыметенный мусор, строки:

Мир хаотических видений
Во мгле змеящейся мечты...

я немедленно вспоминаю гимназию, классы, раздевалку с ботиками... Стоит мне произнести, прочесть, услышать северянинские строки —

Виновных нет, все люди правы
В такой благословенный день!

или же Блока...

Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая...

его «Балаганчик»

...Помогите!
Истекаю я клюквенным соком!
Забинтован тряпицей!
На голове моей — картонный шлем!
А в руке — деревянный меч!
Заплакали девочка и мальчик,
И закрылся веселый балаганчик...

и сейчас же вспоминаются мне Пятницкая, Архитектурные курсы, тогдашние друзья и переживания... Жизнь размечена стихами, как верстовыми столбами. Но если б мне тогда сказали, что я люблю поэзию, я бы не поняла и удивилась. А между тем поэзия была для меня таким великим искусством, что, пораженная поэзией Маяковского, я немедленно привязалась к нему изо всех сил, я превратилась в страстную, ярую защитницу и пропагандистку его стихов. Все тогда им написанное я знала наизусть и буквально лезла в драку, если ктонибудь осмеливался критиковать поэзию Маяковского или его самого. За этим восторгом не крылись ни влюбленность, ни поэтические принципы или теории, это был вполне непосредственный восторг, который ощущаешь перед красотой пейзажа, морем, вечными снегами; это была неосознанная благодарность за то человеческое, что было сказано, выражено стихами и тем самым приносило облегчение всем страждущим.

* * *

Сразу стало ясно и просто, что я могу встречаться с Маяковским тайком и без малейшего угрызения совести. Я приезжала в город, в нашу пустую, пахнущую нафталином, летнюю квартиру, со свернутыми коврами, завешенными кисеей лампами, с двумя роялями в накинутых, как на вороных коней, попонах. У Володи был грипп, сильный жар. Сегодня мне кажется, что мы встречались часто, что это время длилось долго. На самом деле Володя служил в автомобильной роте, в Петрограде, в Москву наезжал изредка. По воспоминаниям Иды Хвас[4], 7 июля 15-го года мы справляли Володины именины в гостинице, на углу Столешникова и Петровки, вчетвером, с Георгием Якуловым[5], что подтверждает мои смутные воспоминания об этой встрече и о появлении черноволосого, юркого и пучеглазого, как ящерица, Якулова.

В июле умер отец. Лиля приехала на похороны. И, несмотря ни на что, мы говорили о Маяковском. Она о нем, конечно, слыхала, но к моему восторгу отнеслась скептически. После похорон, оставив мать с теткой на даче, я поехала к Лиле, в Петроград, и Маяковский пришел меня навестить к Лиле, на улице Жуковского. В этот ли первый раз, в другую ли встречу, но я уговорила Володю прочесть стихи Брикам, и думается мне, что тогда, в тот вечер уже наметилась судьба многих из тех, что слушали «Облако» Маяковского... Брики отнеслись к стихам восторженно, безвозвратно полюбили их. Маяковский безвозвратно полюбил Лилю.

* * *

После смерти отца мама и я переехали с Маросейки в Голиковский переулок, что на Пятницкой. Я поступила на Архитектурные курсы. Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый год... Встречи в Москве, Петрограде. Не буду говорить о событиях, перевороте, а только — узко — о Маяковском, об имеющем прямое к нему отношение. В один из приездов в Москву Володя привел ко мне своего закадычного друга, Станислава Борисовича Гурвица, который сильно импонировал Володе культурой, остроумием, западным снобизмом, хорошо сшитым пиджаком, небрежностью и тем, что он был прелестным человеком. Если не ошибаюсь, Станечка был студентом-техником. Когда Володя уехал в Петроград, Станечка достался мне в наследство, и так зачастил ко мне, что, когда приезжал Володя, мы уже проводили время втроем. Сидели у меня, ходили куда-то ужинать, кого-то слушать, бывали в Художественном кружке. Одно помню твердо: разговоры Володи со Станечкой заставляли меня смеяться положительно до рыданий! Уезжая, Володя, превратившийся каким-то образом в «дядю Володю», поручал меня своему другу.

От этих времен у меня чудом сохранилось несколько

Володиных писем из Петрограда. Коротенькие строчки воскрешают далекий мир, дружбу с «дядей Володей», которого я, очевидно, тогда посвящала во все мои переживания и романы... «Рад, что ты поставила над твоим И. «точку»». Если б не эта фраза, я бы об И. никогда и не вспомнила, не вспомнила бы и всей атмосферы отношений с Володей, откровенности, взаимной преданности. Я знала, я твердо знала, что за Маяковским надо следить, что он не просто поэт, а поэт воинствующий, что он не просто — человек, а человек, несущий в себе всю боль человеческую, и что от любви, счастья, жизни он требует невозможного, бессмертного, беспредельного. Всю жизнь я боялась, что Володя покончит с собой. И когда я получила от него письмо (19.12.16) со строчкой из «Облака» — «уже у нервов подкашиваются ноги», я бросилась к Станечке: надо ехать спасать Володю! Но Станечка смеялся надо мной, утверждая, что Володя мне это пишет оттого, что ему не с кем ходить в кинематограф. Мне было девятнадцать лет, и без разрешения матери я еще никогда никуда не ездила, но на этот раз я просто, без объяснения причины, сказала ей, что уезжаю в Петроград.

* * *

От поездки остались в памяти только какие-то обрывки. Полутемная комната, должно быть, та самая, на Надеждинской... Диван, стул, стол, на столе вино...

...«знаю
способ старый
в горе
дуть винище»...

Володя сидит у стола, ходит по комнате, молчит... Я в углу, на диване. Жду. Молчит, пьет, сидит, ходит... Час за часом... Вот уж и у моих нервов начинают подкашиваться ноги. Сколько времени будет продолжаться эта мука? Зачем я приехала! Ничем я не могу ему помочь, и совсем я ему не нужна. Вскочила, собралась уходить. Внизу, у подъезда, уже, должно быть, очень долго, меня ждал другой Владимир, Владимир Иванович.

— Куда ты?

— Ухожу.

— Не смей!

— Не смей говорить мне «не смей»!

Мы поссорились. Володя, в бешенстве, не отпускал меня силой. Я вырывалась, умру, но не останусь! Кинулась к двери, выскочила, схватила в охапку шубу. Я спускалась по лестнице, когда Володя прогремел мимо меня: «Пардон, мадам...» и приподнял шляпу.

Когда я вышла на улицу, Володя уже сидел в санях, рядом с поджидавшим меня Владимиром Ивановичем. Маяковский заявил, что проведет вечер с нами, и тут же, с места, начал меня смешить и измываться над Владимиром Ивановичем. А тому, конечно, не под силу было отшутиться, кто же мог в этом деле состязаться с Маяковским? И мы, действительно, провели весь вечер втроем, ужинали, смотрели какую-то программу... и смех, и слезы! Но каким Маяковский был трудным и тяжелым человеком.

Жила я, конечно, у Лили, на улице Жуковского. Это было тогда, когда писались «Война и Мир» и «Человек»[6]...

— «Прохожий!
Это улица Жуковского?
Смотрит,
как смотрит дитя на скелет,
глаза вот такие,
старается мимо.
«Она — Маяковского тысячи лет:
он здесь застрелился у двери любимой».

Именно в этот приезд он читал на улице Жуковского, у Бриков, «Войну и Мир». Узкая комната, в одно окно, диван, на котором Лиля, когда уходили гости, стелила мне постель, рояль и теснота. С немеркнущей ясностью помню голос, выражение лица Володи, когда он читал...

«Вздрогнула от крика грудь дивизий.
Вперед!
Пена у рта.
Разящий Георгий у знамен в девизе,
барабаны
тра-та-та-та-та — та-та-та-та-та-та»

Помню барабан собственного сердца, Виктора Шкловского, который плакал, положив на рояль тогда кудрявую голову... Вот она, война!

В этот приезд, под Новый год, у Лили устроили «футуристическую елку»: разубранную елочку подвесили под потолок, головой вниз, как люстру, стены закрыли белыми простынями, горели свечи, приклеенные к детским круглым щитам, а мы все разоделись и загримировались так, чтобы не быть на самих себя похожими. На Володе, кажется, было какое-то, апашевского вида, красное кашне, на Шкловском матросская блуза. В столовой было еще тесней, чем в комнате с роялем, гости сидели вокруг стола, прижатые к стене, блюда передавались через головы, прямо из дверей. Были тут Давид Бурлюк[7] с лорнетом, Велимир Хлебников[8], сутулый и бледный, похожий, как говорил Шкловский[9], на большую больную птицу, синеглазый Василий Каменский[10], Кузмин[11] и Юркун[12], и много другого народа. Я сидела рядом с Васей Каменским, у которого лицо было разрисовано синим гримировальным карандашом: синие брови, на одной щеке — синяя птичка. Но для Каменского иллюстрация лица была делом не новым, футуристы нередко выступали в таком виде, и у меня даже сохранилась фотография Каменского с цветочком на щеке. Казанское происхождение фотографии позволяет отнести ее к февралю 14-го года, когда Каменский, Маяковский и Бурлюк ездили по России с докладами о футуризме. Это предположение подтверждается имеющейся у меня фотографией Маяковского, с напечатанной подписью: **Футурист Владимир Маяковский** и, мельче: **Электро-Велография. Казань, Воскресенская.** Обе фотографии — открытки одного типа.

В этот новогодний вечер, за столом, мой сосед Вася Каменский предложил мне руку и сердце. Предложение это было, если и не принято, но немедленно оглашено, и Васю Каменского уже все звали не Васей, а женихом.

* * *

Когда я вернулась в Москву, тот тут же возник и Вася Каменский. Он восхитительно рассказывал моей матери про красоты своего имения «Каменка» на Урале, но так бесконечно длинно, что я оставляла его с мамой, а сама уходила по своим делам. Приехал в Москву и Володя, и постоянно заставая у меня Васю, с беспокойством следил за его маневрами, и говорил моей матери, замученной Васиным красноречием: «Елена Юльевна, не верьте ему, у него на Урале всего один цветочек!» И для вящего доказательства Володя поднимал один палец. Мне же поистине было тогда не до Васиных рассказов, предложений, Урала... В то время, накануне революции, моя судьба сошла с рельс. Но я уже Володе своих тайн не поверяла: было ясно, что он все рассказывает Лиле. А жизнь как будто шла по-прежнему: я ходила на курсы, сдавала зачеты, встречалась с друзьями.

Петроградские и московские воспоминания... Помню разговор с Володей о задуманном им романе, который должен был называться «Две сестры»[13] (название на него похожее, близкое к «Трем сестрам», как «Война и Мир», название поэмы, которая тогда писалась близко к «Войне и миру»). То вспоминается еще одна отчаянная ссора с Володей, все из-за того же самого Владимира Ивановича, с которым я ушла справлять его именины, а Володя требовал, чтобы я справляла его, Володины, именины дома, с Лилей. Когда я вернулась, он был так разобижен, что не хотел мне даже руки подать — мирила нас Лиля. То вспомнится, как Володя привел ко мне Асеева, и с ним стихи:

Оксана! жемчужина мира!
Я воздух на волны дробя,
На дне Малороссии вырыл
И в песню оправил тебя.

В тихой квартире, в Голиковском переулке, я слушала стихи и восторженные рассказы Асеева об Оксане, одной из сестер Синяковых[14], оживших позднее также и в стихах Хлебникова, в его «Синих оковах»[15].

Хлебников, Маяковский, Каменский, Асеев, Крученых... Они нарушали в поэзии повторность буквы Б... Брюсов, Бальмонт, Белый, Блок... мой поэтический пейзаж дореволюционного периода. С каким наслаждением я слушала Асеева! Но над всеми, над всей поэзией того времени продолжал для меня царить Маяковский. И когда в феврале 18-го года, в Политехническом музее, были «выборы короля поэтов» и «королем» провозгласили Северянина, а не Маяковского, я волновалась необычайно. Сравнивать Северянина или Вертинского с Маяковским! Сравнивать их поэзию, похожую на «ананасы в шампанском», с их девушками, «кокаином распятыми в мокрых бульварах Москвы»... с поэзией Маяковского! Сам Маяковский стоял на эстраде бледный, растрепанный, перекрывая шум бушевавшей аудитории уже охрипшим от крика голосом!

Смутно всплывает ночное «Кафе поэтов», на него наезжает фотография из фильма по сценарию Маяковского «Не для денег родившийся»[16], где на фоне «Кафе поэтов»[17] с намалеванными на сводах большими цветами стоят Маяковский в кепке, рядом Бурлюк с лорнетом, а некий Климов, с обручем вокруг головы, сидит, у стола, на скамейке, положив на нее ногу. В таком вот «Кафе поэтов» выступал Маяковский, и я его там слушала, но я это скорее знаю, чем помню. Лучше запомнилось «Кафе Питтореск»[18] на Кузнецком мосту, оформленное Георгием Якуловым. Мы заходили туда, когда оно еще только отделывалось, и Володя одобрительно заметил: «Смотри, как стенки ощетинились!». В этом кафе, позднее, выступали и Маяковский и Каменский.

А вот мы у Лили, на Жуковской, в том же доме, но на другом этаже. В большой пустой комнате зеркало, на стенах балетные пачки: Лиля увлекается балетом... Вечером приходит мой будущий муж, Андре Триоле, француз, в военной форме. На него из соседней комнаты, где играют в карты, выходят посмотреть Лиля, Володя... Без комментариев. Володя отчужденно здоровается. Он вежлив и молчалив и никогда со мной об этом французском романе не заговаривает.

* * *

В 18-м году сдавала экзамены, получила свидетельство об окончании архитектурно-строительного отделения Московских женских строительных курсов, помеченное 27 июня 1918 года. На той же Новой Басманной, где находились мои курсы, в бывшем Институте для благородных девиц, мне выдали заграничный советский паспорт, в котором значилось — «для выхода замуж за офицера французской армии»; а в паспорте моей матери стояло: «для сопровождения дочери». Товарищ, который выдал мне паспорт, сурово посмотрел на меня и сказал в напутствие: «Что у нас своих мало, что вы за чужих выходите?».

Распродали вещи. Когда вынесли рояль, семье рабочего, занявшей нашу квартиру, стало свободней. Подошел день отъезда. Сели на извозчика, с чемоданом. На весь Голиковский переулок заголосила моя кормилица, Стеша. Так мне и не довелось ее больше увидеть, а я-то думала, что через каких-нибудь три-четыре месяца вернусь!

Мы должны были ехать в Париж через Швецию. Если не ошибаюсь, наш пароход «Онгерманланд» уходил из Петрограда 4 июля. Остановились у Лили. В квартире никого не было: Володя и Лиля уехали вдвоем в Левашово, под Петроградом. Для мамы такая перемена в Лилиной жизни, к которой она совсем не была подготовлена, оказалась сильным ударом. Она не хотела видеть Маяковского и готова была уехать, не попрощавшись с Лилей. Я отправилась в Левашово одна.

Было очень жарко. Лиличка, загоревшая на солнце до волдырей, лежала в полутемной комнате; Володя молчаливо ходил взад и вперед. Не помню, о чем мы говорили, как попрощались... Подсознательное убеждение, что чужая личная жизнь нечто неприкосновенное, не позволяло мне не только спросить, что же будет дальше, как сложится жизнь самых мне близких любимых людей, но даже показать, что я замечаю новое положение вещей.

А на следующий день, прямо с утра, приехала Лиля, будто внезапно поняв, что я действительно уезжаю, что выхожу замуж за какого-то чужого француза, и что накануне, в Левашове, я была, чтобы попрощаться с ней и Володей... «Может быть, ты передумаешь, Элечка? Не уезжай! Выходи лучше за Рому[19]...» Да поздно она спохватилась.

На пристань Володя не приехал, т. к. мама не сменила гнев на милость. На многие годы я увезла с собой молчаливого Володю, ходившего по полутемной комнате, а Лиличку такой, какой она была на пристани, в час отбытия. Это было в июле 1918 года. Жара, голодно, по Петрограду гниют горы фруктов, есть их нельзя оттого, что холера, как сыщик, хватает людей где попало, на улице, в трамвае, по домам. С немыслимой тоской смотрю с палубы на Лиличку, которая тянется к нам, хочет передать нам сверток с котлетами, драгоценным мясом. Вижу ее удивительно маленькие ноги в тоненьких туфлях рядом с вонючей, может быть холерной, лужей, ее тонкую фигурку, глаза...

Круглые
да карие,
Горячие
до гари.

Пароход отчалил.

В Стокгольме нас сразу посадили в карантин: на пароходе повар заболел холерой, а за ним несколько пассажиров. Незабываемо отвращение, которое во мне вызывали шведские еды, особенно пирожное... По ту сторону воды, рукой подать, вставала жизнь «в другом разрезе».

(Продолжение следует.)

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Ида Хвас стала музыкантом, концертмейстером. Работала в студии Станиславского, в Камерном театре, занималась переводами и литературной деятельностью. Была ревностной сторонницей «Бубнового валета» и непременным посетителем его бурных диспутов. Споры об искусстве велись постоянно и в их доме, где встретились Маяковский и Эльза Юрьевна.

2 А. А. Осьмеркин (1892—1953) — советский художник. Член объединения «Бубновый валет», Ассоциации художников революционной России, Общества московских художников.

3 Борис Фриденсон, художник. Сохранился его графический портрет работы Маяковского.

4 «Воспоминания» Иды Хвас хранятся в ЦГАЛИ.

5 Г. Б. Якулов (1884—1928) — советский художник-авангардист; живописец и декоратор. Оформлял спектакли в Москве, Париже, Ереване.

6 «Война и Мир» и «Человек» писались в 1916—1917 годах. «Война и Мир» вышла в декабре 1917 года, а «Человек» в феврале 1918 г.

7 Д. Д. Бурлюк (1882—1967) поэт и художник, один из основателей русского футуризма.

8 В. В. Хлебников (1885—1922) поэт. Один из основателей и теоретиков русского футуризма.

9 В. Б. Шкловский (1893—1984) советский писатель. Одна из его книг посвящена Эльзе Триоле.

10 В. В. Каменский (1884—1961) поэт и художник. Входил в литературную группу кубофутуристов, затем в ЛЕФ. Один из первых русских авиаторов.

11 М. А. Кузмин (1875—1936) поэт, переводчик, музыкант. Был близок к символизму, затем к акмеизму.

12 Ю. И. Юркун (1895—1938) — литератор и художник.

13 Замысел не осуществлен.

14 «Синяковых было пять сестер. Каждая из них была по-своему красива. Во всех них поочередно был влюблен Хлебников, в Надю — Пастернак, в Марию — Бурлюк, на Оксане женился Асеев». («Из воспоминаний» Л. Брик, 1934 г.).

15 Поэма Хлебникова. Само название поэмы и автобиографические мотивы объясняются тем, что Н. Асеев с женой Оксаной и ее сестрой художницей Марией Синяковой был во Владивостоке. На основании их рассказов, Хлебников написал две поэмы — «Синие оковы» и «Переворот во Владивостоке». По словам А. Крученых, поэма «Синие оковы» была написана в начале 1922 года, после приезда Хлебникова в Москву.

16 В марте 1918 г. Маяковский написал для фирмы «Нептун» сценарий «Не для денег родившийся» (по роману Джека Лондона «Мартин Иден»). Он снялся в главной роли — поэта Ивана Нова.

17 «Кафе поэтов» в Настасьинском переулке в Москве, где собирались футуристы. Декорация кафе была воспроизведена в фильме, о котором вспоминает Эльза Триоле.

18 «Кафе Питтореск» было открыто в январе 1918 г.

19 Роман Осипович Якобсон (1896—1982) — крупнейший лингвист, филолог и литературовед, старый друг Маяковского. С Эльзой Триоле и Лилей Брик дружил с детства.

Мои дорогие друзья!

С интересом, удовольствием, с радостью книголюба и книгочея слежу за вашим журналом, за вашими поисками. И самое ценное — за вашим подвижническим возвращением книг, утраченных по идеологической ограниченности сталинского и послесталинского времени. Я старый собиратель книг, но тридцатые годы и война многое уничтожили. Остались лишь осколки от былых собраний. Но кое-что есть. И я хочу поделиться с молодыми людьми через ваш журнал.

Книга «Избранных лирических стихотворений» Августейшего Автора попала ко мне в пору гимназии. Поэт этот был очень популярен тогда как тонкий, сентиментальный лирик. Многим из вас и в голову не приходит, когда вы слышите «Серенаду» Петра Ильича Чайковского «О, дитя, под окошком твоим я тебе пропою серенаду...», что слова эти принадлежат Великому князю Константину Константиновичу. А жаль, что его имя ушло из русской поэзии вместе с варварским уничтожением всего царского. Надо поправлять несправедливость, особенно когда она касается ценностей духовных...

Познакомьте читателей «Слова» с поэзией «К. Р.» — так в силу скромного, застенчивого характера своего подписывал стихи замечательный русский поэт Константин Романов. Может, и издателям такая публикация окажется полезной.

С уважением,
СЕМЕН ГЕЙЧЕНКО.

ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ,
октябрь 1989 г.



редкая книга

О ЗАБЫТОМ ПОЭТЕ

Его Императорское Высочество Великий Князь Константин Константинович, второй сын Великого Князя Константина Николаевича и Великой Княгини Александры Иосифовны, родился 10 августа 1858 г. в Императорской мызе Стрельне Петергофского уезда. 26 сентября того же года салют в 301 выстрел и колокольный звон петроградских церквей возвестили жителям столицы о совершении Таинства Крещения над Августейшим Новорожденным. Восприемниками при Таинстве Крещения были: Государь Император Александр Николаевич и вдовствовавшая Государыня Императрица Александра Феодоровна...

Первое стихотворение было написано Великим Князем в 1879 г. Весну этого года он проводил, вместе с Августейшим отцом и сестрой — Королевой Эллинов Ольгой Константиновной, на южном берегу Крыма. Под влиянием весенних красот благодатной природы Крыма молодой Великий Князь воспел вдохновленное ею настроение в следующем восьмистишии, написанном в Ориандe:

Задремали волны,
Ясен неба свод;
Светит месяц полный
Над лазурью вод.
Серебрится море,
Трепетно горит...
Так и радость горе
Ярко озарит.

За этим первым поэтическим произведением последовали и другие, но выступить в печати поэт решился лишь три года спустя: в августовской книжке «Вестника Европы» (1882 г.), в котором в то время печатались произведения корифеев нашей литературы — Тургенева («Стихотворения в прозе»), гр. Алексея Толстого, Полонского, Жемчужникова и др., появилось на первой странице стихотворение «Псалмопевец Давид», написанное Августейшим Автором в сентябре предыдущего года в Татое, близ Афин. Появилось это стихотворение под скромной подписью К. Р. Присяжные любители поэзии остановили на нем внимание, но для большой читающей публики эти скромные авторские инициалы промелькнули незаметно. Когда же в декабрьской книжке журнала появилось сразу пять стихотворений под общим заголовком «В Венеции», на неведомого, но несомненно даровитого поэта, продолжавшего скрываться под таинственными инициалами, и критика и читающая публика обратили широкое внимание. По мере того, как стихотворения К. Р. продолжали появляться в печати, интерес к личности автора их все больше возрастал, и постепенно стало известно, что под скромной подписью скрывается талантливый Августейший Поэт...

В 1886 г. появился первый сборник «Стихотворений К. Р.», который был издан в ограниченном количестве экземпляров и в продажу не поступил: Автор, ввиду свойственной ему чрезвычайной скромности, видимо, все еще сомневался в своих силах и предназначил сборник только для литературных друзей и для опытных судей в лице таких почтенных представителей

Из вступительной статьи Н. Сергиевского к сборнику К. Р. «Избранные лирические стихотворения», Петроград, 1915 г. Орфография авторская.

поэтического творчества и критики, как А. А. Фет, А. Н. Майков, Н. Н. Страхов и др., на суд которых он и послал свой сборник. После этого обращения начинающего поэта к маститым собратьям по перу, между ними и К. Р. начались и переписка, и дружественное знакомство. Особенно тесное литературное общение завязалось между Августейшим Поэтом, Фетом и Майковым, искренно ценившими вдохновенное дарование К. Р., нежную прелесть его певучей лирики. В одном из своих посвящений А. А. Фету, Августейший Автор просит маститого поэта, свершившего с верой «в доброе и в Бога» «высокий подвиг свой», благословить «своей дряхлеющей рукою» «на трудный путь» — его, «взращенного судьбою в цветах и счастьи, и любви». И вот, посылая К. Р. третий выпуск своих «Вечерних Огней», поэт-старец, в предвидении близкой могилы, в следующих знаменательных словах передает младшему товарищу по творчеству свое благословение

Трепетный факел, — с вечерним мерцанием
Сна непробудного чую истому, —
Немощен силой, но горд упованием
Вестнику света сдаю молодому

Доживавший свои дни великий поэт с полной верой передавал К. Р. «факел» русской поэзии, благословлял его быть «вестником света» на поприще родного искусства, соблюдать в служении этому искусству заветы добра и красоты, его самого всю жизнь вдохновлявшие, — великие заветы чистого искусства, преподанные русской литературе великим Пушкиным. Чтобы понять в должной мере всю важность подобного, так сказать, «литературного завещания», надо отдать себе отчет в огромном значении литературного авторитета, каким пользовался Фет, про которого чуткий критик Страхов сказал, что он в своем роде «поэт единственный, несравненный, дающий нам самый чистый и настоящий поэтический восторг, истинные бриллианты поэзии»; что Фет — «истинный пробный камень для способности понимать поэзию». Годом позже (в 1899 г.) после этого события большого значения в литературной жизни К. Р., каковым несомненно должно быть признано вышеупомянутое «литературное завещание» А. А. Фета, другой маститый поэт, А. Н. Майков, назвал К. Р. «поэтом-провидцем»...

По случаю предстоящего в 1899 г. чествования столетия со дня рождения А. С. Пушкина, Академией наук был объявлен конкурс на сочинение кантаты. По рассмотрении особой комиссией всех представленных на конкурс произведений, стихотворение под девизом «Душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел» — было единогласно признано наиболее совершенным из числа других (около 40), представленных на конкурс. По вскрытии запечатанного конверта, приложенного к кантате, оказалось, что она принадлежит перу К. Р. Кантата, переложенная на музыку А. К. Глазуновым, была исполнена на торжественном чрезвычайном заседании Академии, созванном в день чествования столетия со дня рождения ее знаменитого сочлена. На том же заседании состоялось объявление Высочайшего указа Правительствующему Сенату об учреждении при Академии наук «разряда изящной словесности» взамен существовавшей со времен Императрицы Екатерины II Российской Академии, преобразованной впоследствии в отделение русского языка и словесности, которое преследовало чисто филологические цели и в которой не избирались выдающиеся художники слова. В память одного из славнейших членов Российской Академии А. С. Пушкина, таковая возрождалась в лице разряда изящной словесности. 8 января 1900 г. состоялись первые выборы «пушкинских академиков», и в число первых девяти наших «бессмертных» оказался избранным поэт К. Р. (наряду со следующими поэтами и писателями: гр. Л. Н. Толстым, А. А. Потехиным, А. Ф. Кони, А. М. Жемчужниковым, гр. А. А. Голенищевым-Кутузовым, В. С. Соловьевым, А. П. Чеховым и В. Г. Короленко).

К этому времени литературное имя поэта К. Р. стало широко известно не только в пределах России, но и за границей. Любители чистой лирики зачитывались его задушевными, вдохновенными стихами. После первого сборника его лирических произведений (в продажу, как мы знаем, не поступившего), в 1886 г. вышло 2-е издание «Стихотворений К. Р.», а в 1900 г. был издан 3-й сборник.

Успех оба сборника имели крупный и в короткое время оказались распроданными. Эти два сборника были переведены на немецкий язык поэтом профессором доктором Юлиусом Гроссе (в 1891 и 1895 гг.) и, выпущенные в свет в Германии, имели там выдающийся успех..

Такова в весьма сжатых словах литературная деятельность Августейшего Поэта. К ней тесным образом примыкает театрально-артистическая его деятельность: многократно выступая на сцене домашних театров — Императорского Эрмитажного, Царскосельского «Китайского» и в «Измайловском Досуге», он создал новый, сильный, глубоко продуманный образ Гамлета, дал вдохновенный образ Иосифа Аримафейского в драме «Царь Иудейский»

В заключение характеристики богато одаренной натуры Августейшего Поэта следует добавить, что он является прекрасным музыкантом и проникновенным ценителем музыкального искусства. Недаром многие его стихотворения, ритмичные и певучие, переложенные на музыку лучшими нашими композиторами, дали содержание многим излюбленнейшим романсам. Таковы: «Повеяло черемухой», «Баркарола», «Сирень», «Мне снилось», «Колокола» и многие другие



КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСЕНКА

Князю Иоанну Константиновичу.

Спи в колыбели нарядной,
Весь в кружевах и шелку,
Спи, мой сынок ненаглядный,
В теплом своем уголку!

В тихом безмолвии ночи
С образа, в грусти святой,
Божией Матери очи
Кротко следят за тобой.

Сколько участья во взоре
Этих печальных очей!
Словно им ведомо горе
Будущей жизни твоей.

Быстро крылатое время,
Час неизбежный пробьет;
Примешь ты тяжкое бремя
Горя, труда и забот.

Будь же ты верен преданьям
Доброй, простой старины;
Будь же всегда упованьем
Нашей родной стороны!

С верою твердой, слепою
Честно живи ты свой век!
Сердцем, умом и душою
Русский ты будь человек!

Пусть тебе в годы сомненья,
В пору тревог и невзгод,
Служит примером терпенья
Наш православный народ

Спи же! Еще не настали
Годы смятений и бурь!
Спи же, не зная печали,
Глазки, малютка, зажмурь!..

Тускло мерцает лампадка
Перед иконой святой...
Спи же беспечно и сладко,
Спи, мой сынок, дорогой!

МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ.
4 марта 1887

* * *

Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.

Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнется счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем,
От всей души, всем помышленьем
Мы Божью милость и любовь?

КРАСНОЕ СЕЛО
10 июня 1899

* * *

Давно скосили за рекой
Широкий луг, и сжаты нивы.
Роняя листья, над водой
Грустят задумчивые ивы.

В красе нетронутой своей
Лишь озимь зеленеет пышно,
Дразня подобьем вешних дней...
— Зима, зима ползет неслышно! —

Как знать: невидимым крылом
Уж веет смерть и надо мною...
О, если б с радостным челом
Отдаться в руки ей без бою;

И с тихой, кроткою мольбой,
Безропотно, с улыбкой ясной
Угаснуть осенью безгласной
Пред неизбежною зимой!

КОЗЕЛЬСКИЙ УЕЗД.
1 октября 1901.

* * *

Растворил я окно, — стало грустно невмочь, —
Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.

А вдали где-то чудно так пел соловей;
Я внимал ему с грустью глубокой
И с тоскою о родине вспомнил своей;
Об отчизне я вспомнил далекой,

Где родной соловей песнь родную поет
И, не зная земных огорчений,
Заливается целую ночь напролет
Над душистою веткой сирени.

МЕЙНИНГЕН.
13 мая 1885.

СЕРЕНАДА

О, дитя, под окошком твоим
Я тебе пропою серенаду...
Убаюкана пеньем моим,
Ты найдешь в сновиденьях отраду;
Пусть твой сон и покой
В час безмолвный ночной
Нежных звуков лелеют лобзанья!

Много горестей, много невзгод
В дольнем мире тебя ожидает:
Спи же сладко, пока нет забот,
И душа огорчений не знает;
Спи во мраке ночном
Безмятежным ты сном,
Спи, не зная земного страданья!

Пусть твой ангел-хранитель святой,
Милый друг, над тобою летает
И, лелея сон девственный твой,
Песню рая тебе напевает:
Этой песни святой
Отголосок живой
Да дарует тебе upованье!

Спи же, милая, спи, почивай,
Под аккорды моей серенады!
Пусть приснится тебе светлый рай,
Преисполненный вечной отрады!
Пусть твой сон и покой
В час безмолвный ночной
Нежных звуков лелеют лобзанья!

ПАЛЕРМО.
5 марта 1882.

КОЛОКОЛА

Несется благовест... — Как грустно и уныло
На стороне чужой звучат колокола.
Опять припомнился мне край отчизны милой,
И прежняя тоска на сердце налегла.

Я вижу север мой с его равниной снежной,
И словно слышится мне нашего села
Знакомый благовест: и ласково, и нежно
С далекой родины гудят колокола.

ШТУТГАРДТ.
20 октября 1887.

* * *

Я баловень судьбы... Уж с колыбели
Богатство, почести, высокий сан
К возвышенной меня манили цели —
Рождением к величью я призван.
Но что мне роскошь, злато, власть и сила?
Не та же ль беспристрастная могила
Поглотит весь мишурный этот блеск,
И все, что здесь лишь внешностью нам льстило,
Исчезнет, как волны мгновенный всплеск?

Есть дар иной, божественный, бесценный,
Он в жизни для меня всего святей,
И ни одно сокровище вселенной
Не заменит его душе моей:
То песнь моя!.. Пускай прольются звуки
Моих стихов в сердца толпы людской,
Пусть скорбного они врачуют муки
И радуют счастливого душой!
Когда же звуки песни вдохновенной
Достигнут человеческих сердец,
Тогда я смело славы заслуженной
Приму неувядаемый венец.

Но пусть не тем, что знатного я рода,
Что царская во мне струится кровь,
Родного православного народа
Я заслужу доверье и любовь,
Но тем, что песни русские, родные
Я буду петь немолчно до конца,
И что во славу матушки России
Священный подвиг совершу певца.

АФИНЫ.
4 апреля 1883.

МОЛИТВА

Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.

Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.

Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!

ПАВЛОВСК.
4 сентября 1886.

Публикация
С. С. ГЕЙЧЕНКО.

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ



Алексей Ремизов. Портрет работы Бориса Кустодиева



Сказочные фантазии и стилизации Алексея Ремизова (1877—1957), так *поразившие современников «чистотой необычайной, музыкой стихийной»* (А. Белый), имеют вполне конкретные фольклорные первоисточники. Уже в своем первом сборнике «Докука и балагурье. Русские сказки» (СПб., 1913) писатель использовал подлинные фольклорные записи Н. Е. Ончукова, А. А. Шахматова, М. М. Пришвина и свои собственные, которые он сделал в 1890—1905 годах в период ссылки в Усть-Сысольске и Вологде за революционную деятельность. В 1923 году, уже в эмиграции, писатель выпустил книгу «Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым», в предисловии к которой писал: «Читая всякие записи, часто спутанные и перепутанные, а иногда просто бессловесные — а это-то и есть самое настоящее! — я как бы припал к земле и послушал. И то, что я услышал, зажглось, как павлиньи перья. Книга эта и есть голос русской земли — слово русского народа, сказанное мною».

Сказки Алексея Ремизова готовятся к публикации в издательстве «Правда», в данном же случае хочется предложить вниманию читателей несколько народных «страшилок», обработанных Алексеем Ремизовым. Ведь «страшилки» — один из древнейших фольклорных и литературных жанров. Слушая рождественские сказки «о мертвецах, о подвигах Бовы», засыпал юный Пушкин, «страшные рассказы зимою в темноте ночей» пленяли пушкинскую Татьяну Ларину, ими заслушивались мальчики в тургеневском «Бежином луге». Некоторые из них сохранились в записях фольклористов и вошли в собрание А. Н. Афанасьева: «Рассказы о мертвецах», «Упырь», «Рассказы о ведьмах», «Морока», «Мертвое тело». «Жених» А. С. Пушкина, «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Заколдованное место» Н. В. Гоголя, «Киевские ведьмы», «Оборотень» Ореста Сомова, «Необойденный дом» Владимира Одоевского, «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова — как эти, так и многие другие произведения так называемой «неистовой» школы в русском и европейском романтизме (литература «ужасов» своего времени) основаны на фольклорном материале, на народных «страшилках». Так что «страшилки» Алексея Ремизова — это еще и продолжение традиций народной литературы.

Лежал мертвец в могиле, никто его не трогал, лежал себе спокойно, тихо и смирно.

Натрудился, видно, бедняга, и легко ему было в могиле.

Темь, сырь, мертвечину еще не чуял, отлеживался, отсыпался после суетливых дней.

Случилось на селе и праздниках игрище — большой разгул и веселье.

На людях, известно, всякому хочется отличиться, показать себя, отколоть коленце на удивление, ну, кто во что, все пустились на выдумки.

А было три товарища — три приятеля, и сговорились приятели попугать сборище покойником:

откопать мертвеца, довести мертвеца до дому, а потом втолкнуть его в комнату, то-то будет удивленье!

Сговорились товарищи и отправились на кладбище.

На кладбище тихо, — кому туда на ночь дорога — высмотрели приятели свежую могилу, и закипела работа:

живо снесли холмик, стали копать и уж скоро разрыли могилу, вытащили мертвеца из ямы.

Ничего, мертвец дался легко, двое взяли его под руки, третий сзади стал, чтобы ноги ему передвигать, и повели, так и пошли —

мертвый и трое живых.

Идут они по дороге, — ничего, вошли в село, скоро и дом, вот удивят!

Те двое передних, что мертвеца под руки держат, ничего не замечают.

А третий, который ноги переставлял, вдруг почувствовал, что ноги-то будто живые:

мертвец уж сам понемножку пятится, все крепче, по-живому ступает ногами.

А, значит, и весь оживет мертвец, будет беда!

Да незаметно и утек.

Идут товарищи, ведут мертвеца —

скоро, уж скоро дом, вот удивят!

Ничего не замечают, а мертвец стал отходить, оживляться, сам уж свободно идет, ничего не замечают, на товарища думают, которого и след простыл, будто его рук дело, ловко им помогает.

Дальше да больше, чем ближе, тем больше, и ожил мертвец —

у, какой недовольный!

Подвели его товарищи к дому, в сени вошли.

А там играют, там веселье — самый разгар, вот удивят!

— А Гришка-то сбежал, оробел, — хватились товарища, и самим стало страшно, думают, поскорее втолкнуть мертвеца, да и уходить, — Гришка сбежал!

Открыли дверь, — вот удивятся! — хотят втолкнуть мертвеца, а выпростать рук и не могут, тянет за собой мертвец.

А правда, в доме перепуг такой сделался, — признали мертвеца — кто пал на землю, кто выскочил, кто в столбняке, как был, так и стал.

Тянет мертвец за собой, и как ни старались — рвутся, из сил выбиваются, держит мертвец, все тесней прижимает.

— Куда ж, — говорит, — вы, голубчики, от меня рветесь? Лежал я спокойно, насилу-то от Бога покой получил, обеспокоили меня, а теперь побывайте со мной!

Совсем как все говорит, только смотрит совсем не по-нашему!

Нет, не уйти от такого, не выпустит, — совсем не по-нашему!

***

Собралось все село смотреть.

А эти несчастные уж и не рвутся, не отбиваются, упрашивают мертвеца, чтобы освободил их, выпростал руки.

А он только смотрит, крепко держит, ничего не сказывает.

Стал народ полегоньку отрывать их от покойника, не тут-то, кричат не в голову, что больно им.

Ну, и отступился народ.

Отступился народ, говорят, надо всех трех хоронить.

И видят несчастные, дело приходит к погибели, заплакали, сильней умолять мертвеца стали, чтобы освободить их.

А он только смотрит, еще крепче держит, ничего не сказывает.

И два дня, и две ночи не выпускал их мертвец, а на третий день ослабели мертвецкие руки, подкосились мертвецкие ноги, да тело-то их, руки-то их с мертвым, с мертвецким телом срослись — хоть руби, не оторваться!

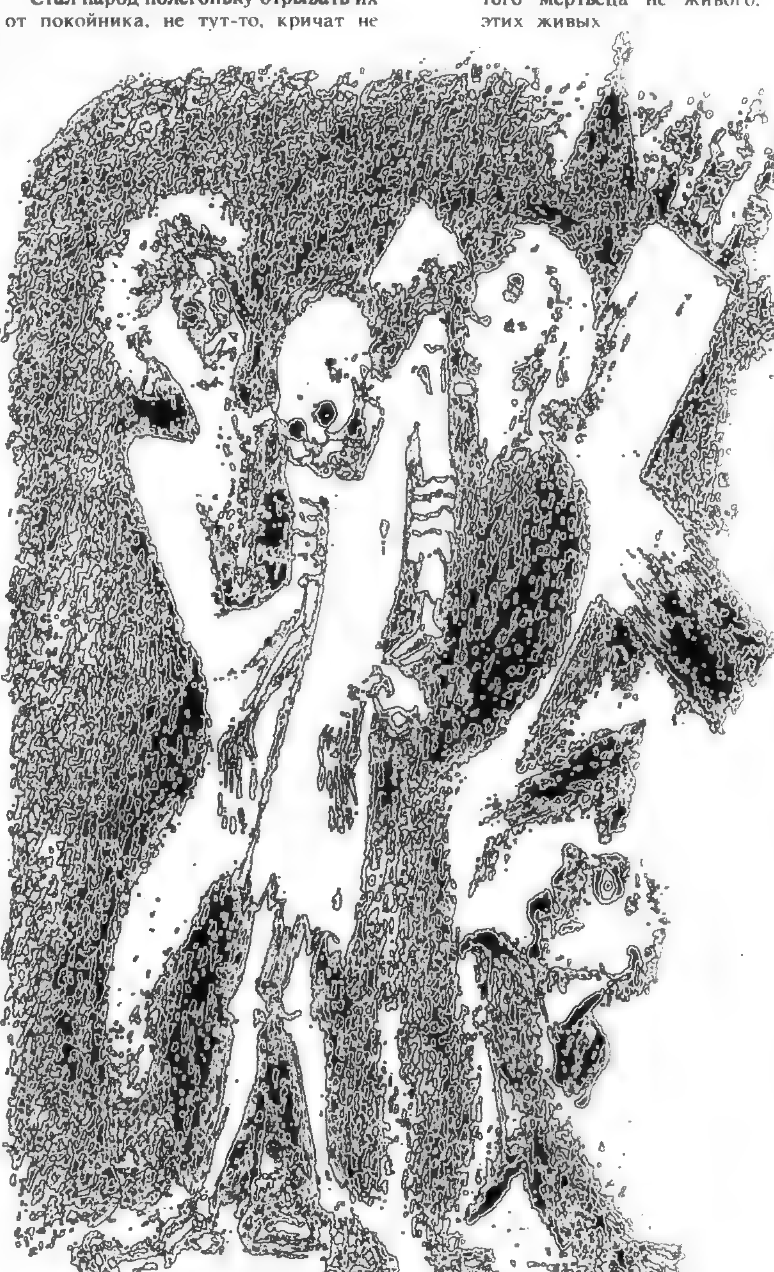
И начали они просить у соседей прощенья и у родных.

Простились с соседями, простились с родными.

И повели их на кладбище с мертвецом закапывать.

И так и закопали равно вместе —

того мертвеца не живого, а этих живых



ХЛОПТУН

Жил-был мужик с женою. Жили они хорошо, и век бы им вместе жить, да случился трудный год, не родилось хлеба, и пришлось расстаться.

Поехал Федор в Питер на заработки, осталась одна Марья со стариком да старухой.

Трудно было одной Марье.

Кое-как она перебилась, к осени полегче стало.

Ждет мужа, — нет вестей от Федора.

Ждать-пождать, — не едет Федор.

Да жив ли?

А тут говорят, помер.

Бабы от солдата слышали, что Федор помер.

Ну, а Марья в слезы, убивается, плачет.

— Хоть бы мертвый приехал, посмотреть бы еще разок!

Так Марья плачет, так ей скучно.

Прожила она в слезах осень, все тужит:

без мужа скучно.

А Федор вдруг на святках и приезжает.

А уж так рада Марья, от радости плачет:

вот не чаяла, вот не гадала!

— А мне говорили, что ты помер!

— Ну, вот еще помер! И чего не наскажут бабы!

И стали они поживать, Федор да Марья.

***

Все шло по-старому, будто никогда и не расставались они друг с другом, — не уезжал Федор в Питер, не оставалась одна Марья без мужа, — век вместе жили.

Все по-прежнему шло, как было.

Все... да не все: стало Марье думаться, и чем дальше, тем больше думалось:

«А что, как он мертвый?»

Случится на деревне покойник, Марье всегда охота посмотреть, ну, она и Федора зовет с собою,

а он, чтобы итти к покойнику смотреть,

нет, никогда не пойдет.

Раз она уж так его упрашивала, приставала к нему, приставала, — покойник-то очень уж богатый был, — насилу уговорила.

И пошли, вместе пошли.

Приходят они туда в дом, где покойник:

покойник в гробу лежал,
лицо покрышкой покрыто.

Собрались родственники, сняли покрышку, лицо открыли, чтобы посмотреть на покойника.

Тут и все потянулись:

всякому охота на покойника посмотреть.

С народом протиснулась и Марья.

Оглянулась Марья Федора поманить, смотрит, а он стоит у порога большой такой, выше всех на голову, усмехается.

«И чего же он усмехается?» — подумалось Марье, и чего-то страшно стало.

Начал народ расходиться. И они вышли, пошли домой.

Дорогой она его и спрашивает:

Чего ты, Федор, смеялся?

Так, ничего я... — не хочет отвечать.

А она пристает: скажи да скажи.

Федор молчит, все отнекивается, потом и говорит:

— Вот как покрышку с него сняли, а черти к нему так в рот и лезут.

— Что ж это такое?

— А хлоптун из него выйдет.

— Какой хлоптун?

— А такой! Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто и не признаешь, а потом и начнет: сперва есть скотину, а за скотиной и за людей принимается.

И как сказал это Федор, стало Марье опять как-то страшно, еще страшнее.

— А как же его извести, хлоптуна-то? — спрашивает Марья...

— А извести его очень просто, — говорит Федор, — от жеребца взять узду-о́бороть и уздой этой бить хлоптуна по рукам сзади, он и помрет.

Вернулись они домой, легли спать.

Заснул Федор.

А Марья не спит, боится.

«А что если он хлоптун и есть?»

Боится, не спит Марья

— не заснуть ей больше,
не прогнать страх и думу.

***

Куда все девалось, все прежнее?

Жили в душу Федор да Марья, теперь нет ничего.

Виду не подает Марья, — затаила в себе страх, — не сварлива она, угождает мужу, но уж смотрит совсем не так, не по-старому, невесело, вся изველась, громко не скажет, не засмеется.

Четыре года прожила Марья в страхе, четыре года прошло, как вернулся Федор из Питера, пятый пошел.

«Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто и не признаешь, а потом и начнет: сперва ест скотину, а за скотиной за людей принимается!»

И как вспомнит Марья, так и упадет сердце.

И уж она не может больше терпеть, не спит, не ест, душит страх.

— Не сын ваш Федор... хлоптун — крикнула Марья старику и старухе.

— Как так?

— Так что хлоптун! — и рассказала старикам Марья, что от самого от Федора о хлоптуне слышала, — последний год живет, кончится год, съест он нас.

Испугались старики:

— Съест он нас!

***

Всем страшно, все на-стороже.

И стали за Федором присматривать.

Глядь, а он уж на дороге коров ест.

Обезумела Марья.

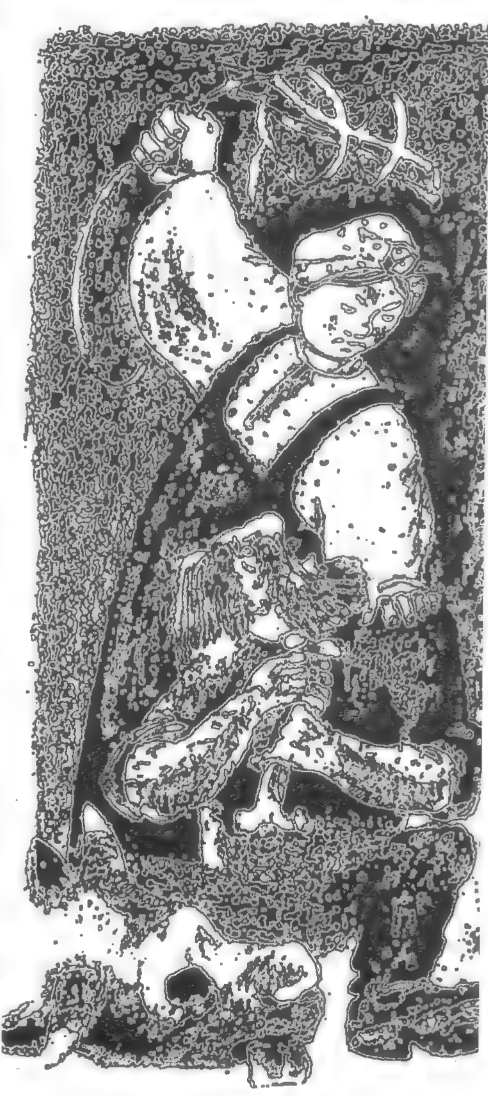
Трясутся старики.

Достали они от жеребца узду-обороть, подкараулили Федора, — подкрались сзади, да по рукам его уздой как дернут...

— Сгубила, — говорит, — ты меня!

Да тут и кончился.

Тут и все.



Рисунки ВЛАДИМИРА ПЕРЦОВА

ТАИНСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

«Сердце свое слушай», — эти слова, из повести «Неупиваемая Чаша», — незыблемый символ веры Ивана Сергеевича Шмелева. Вообще говоря, любое его художественное произведение — духовно — всегда глубоко автобиографично.

«— Помни, Илья, — говорит в этой повести старый наставник молодому мастеру, — народ породил тебя — народу и послужить должен. Сердце свое слушай.

Не понимал Илья, как народу послужить может. А потом понял: послужить работой».

И еще, но уже по слабости, советовал ему, крепостному, свободный учитель: «...наплюй на своего владетеля, стань вольным». И ватиканский мастер советовал, соблазнял: «Не езди, Илья, в Россию. Там дикари, они ничего не понимают... Оставайся, я дам тебе самую большую плату».

Но томимый тоской по родному, не соглашался Илья: непобедимо тянула душа на родину. Не размышлял — душу слушал.

«Бедную церковь видел Илья за тысячи верст, и не манили его богатые, в небо тянувшиеся соборы. Закутку в церкви своей помнил Илья, побитую жестяную купель и выцелованные понизу дощатые иконы в полинялых лентах. Сумрачные лица смотрели за тысячи верст, лохматые головы не уходили из памяти. Ночью просыпался Илья после родного сна и тосковал в одиноких думах».

Одно знал твердо: жить надо не по своей воле, а — по высшей.

Дар, талант — всегда послушание. Голосу сердца. Но только чистого сердца. Источник подлинного творчества — именно оно, очищенное духовным подвигом. Прав был наставник Ильи, определивший будущее своего подопечного: «Велико твое дарование, а сердце лежит к духовному». Так гласит шестая заповедь: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

Другими словами: истинный художник должен быть достоин своего дара. А чистота его сердца — залог этого достоинства, незыблемый знак приобщения художника к вечности. Вечность же — неистощима, неисследима: поистине Непиваемая, Неиспиваемая Чаша. Радости, милосердия, красоты, смысла... Творчество — для чистого сердцем художника — есть приобщение, причащение к Ней...

Почти по слову Н. В. Гоголя: «И на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидев в Нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял Он».

«Я увидел математически ясно, — свидетельствовал Гоголь, — что говорить и писать о высших чувствах и движениях человека нельзя по воображению: нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупицу этого, словом, нужно сделаться лучшим...»

Здесь ясно обозначено главное и для И. С. Шмелева: творчество — движение к высшему, а само движение это возможно только как собственный духовный подъем, художественное свидетельство о нем, исповедь читателю.

Шмелев писал одному из них: «Произведение искусства должно само говорить, а говорит оно по-разному: как — кому. Вы душой, сердцем берете... прекрасно. Искусство только этим и берется, ибо его высокое назначение (да, *назначение!*) — поднимать человека. Сия благодать — от Света Светов».

Молодой художник Илья в «Неупиваемой Чаше» знает, что подлинное творчество — это «живой огонь, что радостно опаляет и возносит душу», а в работе необходимо, чтобы «полыхало сердце». Только тогда и возможна высшая оценка, высшая благодарность труду художника.

— Все здесь говорит сердцу..

В 1937 году, на юбилее А. С. Пушкина, Шмелев утверждал то, что проверил всей жизнью, всем своим творчеством: «...основы великолепной культуры нашей, — отсюда-то и глубина и сложность русской души, — от православной купели, дарующей величайшее — духовную свободу. Отсюда и сила нашего искусства, литературы. Отсюда — Пушкин. На реформы Петра Россия ответила Пушкиным... — Герцен, кажется, сказал. Я это опроверг решительно: на Крещение в Православие Россия ответила — несравнимой ни с чем культурой... и Пушкиным. И русская литература не из гоголевской «Шинели» вышла, как хлестко заявил невер Белинский, а и сама «Шинель», это «жаленье маленького человека», вместе со всей художественной словесностью русской вышла из... той же православной купели...»

Умерший под Покровом Пресвятой Богородицы (православный монастырь в Бюсси ан-Отт), И. С. Шмелев — поистине светлый художник. Не случайно его лучшие произведения о видениях детской души. Детство всегда чувствует идеал лучше, глубже, чище. «Если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф., 18).

Перед своим отъездом из России Шмелев писал в Берлин: «О, как бы славно было, если бы Европа ближе могла узнать глубины и красоты литературы нашей и полюбить наше родное, — духовно постигнуть его сокровища!»

Пожелание Ивана Сергеевича сбылось: Европа узнала...

Европа-то узнала...

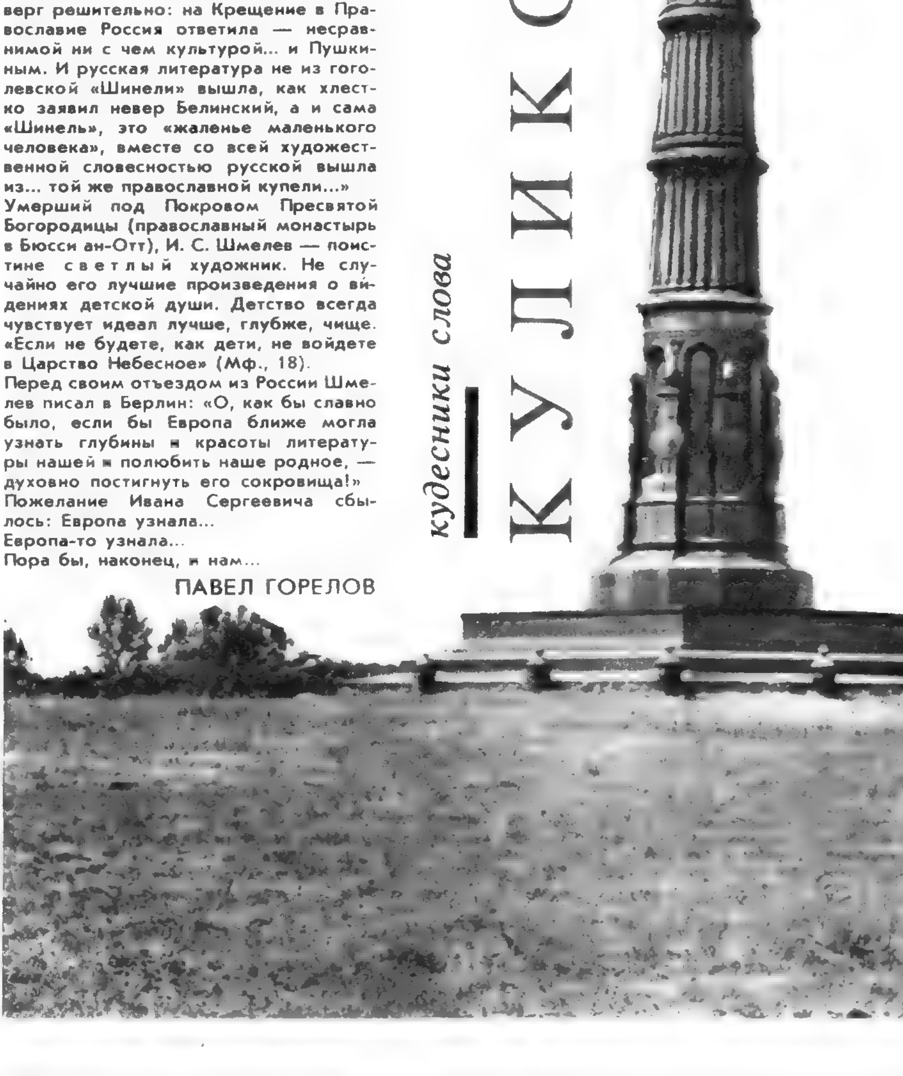
Пора бы, наконец, и нам...

ПАВЕЛ ГОРЕЛОВ

кудесники слова

ИВАН ШМЕЛЕВ

КУЛИКОВО ПОЛЕ



I

Скоро семь лет, как выбрался я о т т у д а, и верю крепко, что страшное наше испытание кончится благодатно и — невдолге. «Невдолге» — конечно, относительно: случившееся с нами — исторического порядка, а историческое меряется особой мерой. В надеждах на благодатную развязку укрепляет меня личный духовный опыт, хотя это опыт маловера: дай ощупать. И Христос снизошел к Фоме. Да, я — «Фома», и не прикрываюсь. «Могий вместити...» — но большинство не может, и ему подается помощь. Я получил ее.

Живя т а м, я искал знамений и откровений, и когда жизнь наталкивала на них, о щ у п ы в а л, производил как бы следствие. Я — судебный следователь по особо *важным делам*... был *когда-то*. В таинственной области знамений и откровений предмет расследования, как и в привычно-земном, — человеческая душа, и следственные приемы те же, с поправкой на некое «неизвестное». А в уголовных делах — в с е известно? Не раз, в практике следователя, чувствовал я таинственное влияние т е м н о й с и л ы, видел порабощенных ею и, что редко, духовное торжество преодоления.

Знамения т а м были, несомненно. Одно из них, изумительное по красоте духовной и историчности, произошло на моих глазах, и я, сцеплением событий, был вовлечен в него; на-вот, «вложи персты». Страдания народа невольно дополняли знаменные явления... — это психологически понятно, но з е р н о истины неоспоримо. Как же не дополнять, не хвататься за попираемую Правду?! Расстаться с верой в нее православный народ *не может почти фи-зи-чески*, чувствуя *в ней незаменимую* основу жизни, как свет и воздух. Он призывал ее, он взывал... — и ему подавались з н а к и.

На-род, говорю... православный, русский народ. Почему выделяю его из всех народов? Не я, — Исто-рия. От нее не только не отрекся Пушкин, напротив: заявил, что предпочитает ее всякой другой истории. «Умнейший в России человек», — сказал о нем Николай I. А на днях читал я письмо другого умнейшего, глубокого русского мыслителя, национального зиждителя душ, — своего рода, мой коллега, «исследователь по особо важным делам». Вы читали его книги, помните его «о борьбе со злом», удар по «непротивлению» Толстого. В этом письме он пишет:

«...Нет народа с таким тяжким историческим бременем и с такою мощью духовною, как наш; не смеет никто судить *временно павшего* под крестом мученика; зато выстрадали себе дар — незримо возрождаться в зримом умирании, — да славится в нас Воскресение Христово!..»

Эти слова я связал бы с известными словами о народе — Достоевского, с выводом из истории — Ключевского. Помните, про исключительное свойство нашего народа быстро оправляться от государственных потрясений и крепнуть после военных поражений? Связал бы в *«триптих русской духовной мощи»*.

Я расскажу вам не из истории, а из моих «документов следствия». Ими сам же себя и опрокинул, — мои сомнения.

Народу подавались з н а к и: обновление куполов икон... Э т о и здесь случалось, на родине Декарта, и «разумного» объяснения сему ни безбожники, ни научного толка *люди* никак не могли придумать: э т о — вне опыта. В России живут сказания, и ценнейшее в них — неутолимая жажда Правды и нетленная красота души. Вот эта «неутолимая жажда Правды» и есть свидетельство исключительной духовной мощи. Где, в целом мире, найдете вы такую «жажду Правды»? В этом портфеле имеются «вещественные доказательства», могу предъявить.

Как маловер, я применил к «явлению», о чем расскажу сейчас, *прием судебного следствия*. Много лет был я следователем в провинции, ждал назначения в Москву...— так сказать, качественность моя была оценена... — знаю людские свойства, и психозы толпы мне хорошо известны. В моем случае толпы нет, круг показания тесный, главные лица — нашего с вами толка, а из народа — только один участник, и его показания ничего сверхъестественного не заключают. Что особенно знаменательно в «явлении»... это — духовно-историческое з в е н о из великой цепи родных событий, из далей — к ныне, свет из священных недр, коснувшийся нашей тьмы.

Первое действие — на Куликовом Поле.

II

Куликово Поле... — кто же о нем не слышал! Великий Князь Московский Димитрий Иванович разбил Мамая, смертельно шатнул Орду, потряс давившее иго тьмы. А многие ли знают, где это Куликово Поле? Где-то в верховьях Дона..? Немногие уточнят: в Тульской губернии, кажется..? Да: на стыке ее с Рязанской, от Москвы *триста с небольшим верст*, неподалеку от станции Астапово, где трагически умирал Толстой, в тургеневских местах, знаемых по «Запискам Охотника». А кто удосужился побывать, ощупать, где, по урочищам, между верховьями Дона и Непрядвой, совершилось великое событие? Из тысячи не наберется и десятка, не исключая и местных интеллигентов. Мужики еще кой-что скажут. Воистину, — «ленивы мы и нелюбопытны».

Я сам, прожив пять лет в Богоявленске, по той же Рязанско-Уральской *линии*, в ста семнадцати верстах от станции «Куликово Поле», мотаясь по уездам, так и не удосужился побывать, воздухом давним подышать, к священной земле припасть, напитанной русской кровью, душу собрать в тиши, под кустиком полежать-подумать... Как я корю себя, из этого прекрасного далека, что мало знал свою родину, не изъездил, не исходил!.. *Не знаю ни Сибири, ни* Урала, *ни заволжских лесов, ни* Светло-Яра... ни Ростова-Великого не видал, «красного звона» не слыхал, единственного на всю Россию!.. Именитый ростовец, купец Титов, рассказывали мне, сберег непомнящим этот «аккорд небесный», подобрал с колокольными мастерами-звонарями для местного музея... — жив ли еще «аккорд»? ...Не побывал и на Бородинском Поле, в Печерах, Изборске, на Белоозере. Не знаю Киева, Пскова, Новгорода-Великого... ни села Боголюбова, ни Дмитровского собора, облепленного зверями, райскими птицами-цветами, собора XI века, во Владимире-на-Клязьме... Ни древнейших наших обителей не знаем, ни летописей не видали в глаза, даже родной истории не знаем путно, Иваны-Непомнящие какие-то. Сами, ведь, иссушали свои корни, пока нас не качнули, — и как качнули!.. Знали избитую дорожку — «по Волге», «на *Минерашки», «в Крым»*. И, *разумеется, «за границу»*. В чужие соборы шли, все галереи истоптали, а Икону свою открыли перед самым провалом в ад.

Проснешься ночью, станешь перебирать, всякие запахи вспомянешь... — и защемит-защемит. Да как же ты Се-вер-то проглядел, погосты, деревянную красоту поющую — церквушки наши?!. А видел ли российские каналы — великие водные системы? молился ли в часовенке болотной, откуда родится Волга?.. А что же в *подвал-то не спустился, не поклонился священной тени* умученного Патриарха Гермогена? А как же..? Не спорьте и не оправдывайтесь... это кри-чит во мне! А если кричит, — правда. Такой же правдой лежит во мне и Куликово Поле.

Попал я туда случайно. Нет, не видел, а чуть коснулся: «явлением» мне предстало. Было это в 1926 году. *Я тогда ютился с дочерью в Туле, под чужим именем*: меня искали, как «кровопийцу народного». И вот, один мукомол-мужик, — «кулак», понятно, — из Старо-Юрьева, под Богоявленском, как-то нашел меня. Когда-то был мой подследственный, попавший в трагическую петлю. Долго рассказывать... — словом, я его спас от возможной каторги, обвинялся он в отравлении жены. Он убрался со старого гнезда, — тоже, понятно, «кровопийца», — и проживал при станции «Волово», по дороге на Тулу. Как-то *прознал, где я. Написал приятелю*-туляку — «доставь спасителю моему». И я получил записочку — «по случаю голодаете, пребудьте екстрено, оборудуем». Эта записочка была для меня блеснувшим во мраке светом и, как увидите, привела к первоисточнику «явления».

Приехал я в «Волово». Крайней нужды не испытывал, и поехал, чтобы — думалось, так, — сбросить владевшее мною оцепенение безысходности... пожалуй, и из признательности к моему «должнику», тронувшему меня во всеобщей ожесточенности. Приехал в замызганной поддевке, мещанином. Было в конце апреля, только березки опушились. Там-то и повстречал участника «действия первого». Он ютился с внучатами у того «кровопийцы»-мукомола, кума или свояка. Пришлось бросить службу в имении, отобранном под совхоз, где прожил всю жизнь, был очень слаб, кашлял, после и помер вскоре. От него-то и слышал я о начале «явления». Не побывай я тогда в «Волове», так бы и кануло «явление», для меня. Думаю теперь: как бы указано было мне поехать, и не только, чтобы сделать меня участником «явления», исследователем его и оповестителем, но и самому перемениться. Как не задуматься?..

III

Случилось это в 25 году, по осени.

Василий Сухов, — все его называли Васей, хоть был он уже седой, благообразный и положительный, только в светлых его глазах светилось открыто-детское, — служил лесным объездчиком у купцов, купивших имение у родовитых дворян Ахлябышевых. По соседству с этим имением лежало «Княжье», осколок обширной когда-то вотчины, принадлежавший барину Средневу, родственнику Ахлябышевых и, как потом я узнал, потомку одного из дружинников Димитрия Донского: дружинник этот бился на Куликовом Поле и сложил голову. Барин Среднев променял свое «Княжье» тем же купцам на усадьбу в Туле, с большим яблонным садом. Отметьте это, о Средневе: речь о нем впереди.

Лесное имение купцов расположено в Данковском уезде и прихватывало кусок Тульской губернии, вблизи Куликова Поля. А «Княжье», по каким-то приметам стариков, — отголосок предания? — лежало «на самом Поле». Купцов выгнали, имение взяли под совхоз, а Василий Сухов остался тем же лесным объездчиком. При нем было двое внучат, после сыновей: одного сына на войне убили, другого комитет бедноты замотал за горячее слово. Надо было кормиться.

Поехал как-то Сухов в объезд лесов, а, по нужде, дал порядочный крюк, на станцию «Птань», к дочери, которая была там за телеграфистом: крупы обещала припасти сиротам. Смотался, прозяб, — был исход октября, промозглая погода, дождь ледяной с крупой, захвативший еще в лесах. Сухов помнил, что было это в «родительскую субботу», в «Димитриевскую», в канун Димитрия Солунского. Потому помнил, что в тех местах эту «Димитриевскую субботу» особо почитают, как поминки, и дочь звала Сухова пирожка отведать, с кашей, — давно забыли. И внучкам пирожка вез. Как известно, «Димитриевская суббота» установлена в поминовение убиенных на Куликовом Поле, — и, вообще, усопших, и потому называется еще — «родительская».

Продрог Сухов в полушубке своем истертом, гонит коня, — до ночи бы домой добраться. Конь у него был добрый: Сухов берег его, хотя по тем временам трудно было овсом разжиться. Гонит горячей рысью, и вот — Куликово Поле.

В точности неизвестно, где границы давнего Куликова Поля; но в народе хранятся какие-то приметы: старики указывают даже, где князь Владимир Серпуховский свежий отряд берег, дожидался нетерпеливо часа — ударить Мамая в тыл, когда тот погнал русскую рать к реке. Помните, у Карамзина, — «мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня...»? Помните, как Преподобный Сергий, тогда игумен Обители Живоначальныя Троицы, благословил Великого Князя на ратный подвиг и втайне предрек ему — «ты одолеешь»? Дух его был на Куликовом Поле, а отражение битвы видимо ему было за четыреста слишком верст, в Обители, — духовная телевизия.

По каким-то своим приметам Сухов определял, что было это «на самом Куликовом Поле». Голые поля, размытые дороги, полны воды, какие-то буераки, рытвины. Гонит, ни о чем, понятно, не думает, какие же тут «мамаи», крупу бы не раструсить, за пазуху засунул... — трах!.. — чуть из седла не вылетел: конь вдруг остановился, уперся и захрапел. Что такое..? К вечеру было, небо совсем захмурилось, ледяной дождь сечет. Огладил Сухов коня, отпрукал... — нет: пятится и храпит. Глянул через коня, видит — полная воды колдобина, прыгают пузыри по ней. «Чего боится?..» — подумал Сухов: вся дорога в таких колдобинах, эта поболе только. Пригляделся... — что-то, будто, в воде мерцает... подкова, что ли..? — бывает, «к счастью». Не хотелось с коня слезать: какое теперь счастье! Пробует завернуть коня, волю ему дает, — ни с места: уши насторожил, храпит. Прикрыл ему рукавом глаза, чтобы маленько обошелся, — ни-как. Не по себе стало Сухову, подумалось: может, змею чует... да откуда гадюке быть, с мученика Автонома ушли под хворост..?»

Слез Сухов с коня, поводья не выпускает, нагнулся к воде, пошарил, где мерцало, и вытащил... медный крест! И стало повеселей на душе: святой крест — добрый знак. Перекрестился на крест, поводья выпустил, а конь и не шелохнется, «как ласковый». Смотрит Сухов на крест: видать, старинный, зеленью-чернотой скипелось, светлой царапиной мерцает, — кто-то, должно, подковой оцарапал.

В этом месте постоянной дороги не было: пробивали в распутицу, кто где вздумал, — грунтовая под лесом шла.

Помолился Сухов на крест, обтер бережно рукавом, видит — литой, давнишний. А в этом он понимал немножко. Из прежних купцов-хозяев один подбирал разную старину-историю, а тут самая-то история, Куликово Поле; ходил с рабочими покопать на счастье, — какую-нибудь диковинку и найдет: бусину, кусок кольчуги серебряной... золотой раз перстень с голубым камушком откопали, а раз круглую бляху нашли татарскую, — месяц на ней смеется. С той поры, как битва была с татарами, больше пяти сот лет сошло. Сухов подумал: и крест этот, может, от той поры: земля — целина, выбили вот проезжие в распутицу.

Стал крест разглядывать. Помене четверти, с ушком, — наперсный; накось — ясный рубец, и погнуто в этом месте: секануло, может, татарской саблей. Вспомнил купца-хозяина: порадовался бы такой находке... да нет его. И тут в мысли ему пришло: барину переслать бы, редкости тоже собирал, с барышней копал... она и образа пишет, — какая бы им радость. А это он про барина из «Княжьего», который усадьбу в Туле у купцов выменил и звал к себе Сухова смотреть за садом. Барин Сухову нравился, и в самую революцию собрался было Сухов уйти к нему, стало в деревне неспокойно, пошли порубки, а барин из Тулы выехал, бросил свою усадьбу и отъехал в Сергиев Посад: там потише. А теперь везде одинаково: Лавру прикончили, монахов разогнали, а мощи Преподобного... Го-споди!.. — в музей поставили, под стекло, глумиться.

Смотрел Сухов на темный крест, и стало ему горько, комом подступило к горлу. И тут, на пустынном поле, в холодном дожде и неуюте, в острой боли ему представилось, что все погибло, и ни за что.

— «Обидой прожгло всего...» — рассказывал он, — «будто мне сердце прокололо, и стала во мне отчаянность: внуки малые, а то, кажется, взял бы да и...»

Опомнился — надо домой спешить. Дождь перестал. Смотрит — с заката прочищает, багрово там. Про крест подумал: суну в крупу, лучше не потеряется. Полез за пазуху... — «и что-то мне в сердце толкнуло...» — рассказывал он, с радостным лицом: «что-то как затомилось сердце, затрепыхалось... дыхать трудно...».

IV

— «Гляжу — человек подходит, посошком меряет. Обрадовался душе живой, стою у коня и жду, будто тот

человек мне надобен».

По виду, из духовных: в сермяжной ряске, лыковый кузовок у локтя, прикрыт дерюжкой; шлычок суконный, седая бородка, окладиком, ликом суховат, росту хорошего, не согбен, походка легкая, посошком меряет привычно, *смотрит с приятностью. Возликовало сердце,* «будто самого родного встретил». Снял шапку, поклонился и радостно поприветствовал: «здравствуйте, батюшка!» Подойти под благословение воздержался: благодатного ли чину? До слова помнил тот разговор со старцем, — так называл его.

Старец ласково «возгласил, голосом приятным»:

«Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир ти, чадо».

От слов церковных, давно неслышимых, от приятного голоса, от светлого взора старца... — повеяло на Сухова покоем. Сухов плакал, когда рассказывал про встречу. В рассуждения не вдавался. Сказал только, что стало ему приятно-радостно, и — «так хорошо поговорили». Только, смутился словно, когда сказал: «такой лик, священный... как на иконе пишется, в с е б е с о к р ы т ы й». Может быть, что и таил в себе, чувствовалось мне так: удивительно сдержанный, редкой скромности, тонкой душевной обходительности, — такие встречаются в народе.

Беседа была недолгая, но примечательная. Старец сказал:

«Крест Христов обрел, радуйся. Чесо же смущаешися, чадо?»

Сухов определял, что старец говорил «священными словами, церковными, как Писание писано», но ему было все понятно. И не показалось странным, почему старец знает, что он нашел крест: было это в дождливой мути, один-на-два с конем, старца и виду не было. И нисколько не удивило, что старец и мысли его провидит, — как бы переслать крест барину. Так и объяснял Сухов:

— «Пожалел меня словно, что у меня мысли растеряны, не знаю, как бы сберечь мне крест... — сказал-то: чесо же смущаешися, чадо?»

Сказал Сухов старцу:

— «Да, батюшка... мысли во мне... как быть, не знаю».

И рассказал, будто на-духу, как все было: что это, пожалуй, старинный крест, выбили с-под земли проезжие, а это место — самое Куликово Поле, тут в старинные времена битва была с татарами... может, и крест этот с убиенного православного воина; есть, словно, и отметина, — саблей, будто, *посечено по кресту...* и вот, взяло раздумье, верному бы человеку переслать, сберег чтобы... а ему негде беречь, время лихое, неверное... и надругаться могут, и самого-то замотают, пристани верной нет: допрежде у господ жил, потом у купцов... — «а нонче, — у кого и живу — не знаю».

И когда говорил так старцу, тесно стало ему в груди, от жалости и к себе, и ко всему доброму, что было... — «вся погибель наша открылась...» — и он заплакал.

Старец сказал — «ласково-вразумительно, будто хотел утешить»:

«Не смущайся, чадо, и не скорби. Милость дает Господь, Светлое Благовестие. Крест Господень — знамение Спасения».

От этих священных слов стало в груди Сухова просторно, — «всякую тягость сняло». И он увидел: светло кругом, сделалось поле красным, и лужи красные, будто кровь. Понял, что от заката это — багровый свет. Спросил старца: «далече идете, батюшка?»

«Вотчину свою проведать».

Не посмел Сухов спросить — куда. *Подумал:* «что я, доследчик, что ли... непристойно допрашивать, скрытно теперь живут». Сказал только:

— «Есть у меня один барин, хороший человек... ему бы вот переслать, он сберег бы, да далеко отъехал. И здешние они, у самого Куликова Поля старое их имение было. В Сергиев Посад отъехал, у Троицы, там, думалось, потише... да наврядъ».

Старец сказал:

«Мой путь. Отнесу благовестие господину твоему».

Обрадовался Сухов, и опять не удивило его, что старец *идет туда, — «будто бы так и надо». Сказал старцу:*

— *«Сам Господь вас, батюшка, послал... только как вы* разыщете, где они на Посаде проживают?.. скрытное ноне время, смутное. Звание их — Егорий Андреич Среднев, а дочку их Олей... Ольгой Егорьевной звать, и образа *она пишет... только и знаю».*

«Знают на Посаде. Есть там нашего рода».

Радостью осияло Сухова, — «как светом-теплом согрело», — и он сказал:

— «Уж и поклончик от меня, батюшка, им снесите... скажите — кланяется, мол, им Вася Сухов, который лесной объездчик... они меня давно знают. А ночевать-то, батюшка, где пристанете... ночь подходит? позвал бы я вас к себе, да не у себя я теперь живу... время лихое ноне, обидеть могут... и церковь у нас заколотили.

Старец ласково посмотрел на Сухова, — «весело так, с приятностью», и сказал ласково, как родной:

«Спаси тя Христос, чадо. Есть у меня пристанище».

Принял старец от Сухова крест, приложился с благоговением и положил в кузовок, на мягкое.

— «Как хорошо-то, батюшка... Господь дал!..» — радостно сказал Сухов: не хотелось со старцем расставаться, поговорить хотелось: — «Черные у меня думы были, а теперь веселый я поеду. А еще думалось... почтой послать — улицы не знаю... и доспрашивать еще станут, насмеются... — да где, скажут, взял... да не церковное ли утаил от н и х... — заканителят, нехристи».

Сказал старец:

«Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

И помолился на небо.

«Господь с тобой. Поезжай. Скоро увидимся».

И благословил Сухова. Приложился Сухов со слезами к благословившей его деснице. И долго смотрел с коня, пока не укрыли сумерки.

Когда Сухов рассказывал, как старец благословил его, — плакал. Тайный, видимо, смысл придавал он последнему слову старца — «увидимся» — знал, что недолго ему осталось жить? И правда: рассказывал мне в конце апреля, а в сентябре помер, писали мне. Со «встречи» не протекло и года. По тону его рассказа... — словами он этого не обнаружил, — для меня было несомненно, что он верил в посланное ему я в л е н и е. Скромность и сознание недостоинства своего не позволяли ему свидетельствовать об этом явно.

В этом «первом действии» нет ничего чудесного: намеки только и совпадения, что можно принять по-разному. Сухов не истолковывал, не пытался о щ у п ы в а т ь, а принимал, как сущее, «в себе сокрытое», — так прикровенно определил он «священный лик». Вот — простота приятия верующей душой. Во «втором действии», в Сергиевом Посаде, «приятие» происходит по-другому: происходит мучительно, с протестом, как бы с насилием над собой, с о щ у п ы в а н и е м, и, в итоге, как у Фомы, с надрывом и восторгом. Это психологически понятно: празднуется п о б е д а над злейшим врагом — неверием.

V

Рассказ Сухова о встрече на Куликовом Поле не оставил во мне чувства, что было ему я в л е н и е, а просто — «случай», странные по совпадениям, с мистической окраской. Окраску эту приписывал я душевному состоянию рассказчика. Василий Сухов, простой православный человек, душевно-чистый, неколебимо верил, что поруганная правда д о л ж н а восторжествовать над злом... иначе, для него, не было никакого смысла и строя в жизни: в с е рушится?!.. Нет, в с е в нем протестовало, инстинктивно. Он не мог не верить, что правда скажется. Он — подлинная суть народа: «Правда не может рушиться». И так естественно, что «случай» на Куликовом Поле мог ему показаться знамением свыше, знамением спасения, искрой святого света во тьме кромешной. В таком состоянии душевном мог он и прикрасить «явление», и вполне добросовестно. Мне он не говорил, что было ему я в л е н и е, и сокровенного

смысла не раскрывал, а принял благоговейно, детски-доверчиво.

Вернувшись в Тулу, я никому не рассказывал, что слышал от Сухова в «Волове». Впрочем, дочери говорил, и она не отозвалась никак. Но месяца через три, попав в Сергиев Посад, я неожиданно столкнулся с другими участниками «случая», и мне открылось, что тут не «случай», а знамение свыше. И рассказ Сухова наполнился для меня глубоким смыслом. Знамение свыше... — это воспринимается нелегко, так это необычно, особенно здесь, в Европе. Но т а м, в Сергиевом Посаде, в августовский вечер, в той самой комнате, где произошло я в л е н и е, вдруг озарило мою душу впервые испытанное чувство с в я щ е н н о г о, и я принял знамение с благоговением. Я видел святой восторг и святые слезы чистой и чуткой девушки... — какая может быть в человеке красота!.. — я как бы читал в открытой душе ее. И вот, захваченный необычайным, стараясь быть только беспристрастным, почти молясь, чтобы дано было мне найти правду, я повел свое с л е д с т в и е, и, неожиданно для себя, разрушил последнее сомненье цеплявшегося за «логику» «Фомы»-интеллигента. Не передать, что испытывал я тогда: это вне наших чувств. Что могу ясно выразить, так это одно, совершенно точное: я п р и в л е ч е н к раскрытию необычайного... привлечен Высшей Волей. А что пережил тогда в миг неизмеримый... — выразить я бессилен. Как передать душевное состояние, когда коснулось сознания моего, что в р е м е н и не с т а л о... века сомкнулись... будущего не будет, а в с е — н ы н е, — и это меня не удивляет, это в меня вместилось?!.. Я принял это, как самую живую сущность. Жалок земной язык. Можно приблизительно находить слова для выражения э т о г о, но опалившего душу озарения... — передать это невозможно.

VI

Жизнь в Туле, призрачная, под чужим именем «мещанина Подбойкина», под непрестанным страхом, что сейчас и разоблачат, и... — стала невмоготу. Что за мной числилось? Вопрос праздный. Ровно ничего не числилось, кроме выполнения долга — раскрывать преступления. Но для агентов власти я был лишь «кровопийца». Могли мне вменить многое: приезд Плеве, по делу убийства губернатора... раскрытие виновников злостной железнодорожной катастрофы, когда погибло много народу, а намеченная добыча, важный правительственный чин, счастливо избег кары... Я делал свое дело. Но вот какая странная вещь... Не могу понять, почему я, следователь-психолог, раскрывавший сложнейшее, в течение восьми лет укрывался в Туле, где меня легко могли опознать приезжие из Богоявленска! Возможно, тут работала моя «психология»: здесь-то меня искать не станут, в районе моих «злодейств», и не откроют, если не укажут обыватели. Непонятное оцепенение, сознание безысходности, будто пробка в мозгу застряла. Боялся смерти? Нет, худшего: страх за дочь, издевательства... и, что иным покажется непонятным, — полного беззакония страшился, вопиющего искажения судебной правды, чего не переносил почти физически. Это, своего рода, «порок профессиональный», ми-стическое нечто. Словом, оцепенение и «пробка». Самое, кажется, простое — ехать в Москву, острая полоса прошла, в юристах была нужда. Устроили бы куда-нибудь друзья-коллеги, уцелевшие от иродова меча, мог бы найти нейтральное что-нибудь, предложил бы полезный курс — «психология и приемы следствия», надо же молодежь учить. Почему-то все эти планы отбрасывал, сидела «пробка». И вот, оказалось, что мое сидение в Туле было «логично», только не нашей логикой.

Учил грамоте оружейников, помогал чертежникам завода, торговал на базаре картузами, клеил гармоньи. Дочь давала уроки музыки новой знати. Тула издавна музыкальный город: славен гармоньями на всю Россию, как и самоварами. Не этим ли объяснить, что началась, прямо, эпидемия — «на вертипьяных»! Все желают «выигрывать на вертипьяных разные польки и романцы». И выпало нам «счастье»: навязалась моей Надюше... «Клеопатра». И по паспорту — Клеопатра, а разумею в кавычках, потому что сожительствовала она с «Антошкой». Так и говорили — «Антошка и Клеопатра». А «Антошка» этот был не кто иной, как важная птица Особ-Отдела, своего рода мой коллега... Бывший фельдшер. И вот, эта «Клеопатра», красавица-тулячка, мещаночка, очень похожая на кустодиевскую «Купчиху», такая же белотелая и волоокая... глупое и предобрейшее существо, — походя пряники жевала и щелкала орешки, — и навязалась: «ах, выучите меня на верти-пьяных!..» Мучилась с ней Надюша больше года. Инструмент у девицы был — чудесный беккеровский рояль, концертный. А Надюша окончила консерваторию на виртуозку, готовилась к карьере пианистки. И вот — «на вертипьяных». Забылась как-то, с Шопеном замечталась... — и вдруг, ревом по голове: «лихо наяриваете, ба-рышня!» «Антошка», во всей красе, с ноганом. А «Клеопатра», в слезах восторга: «выучите, ради Господа, и меня такому!» Все-таки польку одолела, могла стучать, и была в бешеном восторге. Посылала кульки с провизией, «папашке вашему табачку», то-се... С отвращением, со стыдом, но принимали, чтобы отдать другим... — не проходило в глотку. А нужды кругом..! Урочные деньги Надюша не могла брать в руки, надевала перчатки. Лучше уж картузами, гармошками... Тошно, гнусно, безвыходно... — и при моем-то «ясновидении». В глазах народа я был «гадателем», так и говорили: «нашего следователя не обведешь, скрозь землю на три аршина видит!» И такое бессилие: засела «пробка». И в «Волово»-то смотался не от нужды, а как-нибудь сбросить это оцепенение, вышибить эту «пробку». И мукомол советовал: «ныряйте, Сергей Николаич, в Москву, — большая вода укроет». Но «пробка» сидела и сидела. Или — так н у ж н о было? чего-то не хватало..? И вот это ч т о-т о и стукнуло. Теперь вижу, что т а к, именно, и н у ж н о было.

Вскоре после поездки моей в «Волово», в начале мая, приходит моя Надюша, пополовелая, остановилась у косяка... и такими страшными, неподвижными глазами; глазами ужаса и конца, смотрит в меня и шепчет: «папа... конец...» Это — к о н е ц — прошло мне холодом по ногам. Да, к о н е ц: пришло то, о чем мы с ней з н а л и молчаливо, «если о н о случится». И о н о случилось: «в с е известно». Но самое страшное не это, не мытарства, если бы не удалось нам у й т и: самое страшное — позор.

В то утро мая «Клеопатра» разнежилась с чего-то и захотела обрадовать Надюшу: «а что вы думаете, мой-то все-о про вашего папаньку знает, как утрудящих засуживал... но вы не бойтесь, и папанька чтобы не боялся... мой для меня все сделает, так и сказал: «я его на высокую должность возьму, как раз по нем, засуживать... в помощники при себе возьму, в заседатели, а то все негодящие, дела спят...» — и жалованье положит, и еще будет натекать, будете жить как люди». Это уж после Надюша мне передала, а, тогда только — «в с е и з в е с т н о». И тут — вышибло мою «пробку»... в Москву!.. сейчас же в Москву!.. Это при «в с е известно»-то!.. при зверском контроле на вокзале!.. как новичок-воришка... вся «логика», весь мой следовательский о-пыт испарились.

Сказал Надюше самое необходимое собрать, шепчу — «есть выход... Москва — выход!..» Помню, смотрела с ужасом. А я кинулся на вокзал, — поезд когда отходит. Бегу, не соображая, что обращу внимание... — одно в уме, взываю — «Господи, помоги...» И уже в и ж у какую-то возможность: в Москве Творожников, кто-то говорил, в гору у н и х пошел. А он был когда-то ко мне прикомандирован, кандидат на судебные должности, очень талантливый, ловкий, «без предрассудков», после товарищем прокурора был. Расстались мы друзьями. Только бы разыскать его.

Вбегаю в вокзал, задохся, спрашиваю про поезд, а мне кто-то шипит грозяще: «ка-ак вы здесь?.. вон!.. комиссия отъезжает, Рабкрин!» Рабоче-крестьянская инспе-кция! гром и огонь!.. в с е м о ж е т!.. — страх и трепет. Метнулся в боковой зал, а там... «губернатор» наш, тянется, и вышние из Особ-Отдела, с ноганами... кошмар!.. И вдруг: «Сергей Николаич... вы как здесь?» О н!.. Творожников, о ком только что в голову вскочило.

Там такое бывало, многие подтвердят. Теперь что-то мне в этом видится. Но уточнять не буду, примите за «случайность».

Произошло все головокружительно. Творожников подошел ко мне, сухо спросил — «устроены?» Я ему — только: «В Москву... необходимо». Молниеносно понял, вынул бланчок и тут же, на портфеле, — «явиться немедленно, в распоряжение...» — отмычка ко всем замкам. Шел я домой, как пьяный, дышал, после стольких годов удушья. Словом — «счастливый случай».

VII

В Москве я устроился нейтрально — по архивам: разыскивал и приводил в порядок судебно-исторические дела, в уездной секции. Побывал в Клину, Серпухове, Звенигороде... и, в середине августа, выехал в Загорск, переименовали так Сергиев Посад. О барине Средневе не думал, случай на Куликовом Поле выпал из памяти, а хотелось увидеть Лавру, толкнуло «к Троице». Что, собственно, толкнуло?.. Работавшие по архивам часто говорили о «Троице»: там ютилось много известных «бывших людей»; В. Розанов, А. Александров, Л. Тихомиров, работали в относительной тиши художники, наведывался Нестеров, решал перелом жизненного пути С. Булгаков, в беседах с Павлом Флоренским... Нестеров написал с них любопытную картину: дал их «в низине», а по гребешку «троицкой» мягкой горки в елках изобразил символически «поднявшихся горе»... — русских богомольцев, молитвенно взирающих на куполки «Святого Града» — Троице-Сергия... Когда все было — не собрался, а тут — погляди остатки. И я поглядел эти остатки. И увидал — нетленное. Но в каком обрамлении! в каком надрывающем разломе!.. Не повидал при свете, — теперь посмотри во тьме.

Приехал я в Загорск утром. Уже не «Сергиево», а Загорск. И первое, что увидел, тут же, на станционной платформе, — ломается дурак-парнишка, в кумачовой ризе, с мочальной бородищей, в митре из золотой бумаги... коренником: с монашком и монашкой, разнузданными подростками. У монашка «горшок» в бечевках, — «кадило»; у монашки ряска располосована, все видать, затылок бритый, в руке бутылка с водкой — «святой водой». И эта троица вопит-визжит: «товарищи!.. все в клуб безбожников, к обедне!.. в семнадцать вечера доклад товарища Зме-я из Москвы!.. — «обман-леторгия у поповмонахов»!.. показание бывшего монаха-послушника!..» И не смотрят на дураков, привыкли.

Иду к Посаду. Дорога вдоль овражка, — и вот, лезет из лопухов-крапивы кудлатая голова и рычит: «обратите антелегентовое внимание, товарищ!.. без признания прозябаю... бывшему монаху-канонарху!..» Отмахнул портфелем, а он горечью на меня, рычит: «антелегентовы пле-велы!.. из-за вас вот и прем в безбожники!..»

И тут увидал я солнечно-розовую Лавру.

Она светилась, веяло от нее покоем. Остановился, присел на столбушке у дороги, смотрел и думал... Сколько пережила она за свои пять веков! сколько светила русским людям!.. Она светилась... — и, знаете, что почувствовал я тогда, в тихом, что-то мне говорившем, ее сиянии?.. — «Ско-лько еще увидит жизни!..» Поруганная, плененная, светилась она — нетленная. Было во мне такое... чувство ли, дума ли... — «все, что творится, — дурманный сон, призрак, ненастоящее... а вот это — живая сущность, творческая народная идея, завет веков... это — вне времени, нетленное... можно разрушить эти сияющие стены, испепелить, взорвать, и ее это не коснется...» Высокая розовая колокольня, «свеча пасхальная», с золотой чашей, крестом увенчанной... синие и золотые купола... — не грустью отозвалось во мне, а светило. Впервые тогда, за все мутные и давящие восемь лет, почувствовал я веру, что — есть защита, необоримая. Без веры, никакой, инстинктом, что ли, почувствовал, в чем — опора. Помню, подумал тут же: «вот почему и ютились здесь, искали душе — покоя, защиты и опоры».

Продолжение следует.

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

РОССИЯНКИ

Как пишет автор этой научной, *но рассчитанной на широкую* читательскую аудиторию монографии, *ею предпринята попыт*ка представить семейное, социально-правовое, имущественное положение русских женщин X-XV вв., их внешний облик, уровень грамотности и образованности, воссоздать по отдельным штрихам из летописных и изустных источников биографии известных и менее известных представительниц древнерусского общества. Такая попытка воедино собрать и осмыслить множество различных сведений весьма ценна, поскольку до сих пор эти проблемы не становились предметом отдельного исследования.

Перед нами проходит «*галерея знаменитых россиянок*», участвовавших в общественной *и политической жизни Руси*, в ее бурных событиях. Это великая княгиня Ольга, принявшая — еще до крещения Руси ее внуком Владимиром — христианство в Царьграде. Это дочери Ярослава Мудрого, судьба одной из которых — Анны, королевы Франции, — сходна с судьбой героини рыцарского романа. Это одна из внучек Владимира Мономаха, Добродея-Зоя, выданная замуж за племянника византийского императора, умевшая лечить травами и написавшая по-гречески врачебный трактат «Алимма» («*Мази*»). Это *Софья Палеолог*, жена Ивана III, которая была «ума *весьма горделивого*». Это властолюбивая новгородская посадница Марфа Борецкая и многие другие. Портреты этих незаурядных разнохарактерных — смиренных и жестоких, властных и погруженных в себя, свободолюбивых и глубоко религиозных — женщин обогащают знание читателя о той эпохе. Странно только, что в книге лишь упомянута такая заметная в русской истории личность, какой была княгиня Евдокия, жена великого князя Дмитрия Донского. Она несомненно заслуживает куда более пристального исследовательского внимания *и должна была бы занять* место в «галерее знаменитых россиянок».

Подробному анализу подвергаются источники, из которых можно узнать о положении женщины в древнерусской семье, о правовой ее защищенности. Исследовательница делает вывод о том, что к XV веку на Руси положение женщины в сфере феодального светского и церковного права формально не отличалось от положения мужчины. Автор книги приводит множество интересных подробностей и фактов, подтверждающих это.

Занимательна глава, посвященная одежде и украшениям россиянок, тому, как видоизменялся женский костюм на протяжении веков, как складывался самобытный стиль в русской женской одежде. Из этой главы можно узнать, например, такую, далеко не всем известную деталь: обычай, предписывающий женщине входить в православный храм с покрытой головой, идет от языческого, дохристианского поверья, что в женских волосах любит прятаться нечистая сила.

Заключает книгу обзор дореволюционной, советской и зарубежной историографии. Убедительным и принципиальным итогом монографии представляется мысль автора о том, что русские женщины XII-XV вв. имели высокий для средневековья социальный статус, что до XVI в. говорить о «*теремных затворницах*» на Руси нет оснований, что мнение о приниженности положения женщины на Руси, а также представление о русском средневековье как о времени подавления личности — не более чем миф.

Л. МЕШКОВА

Пушкарева Н. Л. ЖЕНЩИНЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ. — М.: Мысль, 1989.

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

К ОГНЮ ВСЕЛЕНСКОМУ: Рус. сов. поэзия 1920—1930-х гг. / Сост., предисл., коммент. Е. В. Грековой. — М.: Правда, 1989. — 576 с. — 2 р. 70 к. 300 000 экз.

Пушкин А. С. ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН: Факс. воспроизведение первого прижизненного изд. романа 1825—1832 гг. — Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1989. — 527 с. — 7 р. 25 000 экз.

Шаламов В. Т. ВИШЕРА: Антироман / Сост. И. П. Сиротинская. — М.: Книга, 1989. — 62 с. (Российский летописец). — 2 р. 100 000 экз. — Совместно с кооп. «Арион».

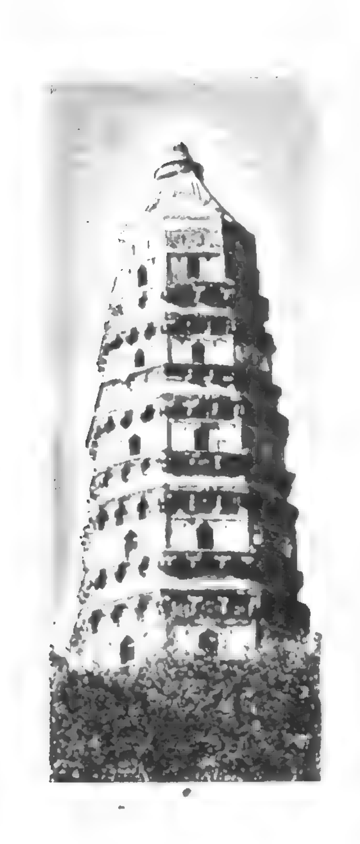
Шаламов В. Т. КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ / Сост. И. П. Сиротинская. — Магадан: Кн. изд-во, 1989. — 336 с. — 3 р. 50 000 экз.

Волошин М. СТИХОТВОРЕНИЯ. Репринт. воспроизведение сб. 1910 г. — М.: Книга, 1989. — 543 с., ил. — (Из лит. наследия). — 12 р. 40 000 экз.

Ходасевич В. Ф. СТИХОТВОРЕНИЯ / Изд. подгот. Д. Б. Нерубенко. — Л.: Искусство, 1989. — 95 с. — 1 р. 70 к. 50 000 экз.

Кузмин М. А. СТИХОТВОРЕНИЯ. Поэмы / Сост. С. С. Куняев. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1989. — 368 с.— 1 р. 50 к. 15 000 экз.

Эссе. Книги. Путешествия.



ЛЕОНИД БЕЖИН

ОТСВЕТ ВОЛШЕБНОГО ФОНАРЯ

встречи за великой стеной

I

Это уж, знаете, чисто по-русски: любить другую страну. Может быть, даже слишком по-русски, хотя на таких преувеличениях, на таких завихренных спиралях (печной дым, уносящийся в вытяжку) у нас все и держится, и дай Бог, чтобы держалось! Поэтому не будем удивляться тому, что своей любви к Родине мы как бы и не замечаем, как бы вовсе и не догадываемся о ней, не смеем даже и подумать, что наше обычное чувство к окрестным полям и рощам, речному берегу с мостками для стирки белья, улице, где стоит наш дом, капустным грядкам в огороде достойно именоваться Любовью. Нет, нет, мы стыдимся таких возвышенных наименований. Для нас было бы странно взбежать на холм, картинно раскинуть руки и закричать: «Родина, я тебя люблю!» Уж лучше мы эдак застенчиво кашлянем, крякнем, потупимся, каблуком выдавливая лунку в песке, поиграем концом веревки, намотанной на кнутовище, и загадочно улыбнемся: «Филя! Что молчаливый?» «А о чем говорить?»

Одним словом, свою любовь к Родине мы как бы прячем, таим, умалчиваем о ней («Молчи, скрывайся и таи...»), но зато другие страны любим пылко и даже, я бы сказал, картинно. К примеру, какую-нибудь Англию — уж до того мы ее пылко любим, что готовы одеваться под денди, топить камин дубовыми поленьями и держать на ковре пятнистого дога. «Пахнуло Англией и морем». Да, да, именно так — важно, чтобы пахнуло, донеслось дуновение, привкус морской соли в воздухе и просмоленных канатов. Тогда бери нас голыми руками и всех разом записывай в англофилы, англоманы, англосумасшедшие. Мы будем каждый день ездить в английский клуб и, словно Григорий Иванович Муромский, персонаж из «Барышни-крестьянки», одевать конюхов английскими жокеями и обрабатывать поля по английской методе. Спрашивается, но почему, почему?! Да потому что мечта, романтический идеал — куда уж тут деваться! «Другая жизнь и берег дальный» — это вам не капустные грядки, потому-то так легко и переносится на них то, что в уважающих себя странах никогда не становится предметом экспорта. «Тот Англии не знает, кто знает только Англию» — это вполне по-английски, но «тот Англии не любит, кто любит только Англию» — это уж, простите, совершенно не по-английски, это лишь в России не умели любить Родину, не любя заодно с нею и тысячу других стран.

И Англию, и Францию, и Испанию, и..., и..., и...

А сейчас мысленно вспомним о наших причудливых знаках препинания — многоточии через запятую — и к троекратно повторенному «и.., и.., и...» добавим уже не Италию, не Грецию и даже не Америку, а нечто совершенно запредельное. Ну, скажем, Китай! Потянет или не потянет упомянутое нами русское чувство любви к другому на этакую экзотику?! Вопрос чисто гоголевский, в духе «Мертвых душ»: «...что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет» — «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет». Так вот можно с уверенностью поручиться, что и в Казань... Иными словами, потянет упомянутое чувство и на запредельный, экзотический Китай, недаром в свое время еще Пушкин туда собирался. Не просто уносился воображением «от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая», а собирался поехать и уже чуть ли не укладывал в дорогу вещи. Значит, уже тогда возникло, обозначилось в воздухе, стало манить и притягивать: Китай, выгнутые черепичные крыши, бамбуковые зонтики, мандарины с косичками... Удивительно представить, как в пасмурном, дождливом Петербурге, среди гранитных набережных и мостов, казарм и полосатых будок — и вдруг такое-то диво, такой мираж, отсвет волшебного фонаря! И как верно соотнесено: потрясенный Кремль и недвижный Китай! Недвижный — как океан в безветренную погоду: на поверхности штиль, а в глубине таинственные токи, смещения гигантских масс воды, беззвучные бури. В этой игре эпитетов — потрясенный и недвижный — уже угадан Конфуций и предсказан Достоевский.

Да, да, в университете я изучал именно эту страну и даже защитил о ней диссертацию, написал несколько уче-

ных книг и таким образом вполне мог бы считать себя специалистом — этаким законченным «профи», как принято говорить в Европе, если бы не извечное русское смешение своего с другим.

Нас одолевает непреодолимый соблазн не столько увидеть «берег дальный», сколько испытать себя в «другой жизни». Вот и мне представился такой случай, и вместе с группой из Союза писателей — Антониной Ломакиной (Москва), Юргой Иванаускайте (Вильнюс) и Усманом Азимовым (Ташкент) — я ступил на трап ночного самолета.

II

Пекин... Древняя столица, а ощущение, что это обычный европейский город... Но все же это лишь ощущение, и весь первый день в Пекине словно проходит под знаком неустойчивого покачивания маятника. Даже величественная ветхость одного из пекинских парков, куда нас везут вечером, и такие чудеса, как Стена возвращающихся звуков (можно перешептываться на расстоянии ста метров друг от друга), или каменные плиты, создающие двойное или тройное эхо, вызывают мысль скорее о некоем театральном муляже, фотографическом подобии, чем подлинной реликвии. Не оттого ли, что все это слишком открыто для обозрения, выставлено напоказ, слишком доступно, ведь истинное-то чудо должно быть на кончике иглы, игла в яйце, яйцо в сундуке, а сундук на дне моря? А тут открывай сундук, разбивай яйцо, доставай иглу и показывай всем за умеренную плату — не чудо, а аттракцион в парке культуры! Признаться, и такие мысли возникали в тот вечер, тем более что по заведенным в Пекине порядкам каждый уголок парка, каждая новая достопримечательность требовали нового билетика, и из почтения к нам, заморским гостям, с нас взимали тройную плату. Поэтому, вернувшись в гостиницу, я умылся, лег в постель и с облегчением почувствовал, что наконец-то завершился этот странный день, столь причудливо разделенный между Москвой и Пекином. И только на следующее утро...

То, что произошло на следующее утро, я бы и назвал началом нашего путешествия. Началом символическим и в то же время вполне реальным, ведь мы вдруг очутились в К и т а е. Да, да, лишь на следующее утро, а вовсе не сразу после приземления нашего самолета — значит, восьми часов все-таки маловато, чтобы добраться до Китая, особенно если ты много лет лелеял в душе свой, внутренний Китай и очень боялся, что он не совпадет с тем, внешним. Может быть, поэтому и оттягивал, старался отсрочить поездку, и вот чувствуешь, что совпало. Проводки сомкнулись и дали искорку. Есть ток — движение невидимых электронов, создающее в тебе некую счастливую взвинченность, некую экзальтированную готовность всем восхищаться, восторженно кивать головой, обмениваться понимающими взглядами с попутчиками, говорить: «...действительно... в самом деле... я с вами согласен». Именно это мы и говорили, именно так и кивали, оказавшись на следующее утро в Ихэюань — летнем дворце китайских императоров. Тут-то и обозначилось... тут-то и возникло, зыбко замаячило в воздухе то самое н е ч т о, к которому все мы невольно стремились. Нечто неназываемое, лишенное предметных контуров слова и как бы веющее, сквозящее над нами, подобное легкому ветру. Ветер, веяние, духовная передача — эти понятия заимствованы из древнекитайской культуры, где они наделены загадочным и не всегда прочитываемым смыслом, а тут хотелось воскликнуть: «Да вот же оно, это веяние!» Воскликнуть и даже непроизвольным жестом человека, внезапно увидевшего вспорхнувшую с цветка бабочку, попытаться поймать, накрыть ладонью, потому что было совершенно очевидно: не крытые галереи, опоясывающие пруд, не павильоны с черепичными крышами, не мостики и беседки вызывали такое желание, а незримая с и л а этого места, похожая на силу гигантского, наполовину ушедшего в землю магнита. Да, да, древний Китай представлялся этаким рудоносным пластом, этаким холмистым вздутием на поверхности земли, этакой волшебной горой, над которой дрожит воздух от магнитных волн, зыбко струится невидимое свечение, и все, что на горе — галереи, павильоны, беседки, — словно пронизано этими волнами, этим свечением.

Итак, что же? Мы были готовы устремиться вслед за счастливо пойманным нечто, но вторая часть дня обернулась неожиданно русской. Русской, не так, как в Москве, а так, как это бывает во время путешествий: с в о е видишь словно бы изнутри д р у г о г о. Да, да, именно по пословице: тот Англии не знает... Вот и перед нами мелькнул этот сторонний отсвет русского, когда нас пригласили в Пекинский институт иностранных языков. Студенты-русисты разбирали отрывок из «Воскресения»: «Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, — весна была весною даже и в городе». Разбирали подробно, вникая в каждое слово, и... как бы объяснить чувство, рождавшееся при этом?! Ну, конечно, гордишься, узнавая знакомые с детства строки. Гордишься и сознаешь себя соотечественником их бессмертного автора, немного причастным к его славе. Гордишься и испытываешь даже некую ревность, ведь любовь к книге выражается в том, что ты считаешь ее с в о е й, принадлежащей только тебе, и совершенно забываешь о других читателях этой книги. Какие могут быть д р у г и е, если ты столько раз раскрывал ее дома, среди привычных тебе вещей, и звучание этих строк тончайшими паутинками связано с твоей комнатой, книжными полками, на которых в беспорядке расставлены всякие безделушки, пришпиленными к стене фотографиями, окном, выходящим на улицу! Одним словом, ты и не помышляешь о соперничестве, и вдруг выясняется, что любимая тобою книга в такой же мере принадлежит и другим, и ты вовсе не единственный, кто берет ее с полки, и для других она настолько же своя, как и для тебя. И что там твоя комната, расставленные безделушки и пришпиленные фотографии, если эту книгу читают за многие тысячи километров от Москвы, и не только в Англии, Франции, Италии, но и — в самом Китае!..

Но ведь и книги китайских писателей читают не только в Китае, но и — за тысячи километров! — в России, и сам Толстой недаром так любил Лаоцзы, мудреца и философа, основоположника даосской школы мысли. Попробуем сравнить отрывок из «Воскресения» с отрывком из «Дао дэ цзина» — «Канонической книги о Пути вселенной и каждого человека»: «Чем больше в Поднебесной запретов — тем беднее народ. Чем больше у народа оружия — тем сильней смута в государстве. Чем больше среди людей умельцев и искусников — тем больше диковинных вещей. Чем больше законов и указов — тем чаще бесчинства и грабежи». Вроде бы о разном и в то же время — об одном. Выходит, что прогресс и цивилизация вовсе не такое уж благо, как кажется на первый взгляд — вот о чем говорит Лаоцзы, и эта мысль, конечно же, заставляет вспомнить Толстого. А уж о законах и указах — совсем по-толстовски: вспомним хотя бы знаменитые сцены суда из «Воскресения». Вспомним и мысленно убедимся в том, что Толстой не зря читал Лаоцзы и трудился над составлением сборника его изречений (факт известный, но недооцененный). И дело здесь не в словесных совпадениях — они-то как раз могут быть случайными, а в изначальной близости двух мыслителей. «Помилуйте, китайский мудрец VI века до нашей эры и русский классик XIX века... какая тут близость!» — воскликнет приверженец строгих исторических параллелей, и мы произнесем с многозначительным жестом: н е к а я близость.

Да, да, не столько осознаваемая, сколько ощущаемая, осязаемая, воспринимаемая на вкус, дразнящая нёбо и десны, покалывающая кончик языка и ударяющая в ноздри. Толстой... Лаоцзы... при медленном произнесении их имен (и особенно мягкого «л») возникает словно бы привкус парного молока или хлебного мякиша... да, да, этот невыразимый привкус... не правда ли?! И если к этому добавить и цвет, то, конечно же, б е л ы й — белый

цвет молока и хлеба! Недаром Каратаев звучит почти как Караваев, да и весь он какой-то хлебный, закругленный, как выпеченный в печи каравай, этот самый странный и загадочный персонаж Толстого. А впрочем, странность и загадочность исчезают, если рядом представить Лаоцзы — как продолжение, как окраинный горизонт толстовской мысли. Что нам тогда Каратаев, если толстовская мысль устремлялась аж вон куда, «до стен недвижного Китая»! И мы перестаем удивляться странности Каратаева, распознавая в нем персонаж из «Дао дэ цзина», одетый в костюм времен Отечественной войны двенадцатого года...

После занятий в институте иностранных языков мы встретились с китайскими русистами старшего поколения, пригласившими нас на ужин, и тут обнаружилось, что в Китае есть люди, которые ж и в у т Россией. Вроде бы ничего необычного в этом нет — специалисты же, профессионалы, знатоки в своей области, но специалистам полагается изучать, интересоваться, следить за событиями, а эти-то л ю б я т. Любят и поэтому живут — мыслями, воспоминаниями о России, ведь большинство училось в Москве, на Ленинских горах, и для них это целая эпоха — общежитие МГУ, сумрачные коридоры сталинской «высотки» с державным шпилем, китайская кухня в студенческой столовой, скамейки в университетском парке, песня «Москва — Пекин». И пусть мы сейчас иначе смотрим на эту эпоху — для них она остается частью жизни, прожитым, пережитым, бережно хранимым в душе. Удивительный это народ, старые китайские русисты: даже в том, как они говорят по-русски, слышатся наши п я т и д е с я т ы е. Словечки, обороты речи — все оттуда, от простых рубашек с расстегнутым воротом, вихрастых чубов, выбивающихся из-под козырьков клетчатых кепок, и широких брючин, метущих пыльные тротуары. Вот как бывает — у нас исчезло, а у них сохранилось. И словечки, и сам в о з д у х пятидесятых.

Этим воздухом словно бы дышит и мой старый друг Ван Дэшэн, с которым познакомились в Москве около десяти лет назад, и он еще тогда удивил меня детальным знанием литературы девятнадцатого века. «Бежин? — переспросил он, услышав мою фамилию, и тотчас закивал головой. — Да, да, «Бежин луг»!» Оказалось, что Ван Дэшэн переводчик многих произведений русской литературы — и классической, и современной (позднее он перевел и один из моих рассказов), что он пишет статьи и книги и тоже учился в Москве, и пятидесятые для него — эпоха. И сейчас мы сидим рядом, тихонько разговариваем или молча улыбаемся друг другу (именно д р у г и именно д р у г у: в изначальном значении слова), Ван Дэшэн палочками подкладывает мне в тарелку вкусную китайскую снедь, и каждый из нас чувствует в себе живую частичку: я — частичку Китая, а он — частичку России...

После ужина я — в гостях у Ван Дэшэна. Живет он совсем недалеко, в десяти шагах от ресторана, где нас угощали ужином, и мы пешком добираемся до его дома. Ван Дэшэн оставляет в подъезде свой велосипед, навешивая на него замочек, мы поднимаемся по лестнице, он ключом открывает дверь, и перед нами... обставленный на старинный лад «кабинет ученого», резные деревянные кресла с вышитыми подушечками, подложенными под спину, инкрустированные слоновой костью ширмы, каллиграфически выписанные строчки древних стихов на шелковых свитках, ароматные свечи в нефритовых подсвечниках и угольки благовоний, тлеющие в бронзовой курильнице... нет, нет, конечно, все это лишь мечты, и перед нами — обычная современная квартира. Обстановка — самая простая, я бы даже сказал, слегка аскетичная. Во всяком случае заметно, что особого значения ей не придают и хозяин вовсе не озабочен устройством интерьера.

Вот письменный стол — это да, на столе строжайший порядок, аккуратно разложены книги и письменные принадлежности, к остальным же вещам хозяин не слишком взыскателен. Единственное, чем он гордится как техническим новшеством, — это антенной, позволяющей ловить телепередачи на русском языке. После осмотра квартиры мы усаживаемся за небольшой столик, и младшая дочь приносит нам чай. Да, да, двое друзей за чашкой душистого чая, неторопливая беседа о древних стихах... — впрочем, это тоже мечты, и говорим мы совсем на другие темы. Ван Дэшэн рассказывает о старшей дочери, которая живет в Америке, или точнее сказать, живет А м е р и к о й, и какой там русский язык — английский и только английский, поскольку именно там, в Америке, она получила, добилась, достигла, и у нее есть большая удобная квартира, собственный автомобиль, не слишком обременительная работа (все-таки главное для женщины — это семья) и возможность путешествовать по всему свету. «А чего достигли вы?!» — спрашивает она в письмах, и моему другу трудно ответить на этот вопрос. Любовь к России — особая любовь, она не приносит благополучия, а наоборот, требует отказа, самоотречения, аскетической жертвы, но взамен дарит то, с чем не сравнится ни собственный автомобиль, ни возможность ездить по свету. Да, да, не сравнится — уж мы-то знаем, но разве об этом скажешь!..

III

По части смешения Шанхай едва ли не первый город в мире — чего там только не найдешь! Французские улочки, голландские домики, английские кварталы, и, что самое удивительное, ты и в этом находишь себе родное. Да, да, не только в русском, но и во французском, голландском, английском. Среди всего этого тебе именно живется и именно — хорошо. Настолько хорошо, что невольно ловишь себя на той самой любви ко всему миру, которую древние греки называли чувством космополитизма. Ловишь без всякой опаски, без всякой готовности заподозрить: «Уж не космополит ли я безродный, прости Господи?!», потому что и космополитизм, и патриотизм — от единого корня, и любовь к родине невозможна без любви к миру.

Пожалуй, один человек в Шанхае понимал это лучше других — Лу Синь. Да, да, тот самый, написавший «Подлинную историю А-Кью», печальную повесть о жалком и смешном эгоцентрике, который все свои неудачи возводил в ранг особых м о р а л ь н ы х побед. Вот он, — как в зеркале, — традиционно-китайский канон мышления, не допускавший признания превосходства иного над собственным, соседнего над своим. Согласно этому канону, все китайское л у ч ш е, даже если оно хуже. Поэтому Англию знает лишь тот, кто знает т о л ь к о Англию. И знает, и любит, иначе какой же он патриот! Настоящий патриот не допустит, чтобы к э т о й любви примешивалась другая. Не допустит, не позволит — казалось бы, чего спорить, но вот допустил и — настоящий: тут-то и начинается тот самый спор, который повел Лу Синь с приверженцами старых канонов. Он истинной, высокой любовью любил свой народ, отечественную культуру, но к этой любви примешивалась любовь к другим народам и культурам — в том числе и к русской.

Поэтому с особым чувством смотришь на маленький столик, за которым писатель переводил на китайский язык «Мертвые души» Гоголя. Да, да, мы осматривали дом Лу Синя — трехэтажное кирпичное здание на одной из шанхайских улиц, и вот этот столик с зеленой лампой... он находился в спальне, у окна, и к нему был придвинут стул с плетеным сиденьем. Совсем обычный столик, даже слегка невзрачный, немемориальный, и, глядя на него, не сразу осознаешь, что на нем совершалось великое действо — сближение культур. Пожалуй, иначе и не скажешь — великое, ведь сближение т а к и х культур, как русская и китайская, — все равно что сближение материков. Да, да, пожалуй... Волоски кисти напитывались густой черной тушью, столбцы иероглифов покрывали бумагу, и усилием человека, склонившегося над столом, сдвигались материки, гигантские духовные монолиты. Да, да, вздрагивали от подземного гула, разрывали паутинки корней, намертво вросших в землю, и медленно двигались навстречу друг другу...

Удивительное это место, дом Лу Синя в Шанхае — удивительное своей подлинностью. За этим столом переводил, на этом стуле сидел, в этих сундуках хранил одежду, из этих коробочек отсыпал лекарства, когда слишком

одолевали хвори, а на этой кровати с балдахином — умер. Измученный болезнями, исхудавший — на этой самой кровати... Непостижимо! Невозможно до конца осмыслить, приспособить к своему пониманию: произошло и — здесь. Именно здесь, где ты сейчас стоишь — на этом крошечном пятачке пространства! Про-и-зо-шло! Вот почему возникает соблазн, непреодолимый для всех посетителей музеев, — прикоснуться, потрогать рукой. Возникает не от праздного любопытства, не от желания нарушить извечный музейный запрет («руками не трогать!») — этот спасительный жест призван донести до сознания, придать осязательную выпуклость ускользающему, дразнящему совпадению. «*Произошло и...*», «*Произошло и...*» — повторяешь ты, словно стараясь замкнуть невидимый круг, сцепить концы упрямо разгибающегося обруча. «*И — здесь*», «*И — здесь*», — круг замкнулся, концы обруча сцепились, и вопреки запретным табличкам ты опасливо тянешься к предмету своего вожделения. Помнится, именно так мне хотелось прикоснуться к дивану, на котором родился Толстой, — это было в одной из комнат яснополянской усадьбы, где я остановился в растерянности, тщетно стараясь сладить с концами тугого обруча: «На этом диване — Толстой», «Толстой — на этом диване». И вот теперь кровать в доме Лу Синя, на которой умер великий писатель, и снова несоединимо: *Лу Синь* — в этом доме, в этом доме — *Лу Синь*...

«...за последнее время совсем не было дождей, думаю, что скоро станет тепло. В доме все себя чувствуют хорошо, Хай-ин здоров, и я спокоен. Здоровье у меня, как всегда, хорошее, но я все время занят, множество мелких дел. Бывают времена, когда я чувствую слабость, но все равно нужно писать статьи, если не из-за дружеских отношений, то для того, чтобы заработать на жизнь», — пишет он матери из Шанхая, и точно так же, как его успокаивает мысль о здоровье сына, он стремится успокоить мать сообщением о собственном здоровье: «...как всегда, хорошее». Вряд ли это так, тем более что строкою ниже он сам же жалуется на слабость, не позволяющую много работать, но — в городе весна, конец апреля (письмо помечено тридцатым числом), и ему хочется верить, что он здоров.

Вот и сейчас, когда нас возят по Шанхаю, показывают дом Лу Синя, старинный сад с беседками и причудливыми камнями, памятник Пушкину на высоком постаменте, тоже стоит апрель, правда, не конец, а начало, но совсем нет дождей и по-весеннему припекает солнце. Апрель — апрель. Это совпадение во времени так же дразнит и ускользает от сознания, как и совпадение в пространстве. Тогда сливается с сейчас, и ты снова вспоминаешь древних поэтов, для которых «тысяча осеней — как одна осень». При подобном восприятии времени прошлое не просто живет в памяти — оно пребывает в настоящем. Апрель — апрель, март — март, май — май... Все возвращается к исходной точке, и воспетая великим Ли Бо луна и поныне светит с небес: «Я стану в горах любоваться весенней луной...» И по-прежнему блестит роса на черепице древних храмов, и старик-даос бредет по обочине улицы с пестрой лоскутной котомкой. Однажды мы разговорились с таким стариком — это произошло во дворике храма, расположенного на окраине Шанхая. Мы уже побывали во всех павильонах, насмотрелись на монахов, читающих сутры, на статуи буддийских святых, на бронзовые курильницы с остывшей золой, вазы с сухими цветами, красные фонарики и большие свечи под стеклянными колпаками и теперь просто бродили по храмовому дворику, рассеянно поглядывая по сторонам, и вот этот старик...

Седобородый, морщинистый, с длинными космами волос, с черной шапочкой на голове и даосским амулетом на шее, он грыз сухую корку редкими желтыми зубами и изредка вытирал рукавом губы. Один из наших сопровождающих подошел к нему и вежливо спросил, не согласится ли почтенный сфотографироваться с зарубежными гостями. Старик вытер губы рукавом синего халата, спрятал в котомку остаток еды и ответил, что он согласен сфотографироваться, но только очень не любит, когда при этом стараются положить руку ему на плечо, ненароком обнять или даже шутливо потискать его, как ребенка — одним словом, ведут себя совершенно запанибратски. Он считает, что это нехорошо — бу хао. Настолько нехорошо, что он сейчас же уйдет, если заметит с нашей стороны такие попытки. Мы тотчас дружно заверили старика, что не собираемся даже прикасаться к нему, нарушая своими жестами его священную ауру, и тогда старик согласился.

Согласился и произнес: «Хао...» Пожалуйста, он готов сфотографироваться. Он встанет в центре, а мы можем встать рядом. Но не вплотную — на некотором отдалении. Вот так... — тут он жестом обозначил расстояние между собой и нами... — чтобы не нарушать священную ауру. Когда снимок был сделан и старик убедился, что поставленные им условия полностью соблюдены, он проникся к нам доверием и решил поговорить с нами о Лаоцзы. Порывшись в своей котомке, он извлек оттуда потрепанный список «Дао дэ цзина» — канонической книги даосов — и стал рассуждать о важнейших даосских категориях естественности, слияния с природой, всепроникающей власти Дао — «Пути всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее», как определил смысл этого понятия Бунин в рассказе «Сны Чанга». «Вот если не противиться, а послушно следовать Дао, можно через три года стать бессмертным», — сказал старик, конечно, ничего не слышавший ни о Бунине, ни о Толстом, но зато постигший сокровенную суть учения китайских мудрецов. «Да, да, бессмертным... через три года», — повторил он и в доказательство правоты своих слов высоко поднял над головой книгу Лаоцзы. «Ровно через три...» — старик показал нам три сухих сморщенных пальца, набросил на плечо котомку и, улыбнувшись на прощание, зашагал по мощеному дворику легкой походкой бессмертного.

IV

Ну, и, конечно, — опера... Да, да, в Шанхае мы побывали на представлении традиционной китайской оперы, о которой уже столько писалось, столько рассказывалось, что каждый имеет о ней сложившееся представление. Каждый знает, что в этой опере не поют, а декламируют, причем на особый манер, резким фальцетом, весьма непривычным для нашего уха. По правде сказать, наше ухо даже улавливает в нем гортанные отзвуки, слегка напоминающие кошачьи, и это тоже входит в сложившееся представление о китайской опере: кошачьи, да и только, и попробуйте нас в этом переубедить! То же самое — и с движением по сцене. Когда китайский актер медленно поднимает ногу, по-особому сгибает ее, проносит над полом, а затем так же по-особому выпрямляет и ставит на пол, нам это кажется причудливой пантомимой, загадочным ритуальным танцем — чем угодно, только не сценическим шагом, и мы успокаиваем себя тем, что у них так принято, так положено, поэтому чего тут удивляться! Китайцы... И толстый слой грима, которым пользуются актеры, — это тоже у них, и маски, закрывающие лица, — тоже... И, конечно, звучащая при этом музыка — типично китайская, не говоря уже о самом сюжете с интригами царедворцев, кознями злодеев и подвигами благородных героев, тоже типично... типично китайском. С таким сложившимся представлением мы давно привыкли мириться и вовсе не собираемся от него отказываться. Более того, мы им даже гордимся, ведь оно позволяет нам сказать: «Китайская опера? Да, да, очень интересно...» Сказать и сейчас же с облегчением забыть о ней. При этом нам и невдомек, что опера-то не китайская, а наша, что она нам по-настоящему близка и понятна и надо лишь научиться ее слушать, чтобы она раскрылась во всем своем богатстве.

Такой учебой и стало для нас представление в шанхайском театре. Представление, на котором обнаружилось, что и декламация фальцетом, и движение актеров по сцене, и толстый слой грима, и маски на лицах, и звучание маленького оркестра сливаются в нечто единое, цельное, гармоничное... нечто одухотворенное и в высшей степени рафинированное, очищенное от всего случайного... нечто, достойное наименования высокого искусства сцены. Искусство здесь не в том, чтобы было, «как в жизни», чтобы мы узнавали: вот посмотрите-ка, такие же стулья, столы, обои в цветочек, и из

чайника льется вода — настоящая, и кошка в руках у героини — тоже настоящая, живая, с рыжими пятнышками... посмотрите-ка! Нет, искусство здесь как раз в том, чтобы не вытаскивать на сцену живую кошку, а уметь сделать такой жест ладонью, словно бы поглаживающей воздух, чтобы зритель не только представил выгнувшуюся спину, но и услышал тихое урчание кошки, благодарной за ласку хозяина. Точно так же для показа верховой езды не надо забираться на лошадь и скакать по сцене — достаточно взять в руки воображаемые поводья и изобразить, как вы слегка подпрыгиваете в седле. А если по сюжету требуется, чтобы вы поливали цветы, то и это можно передать жестом, намеком, отточенной пантомимой. Иными словами, искусство — это именно искусство, которое все преображает, окультуривает, из «сырого» делает «вареное». Вот почему на сцене надо не говорить, а декламировать, не ходить, как мы ходим в жизни, а передвигаться особым шагом. Поэтому и лицо нельзя оставить без грима, а необходимо выкрасить его так, чтобы зритель сразу понял, кто перед ним — трус или храбрец, преданный слуга императора или коварный интриган и злоумышленник. Сразу понял и больше об этом уже не задумывался. Не задумывался и не сомневался: или... или..? Такие сомнения возможны в жизни, но театральные амплуа на то и существуют, чтобы восприятие зрителя было целиком сосредоточено на искусстве, чтобы зритель задавался не вопросом о том, кого играет актер, а вопросом, как он играет...

Пожалуй, вся китайская опера — это не что, а как. Для зрителя важен не сюжет, известный ему заранее, а мастерство актера: как декламирует, как ходит по сцене, как владеет мечом. Именно актер — истинный творец китайской оперы, поэтому легко себе представить, как мы обрадовались знакомству с настоящим актером. Правда, это произошло уже не в Шанхае, а в Сучжоу, куда мы отправились на следующий день, и наше знакомство состоялось не за кулисами театра, среди зеркал, гримерных кресел и бутафорского реквизита, а на самой обычной привокзальной площади, где нас встречал автобус. «Меня зовут Ван Цзюньжуй, — представился молодой человек с удивительно здоровым цветом лица, изящными жестами и упругой, легкой походкой. — Я буду сопровождать вас в Сучжоу». И оказалось, что он-то, наш сопровождающий, в недалеком прошлом актер, много лет проработал в театре, переиграл десятки ролей в классических пьесах, пока переведенная на хозрасчет труппа не распалась из-за финансовых затруднений. Ван Цзюньжую пришлось сменить профессию, и теперь он работает в иностранной комиссии Союза писателей, встречает гостей, помогает расположиться в гостинице, показывает достопримечательности старинного городка — одним словом, выполняет обязанности гида. Весьма прозаические обязанности, надо признаться — встретить, помочь расположиться, показать достопримечательности. Прозаические и вроде бы такие далекие от искусства, но странное дело — искусство не покидает этого человека, и стоит присмотреться к его жестам, походке, прислушаться к манере говорить, и сразу понимаешь: актер! Мгновенно чувствуешь: школа! Строгая классическая выучка! Ему бы в руки меч или боевое копье, с какими выступают в пьесах из времен Троецарствия, и он, издав гортанный победный клич, тигриным скоком пронесся бы по сцене... К нашему восторгу, так и случилось однажды, когда в одном из сучжоуских садов мы осматривали подмостки деревянного театра, сохранившегося со времен последней императорской династии Цин. Случилось, случилось — не выдержала актерская душа. Не выдержала и — воспарила... Наш сопровождающий вдруг выхватил из ножен старинный меч, висевший на стене, выбежал с ним на сцену и стал кружиться в боевом танце, рассекая сверкающим лезвием воздух... Вот тут-то нам и открылось, что Сучжоу — городок загадочный, нереальный, перевернутый, словно отражения его бесчисленных каналов, что он только мистифицирует нас своей похожестью на прочие современные города, а на самом деле и люди в нем особые, и время в нем — другое...

Да, да, не совпадающее с нашим, а словно застывшее таким, каким оно было при последних императорских династиях. Потому-то и служащий иностранной комиссии способен исполнить боевой танец, а девушка, сотрудница музея — сыграть мелодию на старинном струнном инструменте. Обычная девушка, с закрывающей лоб челкой, в очках — а вот, пожалуйста... как в минские и цинские времена... положила на колени старинный чжэн, поправила колки, попробовала струны, и зазвучала, зазвучала мелодия... та самая, которую играли и триста, и четыреста лет назад. Тогда — как сейчас, и сейчас — как тогда: вот она, загадка Сучжоу, города каналов, мостиков и садов, города фантастических отсветов и мерцающих отражений! Сады здесь — главное, они-то как раз и есть застывшее время. Сады, сады, сады. Не хватит и целого дня, чтобы их обойти, и хватит — одной минуты. Одной — чтобы почувствовать то, что древние китайцы, знатоки садового искусства, называли уединенно-сокровенным. Нам тотчас хочется уточнить: уединенно-сокровенное — что? Что именно обозначается этим понятием? А уточнять-то как раз и не надо — достаточно ощутить уединенно-сокровенное нечто, сквозящее в решетчатом переплете беседки, в ветках цветущих деревьев, в илистой зелени пруда. И, может быть, выпадет минута, когда что и нечто соединяется вместе и сад покажется вам целым миром, а мир — садом. А сами превратитесь... ну, скажем, в пятнышко туши, на которое случайно упала капля дождя, и вот это пятнышко бледнеет, растекается, сливается с белым листом бумаги. Точно так же и вы — сливаетесь. С садом, с миром, со всей вселенной. Сливаетесь и перестаете существовать таким, каким вы были до этого. Теперь вы есть, и все ваше прошлое и будущее становится настоящим. Отныне вы — это причудливый переплет беседки, цветущее дерево, роняющее лепестки на тропинку, маленький пруд с зеленой водой. Вы — это все, что вы видите и слышите, но только — не вы сами. О себе самом вы забываете и самозабвенно (вот исконный смысл этого слова!) отдаетесь созерцанию сада, постижению мира, особенно величия вселенной.

Признаться, у меня было три таких минуты, и каждая из них связана с особой пометой в записной книжке. Особой — потому что хотелось записать не название того или иного места, не имя человека, оставившего след в его истории, не связанный с ним исторический факт, а именно приметы того состояния, которое в этом месте возникло, обозначилось в душе, наполнило ее радостью и исчезло, как исчезает зыбкое предгрозовое марево. И теперь, перечитывая записную книжку, я словно бы ищу... протягиваю руку и пытаюсь поймать... нащупать в воздухе то состояние. Может быть, удастся пережить его снова? Вот я «оперся о подоконник открытого окна и стал смотреть в сад с причудливыми камнями, узловатым стволом цветущего дерева и мокрой от дождя мощеной дорожкой». Да, да, китайцы любят эти камни необычной, причудливой формы, и узловатый, изогнутый ствол дерева с уродливыми наростами коры — для них предмет благоговейного созерцания (уродливое по-своему прекрасно), и мокрая от дождя дорожка напоминает о Дао, великом Пути всего сущего в мире. Напоминает не всегда, а в минуты тихого уединения, под невнятный шелест моросящего дождя, при неясном свечении пасмурного неба, и сейчас — такая минута. Или вот мы «сидим на фарфоровых табуретках за круглым резным столиком, пьем зеленый чай и разглядываем карликовые деревца в керамических кадках». Да, да, у китайцев издавна принято выращивать карликовые сосны, кипарисы и пальмы, как бы выражающие мысль о том, что и в малом присутствует великое, что, не выходя со двора, можно увидеть весь мир. И нам кажется, что мы — видим. В этих карликовых деревцах видим огромные деревья, заслоняющие вершинами небо, слышим шум прибоя, разбивающегося о прибрежные скалы, угадываем крики голодных чаек, задевающих крыльями гребешки волн. Так не в том ли смысл подлинного искусства, что, превращая великое в малое, оно позволяет нам в малом снова увидеть, услышать, угадать великое! Именно нам, сидящим за столиком и пью-

щим зеленый чай! Без нашей о т г а д к и искусства нет, а есть лишь карликовые деревца в керамических кадках, и только наше воображение позволяет им коснуться вершинами неба...

И наконец — третья минута, о которой в записной книжке помечено лишь в нескольких словах: «Женщины стирают белье на каменных ступенях набережной». Да, да, помню, перекинувшийся через русло канала каменный мостик, причаленные к берегу лодки и этих женщин с плетеными корзинами, наполненными выжатым бельем. Помню очень отчетливо — как они наклонялись над водой, полоскали белье и складывали в корзину. Вроде бы что особенного — обычная стирка, но в то же время горбатый каменный мостик, причаленные к берегу лодки, склонившиеся над водой женщины обо-значали (обозначали — значение — знак) и нечто иное, исполненное вечного и сокровенного смысла, недаром тема стирки — одна из самых распространенных в китайской классической поэзии, и меня не покидает ощущение, что все это уже б ы л о, и этот мостик, и эти лодки, и эти женщины, и я словно бы заново перечитываю давно знакомые строки. Странное дело — живые предметы словно бы складываются в поэтический текст, и достаточно лишь подставить под них иероглифы, чтобы возникло стихотворение. Ничего не добавляя, ничего не отнимая — просто п о д с т а в и т ь, как дети подставляют нужное слово к цветной картинке букваря. Поистине такое возможно только в Китае, стране, чья огромность во времени (легче себе представить огромность в пространстве) измеряется не одним, не двумя и даже не тремя тысячелетиями. Больше — в том-то вся и штука! И за эти тысячелетия кропотливой культурной работы жизнь настолько «выварилась» (вспомним метафору «сырого» и «вареного»), истончилась, утратила первозданный привкус, что она легко — посредством простой подстановки — превращается в искусство. Набережные и мосты — в строки, парки и сады — в стихотворения. И, глядя на женщин, стирающих белье, я словно бы читаю у поэта династии Мин:

«Небо, храни нас!» — сказала жена,
вытерла слезы со щек,
Теплое платье стирать принялась,
с силой вальком колотя.

(Сэ Чжэнь, «Стирая белье»)

V

Из Сучжоу мы едем в Нанкин, или в более точной транскрипции, Наньцзин — Южную столицу Китая. Едем на поезде вдоль зеленеющих рисовых полей и желтых всходов рапса. Проводница разносит чай в фарфоровых кружках и занимается кооперативной торговлей — разворачивает шелковые свитки с картинами художников, показывает пассажирам, предлагает купить. Двести, триста, четыреста юаней за свиток. Конечно, дороговато, но зато посмотрите, какие краски, какая искусная работа! Можно сказать без преувеличения, что эти «горы и воды», «цветы и птицы» достойны кисти древних мастеров! Так она расхваливает свой товар, и туристы с острова Тайвань, которые едут вместе с нами, оценивающе приглядываются, понимающе покачивают головами и охотно покупают свитки. Проводница укладывает их в длинные картонные коробки и завязывает лентой так, чтобы можно было повесить на плечо. Пожалуйста... поздравляю с покупкой... Заметно, что ей внове эта роль, что она еще не успела к ней привыкнуть и поэтому с л и ш к о м горячо проявляет свое участие, с л и ш к о м искренне благодарит, с л и ш к о м приветливо улыбается. Не привыкла и не научилась обозначать улыбку, как это умеют делать продавцы в больших магазинах. Нет, этой под стать бойкая деревенская лавчонка, где по воскресеньям толпится народ, недаром она вся как на ладони со своими ч у в с т в а м и: раскраснелась, глаза блестят, прядка у виска сбилась — вот что значит удачная торговля! От азарта даже забыла о своей главной обязанности — подливать кипяток в фарфоровые кружки. Куда там! Только и успевает бегать за новыми свитками, но, может быть, этим-то и завоевывает солидного покупателя? Солидному покупателю нравятся наивные и непосредственные продавцы. Нравятся настолько, что он позволяет себя слегка надуть и завысить цену, тем самым доставляя и себе и им самое неподдельное удовольствие...

«Наньцзин! Наньцзин! Кто выходит в Наньцзине?!» — спохватилась проводница, когда поезд замедлил ход, подъезжая к вокзалу Южной столицы. Вместе с толпой пассажиров мы заторопились к выходу и вскоре оказались на платформе, где нас встречали наши гостеприимные хозяева, сразу усадившие меня и Тоню в машину, а Юргу и Усмана — в маленький, юркий автобусик. Был уже поздний вечер, и пока мы ехали в гостиницу, мы видели лишь сумрачные силуэты зданий и одинокие огни фонарей. Настоящее знакомство с городом ожидало нас лишь на следующее утро, но прежде, чем я о нем расскажу, мне хочется вспомнить о далеком-далеком прошлом, о тех самых университетских временах, когда я писал работу о своем п е р в о м китайском поэте.

Да, да, старое казаковское здание на Моховой, украшенное античными рельефами, каменное крылечко с «пушкинскими фонарями», Герцен и Огарев, застывшие в задумчивых позах посреди заснеженных деревьев, заиндевевшие арочные окна с висящими в них шарами электрических ламп, цинковые лопаты дворников, торчащие из сугробов, и безмятежное чувство полнейшей свободы, даруемое статусом очного аспиранта. Ни семинаров, ни лекций — только сиди в библиотеках, почитывай книги и не забывай приходить за стипендией. Счастливейшее — надо сказать — время... Ну, так вот: моим первым был Се Линъюнь, китайский поэт IV—V веков, основатель жанра «стихов о горах и водах», или иными словами, пейзажной лирики. Родился он на юго-востоке Китая — там, где протекает знаменитая Янцзы. Естественно, что пришлось ему побывать и в Наньцзине, Южной столице Китая, которая тогда называлась иначе — Цзянькан. Источники сообщают, что некоторое время Се Линъюнь даже жил в Цзянькане у своего дяди Се Хуня, известного поэта и воспитателя молодежи, собравшего вокруг себя многих молодых Се, представителей одного из самых знатных аристократических семейств юга. Это был своеобразный литературный кружок: Се Линъюнь и его сверстники вместе читали стихи, рассуждали о «достоинствах и недостатках» поэзии, овладевали правилами стихосложения. Историографы тех времен довольно подробно описывают занятия членов кружка. Упоминается и название улицы, на которой находился дом Се Хуня — У и сян, Улица ласточек.

Можно себе представить, каким волшебным эхом отозвалось во мне это название, как оно дразнило, как завораживало меня тем, что относилось к IV веку нашей эры: IV век, а вот, пожалуйста... даже название улицы... каким-то чудом... сохранилось... Разумеется, я и не мечтал о том, чтобы у в и д е т ь эту улицу. Какое там! Увидеть Янцзы и раскинувшийся на ее берегах Наньцзин — еще куда ни шло, может быть, когда-нибудь и придется, но Улицу ласточек — никогда! За шестнадцать веков, отделяющих нас от Се Линъюня, наверняка исчезла не только сама улица, но и память о ней выветрилась, словно слоистый песчаник на крутом берегу реки. Выветрилась, рассеялась, унеслась песчинками в воздухе, и даже следа ее не осталось среди новых домов, площадей и проспектов... Так я говорил себе еще в далекие университетские времена, и когда через много лет представился случай побывать в Наньцзине, я, конечно, и не спрашивал об Улице ласточек. Зачем?! Все равно мне ее никто не покажет... Достаточно, что я постоял на берегу Янцзы, побродил по городу, подышал самим воздухом Южной столицы. Да и мало ли в ней других достопримечательностей! Вот хотя бы остатки городских стен, построенных во времена династии Мин (можно погладить ладонью настоящие минские кирпичи!), мавзолей Сунь Ятсена на высоком холме, открытый летний театр, где отдыхали от дневных забот гоминьдановские чиновники. Мало ли!.. Мало ли!.. Но Улица ласточек не давала мне покоя, и однажды — во время дружеской встречи с наньцзинскими писателями — я все-таки спросил о

ней. Как бы между прочим... как бы не столько рассчитывая на утвердительный ответ, сколько в порядке неопределенного предположения... может быть, самого фантастического (вы уж простите мое праздное любопытство)... А есть ли..?

И вдруг я услышал: есть! Да, да, есть в Наньцзине такая улочка, где некогда находился дом того самого Се Хуня, поэта и воспитателя молодежи, у которого (вы совершенно правы!) некоторое время жил его племянник Се Линъюнь, будущий основатель жанра «стихов о горах и водах». «У и сян — Улица ласточек?!» «Да, да, в южной части города... неподалеку от Храма Конфуция... мы вам непременно покажем!» И вот — наконец-то! — наш автобус остановился в южной части, мы миновали Храм Конфуция, пересекли площадь и узенькими проулками добрались до Улицы ласточек. Той самой улочке, даже табличка с иероглифами — та же: Улица ласточек! Так и написано — теми же словами, что на странице старинной хроники: У и сян! Маленькая, узкая, с одноэтажными домиками, из колодца достают воду, на веревках сушится белье — совсем обычная улочка, каких в Наньцзине тысячи, и в то же время странное — необычное! — чувство охватывает каждого, кто сюда попадает. Чувство того, что здесь было... И Се Линъюнь, и его сверстники, и их строгий воспитатель Се Хунь — именно здесь, где ты сейчас стоишь. И словно бы нет этих шестнадцати веков, разделяющих тебя и их, ведь ты стоишь там же, на том же пятачке земли. Ты соприкасаешься с историей, как твоя ладонь — с шероховатой поверхностью кирпича, обожженного в печах минской династии. Ты дышишь историей, словно воздухом утреннего моря или соснового леса, омытого летней грозой. Ты живешь историей, будто своим собственным прошлым, поскольку именно в тебе находит бесчисленные повторения то, что произошло однажды в одном-единственном месте. Ты — продолжение истории во времени и пространстве, и если это пространство имеет обозначенные границы, именуемые историческим местом, то время ее безгранично, поскольку оно заново оживает в людях, обладающих даром исторической памяти...

Из Наньцзина, Южной столицы, мы вернулись самолетом в Пекин, или точее Бэйцзин — Северную столицу. Нань — бэй, юг — север. Круг замкнулся, и на этом завершилось наше недолгое путешествие. Осталось лишь рассказать о том, что нам удалось — посчастливилось! — увидеть в Пекине, и именно на этот раз. В прошлый не удалось, не посчастливилось, а на этот — увидели, и даже обнаружился некий особый смысл в том, что не сразу, а с опозданием, с задержкой, с отсрочкой на неопределенное время. Нас как бы готовили: вот вы посмотрите, а потом увидите, и это станет для вас одновременно и завершением, и высшей точкой, кульминацией вашего путешествия. Иными словами, самым-самым, к чему так долго подбирались, карабкались вверх по ступенькам, раздвигали сухие ветки, царапавшие лицо, и вдруг — открылось! С вершины горы открылась бирюзовая равнина моря или изумрудная даль леса. С высокой крепостной башни — заповедное царство островерхих крыш и печных труб, теряющееся у самого горизонта. Вот так же, как море, как лес, как заповедное царство, открылся нам Пурпурный запретный город, зимняя резиденция китайских императоров. Именно так же — во всей бесконечности своего пространства. Когда мы вошли в ворота и медленно двинулись вдоль величественных павильонов дворца, останавливаясь в садах и мощеных двориках, улавливая запах политых водою каменных плит, пробивающейся в выбоинах травы и сосновых иголок — особый запах старого места, нам ни на секунду не становилось страшно, что это кончится. Кончатся дворики, сады, павильоны — не становилось, и все тут, хотя в другом подобном месте этот страх уже давно бы просочился, проник в сознание. Слишком уж мы привыкли, что кончаются старые улочки города, мощеные мостовые, кварталы старинных домов, а здесь — бесконечность! И нет этого страха, а есть лишь постоянная готовность к новому чуду, которое ждет тебя за поворотом дороги...

МИКРОРЕЦЕНЗИИ

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВОЙ?

Этот вопрос всегда возникает перед молодой девушкой вместе со страстным желанием обрести счастье. Молодость — пора открытий, но не всегда открытие безвредно для молодого человека и людей, его окружающих. Пробы вслепую ведут к неизбежным ошибкам. Именно от них стараются уберечь молодежь авторы книги «Энциклопедия молодой женщины», вышедшей в издательстве «Прогресс» в 1989 году /перевод с чешского/. В ней отражена жизнь современной женщины в возрасте от 15 до 30 лет. По разнообразию охватываемого материала книга действительно может быть названа энциклопедией. Авторы постарались разъяснить многие вопросы: как отличить любовь от влюбленности? Как стать красивой? Как решить проблемы отношений между мужчиной и женщиной? Почему важно не переделывать супруга? Что посоветовать одинокой матери?..

Книга замечательна не только количеством разнообразной и необходимой научной информации, но и тем, что не дает однозначных рекомендаций по любому вопросу. Она учит думать, прежде чем действовать, учит познавать свои возможности и использовать их. «Мы хотели бы, — пишут авторы в предисловии, — чтобы женщины нашли в нашей книге ответы на вопросы, возникающие в повседневной жизни, и чтобы ответы эти помогли женщинам если не избавиться от трудностей, подстерегающих их на каждом шагу, то по крайней мере, с честью преодолевать их».

Большое внимание в книге уделено проблемам материнства. Молодые мамы найдут здесь советы не только врачей и педагогов, но и психологов. В отличие от первого русского издания во втором — восстановлены все страницы, где речь идет об интимных отношениях. Ясно, что замалчивание этого не приносит пользы молодым людям, готовящимся вступать в брак. Книга написана увлекательно, откровенно, с большим тактом и явной неприязнью ко всякой вульгарности. Она может стать добрым советчиком не только для молодой женщины, но пригодится и молодому мужчине, ищущему решения жизненных проблем.

ЛЮДМИЛА ЖУКОВА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ / Перевод с чешского. — 2-е изд., доп. — М.: Прогресс, 1989.

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НОВОГО КИТАЯ / Сокр. пер. с англ.; Редкол. А. Н. Кузнецов и др. — М.: Прогресс, 1989. — 519 с., ил. — 9 р. 50 000 экз.

Каддафи М. ЗЕЛЕНАЯ КНИГА / Пер. — М.: Междунар. отношения, 1989. — 160 с. — 1 р. 80 к. 50 000 экз.

Косичев Л., Низский В. КОЛОКОЛА ЧИЛИ. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 192 с. — 50 к. 30 000 экз.

Соубел Р. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЙНЫ / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1989. — 335 с. ил. — 2 р. 50 к. 30 000 экз.

Гирусов Э. В., Ширкова И. Ю. ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. — М.: Знание, 1989. — 64 с. — (Глобальн. пробл. современности). — 15 к. 10 000 экз.

Куликов В. С. КИТАЙЦЫ О СЕБЕ. — М.: Политиздат, 1989. — 256 с., ил. — 1 р. 100 000 экз.

О НИХ ГОВОРЯТ (20 политических портретов): Полит. портреты зарубеж. деятелей / Сост. В. Пасечник. — М.: Политиздат, 1989. — 447 с. — 90 к. 100 000 экз.

Максимов С. В. КРЫЛАТЫЕ СЛОВА: Не спроста и не спуста слово молвится и до веку не сломится: по толкованию С. Максимова. — Красноярск: Кн. изд-во, 1989. — 391 с. — 1 р. 20 к. 10 000 экз.

Мисюрев А. А. ЛЕГЕНДЫ ГОРНОЙ КОЛЫВАНИ / Сост. А. М. Родионов. — Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989. — 295 с. — (Фольклорное наследие). — 1 р. 10 к. 15 000 экз.

Нам пишут

Начав с шестого номера публикацию афиши «Слово» на 1990 год, мы предоставили возможность читателю сделать свой выбор между двумя журналами, отличающимися друг от друга не только по названию. А потому подписка и должна была реально подтвердить жизнеспособность той новой программы, которую предлагало «Слово». Тем более, что журнал «В мире книг» тираж 1989 года набрал во многом благодаря объявленной в «Комсомольской правде» «Рок-энциклопедии». Разница в цифрах оказалась довольно внушительной: 1988 год — 40 тысяч, 1989-й — 150 тысяч. Но в афише «Слова» на 1990 год продолжение «Рок-энциклопедии» не значилось, что сразу же вызвало бурную ответную реакцию. Подписчик журнала Ю. Ю. Брагин из г. Кокчетава так и писал: «Последний (№ 6) номер журнала, который стал ни с того ни с сего называться «Слово», вывел меня из равновесия. Могу взять на себя смелость утверждать, что в недалеком будущем тираж Ваш останется в пределах 153 (не тысяч, но штук). А основными и постоянными читателями останутся технические корректора».

Такое вот будущее нам предрекали многие поклонники рок-музыки, твердо убежденные (и для этого были основания), что тираж журнала определяет именно «Рок-энциклопедия», а все остальное — бесплатное приложение к ней. «Ваш журнал я выписал **только** из-за «Рок-энциклопедии», ибо что-либо интересное встречается достаточно редко (не чаще, чем в других изданиях). А потому ставлю вас перед фактом», — заявлял И. Е. Феоктистов из Москвы, «ставя перед фактом» своего отказа от дальнейшей подписки на журнал без «Рок-энциклопедии». Это одни из самых корректных писем поклонников рока, другие попросту воспроизвести нельзя. Когда же редакция объявила, что «Рок-энциклопедия» выйдет отдельной книгой, это не успокоило, а лишь подлило масла в огонь. «Лично для нас, читателей не Москвы и не Ленинграда, — пишет Дмитрий Левченков из Мурманска, — мало радости в том, что издательство «Книжная палата» возьмется за выпуск отдельного издания «Рок-энциклопедии», т. к. на 100% уверен, что дальше Москвы и Ленинграда эти книги не разойдутся». В девятом и двенадцатом номерах редакция дважды пыталась объяснить свою позицию, но тщетно, поскольку подписчики (не журнала, а «Рок-энциклопедии») были твердо уверены, что «музыку» заказывали они. Справедливости ради нужно отметить, что среди писем рокеров были не только ультиматумы и угрозы, но и вполне разумные предложения, в том числе: «Обеспечить возможность внеочередного приобретения книги, выпускаемой издательством «Книжная палата», всем читателям журнала «В мире книг». Для этого в одном из номеров журнала напечатать отрывной талон, дающий право на внеочередное приобретение упомянутой книги при поступлении ее в торговую сеть» (А. О. Тарахтунов, Москва). Именно подобное предложение, высказанное в нескольких письмах, и заставило редакцию искать пути его практического осуществления. Причем, не только по отношению к «Рок-энциклопедии», но и других изданий. Так, быть может, возникнет новая нетрадиционная форма распространения книг от издателя к читателю напрямую, минуя книготорговую сеть и, что не менее важно, «черный» рынок и «теневую» экономику.

Но помимо подписчиков «Рок-энциклопедии» у журнала «В мире книг» был, естественно, и свой круг читателей-книголюбов, которые тоже далеко не во всем принимали программу «Слова». О чем и писали они в редакцию: «Считаю волюнтаристским решение переименовать журнал «В мире книг», четкое и ясное название которого определяет профиль журнала. Я протестую», — заявлял Александр Аливанский из Москвы, добавляя к этому еще целый ряд столь же категоричных протестов. А некоторые читатели в знак протеста попросту возвращали подписные квитанции, как это сделали Б. П. Киселев из Ленинграда и Т. Т. Рудакова из Перми.

Одним словом, к началу подписной кампании сложилась довольно неблагоприятная для журнала ситуация. Оказавшись между двух огней, журнал вообще мог потерять подписчиков как среди любителей рока, так и среди любителей книги. Единственное, на что могло надеяться «Слово», это на объявленную программу будущих публикаций, на то, что это новая программа найдет своего читателя. И такие отклики стали приходить одновременно с угрозами и ультиматумами...

«Журнал «Слово» становится все лучше и лучше. Я на него подписался только из-за рок-энциклопедии, но открыл для себя новый интересный для меня (не знаю, как для других) журнал, я полюбил его и остаюсь его подписчиком», — пишет шестнадцатилетний Владислав Ловянников из города Шевченко. «Прекрасная мысль переименовать безличное «В мире книг» в отличное название «Слово». Давно выписываю журнал и констатирую, что вы не только добавили в 1987—1988 гг., но и резко набрали темп в 1989 г. Сейчас это заметно по тому, что он прочитывается от корки до корки мной и моими друзьями. Судя по аннотациям, в 1990 году будет масса прекрасного материала, но хотелось бы познакомиться с Иосифом Бродским, Сашей Черным».

Таких писем немного, но именно они вселяют надежду на взаимопонимание, на терпимость к инакомыслию, которой нам сейчас (всем без исключения) больше всего не хватает. Ведь стоило только появиться в афише именам В. Белова, В. Распутина, Ю. Бондарева, В. Бондаренко, как последовал вопрос: «А что, нет у нас Быкова, Адамовича, Евтушенко, Битова, Приставкина... Опять групповщина, сведение счетов, язык кухонных склок? Опять выпячивание одних, получивших и в годы застоя награды, премии, кресла, и умалчивание других?» (В. Васильев, Смоленская обл.) Такое впечатление, что сами имена тех или иных писателей стали уже некими условными знаками, на которые вырабатывается такая же условная реакция, лишающая человека главного — способности самостоятельно оценивать явления литературы и жизни, а не пользоваться готовыми «клише». С этим «Слову» тоже пришлось столкнуться уже с первых же номеров, в которых редакция вполне сознательно пошла на публикацию материалов с альтернативными точками зрения. Альтернативными по отношению к навязываемым «клише». Далеко неоднозначной была реакция читателей на статью Сергея Куличкина «Чисты перед нашим народом» (№ 8), в которой он пытался защитить армию от «чернухи», ставшей едва ли не нормой в литературе. Одни читатели утверждали: «Давно в нашей прессе не было такого правдивого, берущего за сердце, честного материала. Да и где он может появиться?» (А. И. Данилов, Липецк), другие негодовали: «Тов. полковник! Вы — апологет застоя, замалчивания, перестраховки, «патриот» армии, защищающий честь мундира, плохо разбирающийся в литературе (как и все офицеры), не знающий психологии и т. д. и т. п. В общем, вы — **офицер**, и этим все сказано» (странно только, что автор этого письма предпочел остаться анонимом). Но такая полярность в оценках не только не пугает редакцию, а, наоборот, заставляет идти на еще большее обострение разговора.

«Со словом нужно обращаться честно». Я напоминаю эти гоголевские слова журналу и от всей души желаю смело отбрасывать словесную шелуху, пустую болтовню, особенно современную, и заполнять страницы журнала мудрыми и жгущими сердца людей глаголами», — этими строками из письма А. А. Арефьева из Ростова, обращенными к «Слову», и хотелось бы закончить разговор о читательских откликах и наших планах на 1990 год. Добавив лишь одно. Результаты подписки оправдали наши надежды. А это значит, что в 1990 году мы обязаны выполнить взятые перед читателями обязательства, учесть их пожелания и замечания. А таковых немало. «Хочется, чтобы редакция поняла одну важную истину — печатание отрывков ничего хорошего не приносит, это все равно, что дразнить собаку, когда она обгладывает кость», — отмечает — и вполне справедливо — В. Л. Полушин из Тирасполя. На что можно ответить строками из другого письма: «Очевидно, что объем и периодичность журнала не позволят опубликовать многие материалы целиком и только лишь познакомят с наиболее интересными отрывками из них. И на том, как говорится, спасибо». (И. В. Ульянов, Тамбов). И все-таки выход, как нам кажется, есть — это приложения к журналу, которые смогут получать **все подписчики**. Тогда в журнале будут публиковаться отрывки, а в приложениях — полные тексты. Таким нам видится оптимальное решение этой проблемы, и в этом направлении редакция уже предпринимает вполне конкретные шаги. О чем мы и сообщим читателям в ближайших номерах «Слова»: как и где они смогут приобрести «Рок-энциклопедию» и приложения к журналу «Слово».

Литературно-художественный
журнал Госкомпечати
СССР и РСФСР.
Издается с сентября 1936 года.
№ 1. Январь 1990.



Сдано в набор 26.10.89.
Подписано в печать 04.12.89.
А12777.
Формат 84×108/16
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубокая и офсетная.
Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42.
Усл. кр.-отт. 21,42.
Уч. изд. л. 14,79+0,61
Тираж 233 130
Заказ 689.
Цена 90 коп.
Адрес редакции:
129272, Москва, Сущевский вал, 64
Телефон для справок: 281-50-98

**Ордена
Трудового Красного Знамени
Калининский полиграфкомбинат
Госкомпечати СССР.
170024, г. Калинин,
проспект Ленина, 5.
Во всех случаях обнаружения
полиграфического брака
в экземплярах журнала обращаться
на Калининский полиграфкомбинат
по адресу, указанному
в выходных сведениях.
Вопросами подписки и доставки
журнала занимаются
предприятия связи.**

В НОМЕРЕ







Александр Солженицын и Генрих Белль.

В годы службы в армии.

Писатель в своем кабинете в Вермонте.



Автопортрет



Сикстинская мадонна.



Святое семейство.



Мадонна Конестабиле.



Фото КОНСТАНТИНА КОКОШКИНА

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

см. страницы 38—39.

Дмитрий Трубин — еще совсем молодой человек, в прошлом году закончил Московский полиграфический институт. Казалось бы, по профессии он — книжный график. Но, несомненно, прежде всего он живописец. Это его родная и любимая стихия.

Первый учитель живописи у него был архангельский художник Борис Копылов, может быть, на сегодняшний день один из самых оригинальных русских живописцев из среднего поколения. Художник известный не только в своей среде, но вполне известен по московским выставкам любителям современной модерн-живописи. Дмитрий многому у него научился, но полотна последних двух-трех лет, что показал он мне в своей домашней мастерской, совсем нельзя назвать по духу копыловскими. В них все свое... Однако об этом, пожалуй, разговор особый... Оставим его на будущее.

Сегодня речь идет о его книжной графике, которой Дмитрий учился у известных мастеров — Мая Митурича и Андрея Васнецова.

И, как говорится, успех не заставил себя ждать. Его работы приняты в нескольких московских издательствах, в том числе в «Радуге» — сразу для трех западных стран к рассказам Виктора Астафьева.

Одна из его первых самостоятельных работ — картинки к «Трем толстякам» (Северо-Западное издательство) — к любимой дочкиной книжке. И надо было постараться, поскольку Яна, глядя на папу, охотно изображала сама любимых героев. Но Янины картинки пока остались дома, а папины отправились в большой свет, поражая и привлекая к книге Яниных ровесников... Так же теперь обстоит и с «Золотым ключиком» — чтения вслух на папиных коленях не пропали даром. В этом радость для дочки и для папы...

А в последнее время Дмитрий пристрастился работать по цинку и изображать иную жизнь, лишенную веселых смешных красок и образов. Наверное, он думает уже о нас, взрослых, выскребая на металле страшных зубастых котов и тупоголовых болванчиков, в унынии и мелкой грызне несущих крест своей серой жизни. Глядя на эти грустные портреты, трудно отличить, где коты, а где люди, столь характерно слияние несколько несхожих жителей больших городов...

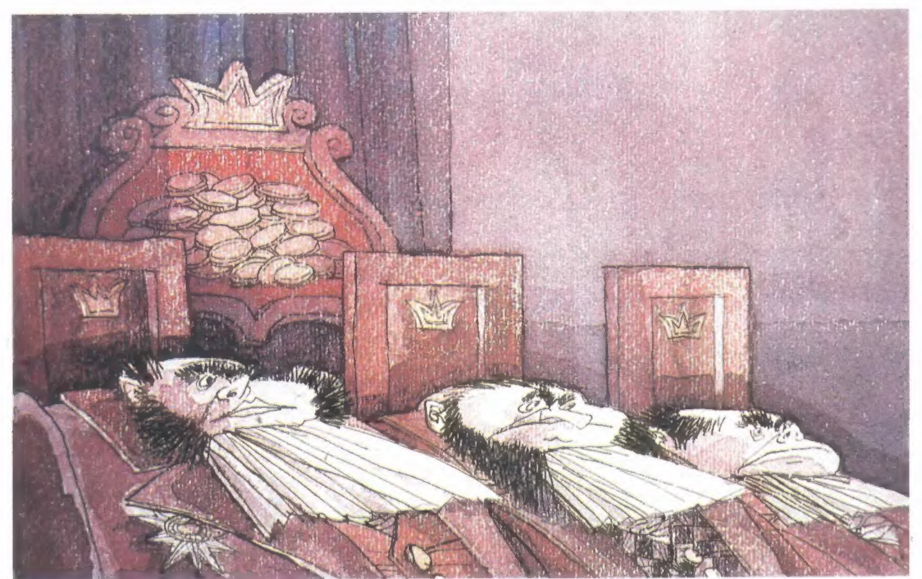
Но все пронизано душевной болью художника. Эта аллегоричность, двуязычие привлекает Дмитрия Трубина и определяет его поиск в графике.

Что же, будем ждать новых работ, куда теперь направится его пытливый взгляд.

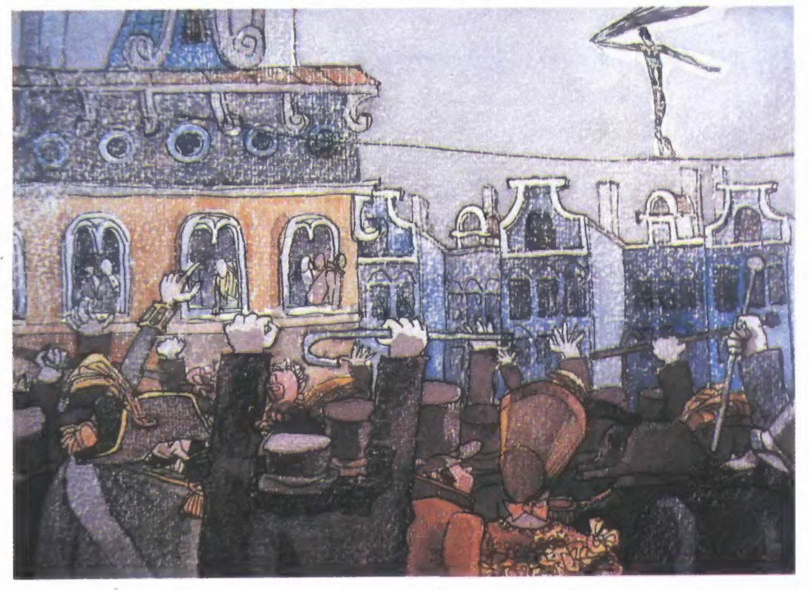
АРС. КУЗЬМИН

П Е Р В О Е ЗНАКОМСТВО

Дмитрий Трубин. Иллюстрации к «Трем толстякам» и работы по цинку.











Андрей Рублев. Троица. XIV век.



Прогулка верхом.
Фрагмент горизонтального свитка.
Китай. VIII век.
О путешествии
по современному
и древнему Китаю
писателя Леонида Бежина
читайте на стр. 80.

ISSN 0321-0561. Слово. 1990. № 1. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.